

Литературный альманах **17**



ДО И ПОСЛЕ

2013

ДО И ПОСЛЕ

Литературный альманах

Д и П

№17

Берлин 2013

Редакционная коллегия:

ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ
(главный редактор),
ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ,
АНЖЕЛЛА ПОДОЛЬСКАЯ,
КАРЛ АБРАГАМ,
ДАВИД ЯНОВСКИЙ.

Компьютерная вёрстка
и оформление
Иосифа Малкиэля.

Альманах иллюстрирован
работами
Наума Габо
(см. статью на странице 207)

ISBN 978 – 3 – 926652 – 30 –4

*Произведения, представленные
на страницах Альманаха,
публикуются в Берлине впервые.*

*Рукописи не возвращаются
и не рецензируются,
права авторов сохранены.
При перепечатке ссылка
на Альманах обязательна.*

Conrad Citydruck & Copy GmbH
Breitenbachstr. 34-36
13509 Berlin
Telefon (030) 885 23 51

БЕРЛИН 2013



Der Klub der Literatur und Kunst
bedankt sich ganz herzlich beim
Vorstand der Jüdischen Gemeinde zu
Berlin für die Unterstützung bei der
Herausgabe des literarischen Almanachs
«Do i poþle» Nr.17

ДО и ПОСЛЕ

Литературный
альманах №17



Михаил Верник

ЗЕРКАЛО

Собиралась Ирма на обследование в больницу долго. Всё время откладывала, находила причины, и твердила, как робот: «У меня ничего нет, у меня ничего не болит». Но узнав, что её знакомая серьёзно заболела, наконец, решилась.

Слова доктора прозвучали, как выстрел: «Скрывать ничего не буду, у вас рак».

Ирма почему-то улыбнулась, сказала: «Доктор вы такой шутник, у меня же ничего не болит. Я пришла только на проверку. Вы это серьёзно?»

Доктор, как бы извиняясь, развёл руками: «Да нет, я вполне серьёзно... Но, есть и хорошая новость, эту болезнь можно вылечить, главное терпение и время. Так что наберитесь и того, и другого».

Дома она сутки не отходила от Интернета. Прочитав всё, что касалось её болезни, она поняла, самое неприятное для неё это то, что выпадут волосы. Тошноту можно терпеть, и с свотой можно справиться, а вот волосы, они выпадут и новые вырастут не так быстро.

Её волосы! От рождения они были красного цвета, пышные, как грива у льва, ухоженные. Мужчины были без ума от её волос. Волосы были её достоянием.

В больнице она в сотый раз переспрашивала врачей, медсестёр и даже уборщиц:

– Скажите, может, всё-таки волосы не выпадут, может я исключение. Ну, кто-то может мне сказать правду?

Она надоела всем. И в шутку, а может, всерьёз, уборщица Хельга сказала:

– А вы купите зеркало, и смотрите в него каждый день. Если волосы не выпадут, значит, врачи ошиблись, а если начнут выпадать, собирайте их в коробочку. Потом парик сделаете. Пока новые волосы не вырастут.

Жизнь Ирмы обрела смысл. Химиотерапия делала своё дело. Ирму тошнило. Её мутило, кружилась голова, она стала худеть. Но в зеркало смо-

трела при каждой возможности. Через неделю её белая кожа стала жёлтой или почти коричневой, но волосы были на месте, и она терпела.

Врачи говорили, что болезнь оказалась сложнее, чем они думали, и что пока радоваться нечему. Ирма смотрела в зеркало и терпела.

Ещё через неделю ей стало труднее вставать с кровати. Врачи говорили, что нужно терпеть, иначе шансов выжить нет.

Просыпалась Ирма рано, вернее её будили медсёстры или уборщица – турчанка Лейла. Открыв глаза Ирма заметила, как уборщица отвернулась и с испугом покинула палату. Ирма посмотрела в зеркало. Волос на голове не было. Они лежали рядом на подушке. Из зеркала на неё смотрела испуганная женщина. Незнакомая, без волос, с тоскливыми глазами.

С трудом сев на край кровати, Ирма взяла заранее приготовленную коробку и сложила в неё волосы. Потом схватила зеркало и кинула его на пол. На звук разбитого стекла в палату вбежала испуганная Лейла.

ПАРИК

Прощалась Ирма с врачами без лишних слов. Поблагодарила, вручила коробку конфет и, пошатываясь, направилась к лифту. На подороги остановилась, вернулась и, попросив передать Хельге подарок, поставила на стол коробку.

Получив от Ирмы подарок, Лейла закрылась в подсобке и открыла коробку. От удивления она села. В коробке были длинные красные волосы Ирмы.

Не зная, что с ними делать, Лейла отнесла их в салон красоты и предложила хозяйке купить волосы для парика. Что хозяйка с удовольствием и сделала. Парик получился красивым, но покупать его никто не хотел.

Но всему – своё время и цена. Неожиданно париком заинтересовалась клиентка, фрау Ферман. Своих волос у неё было мало, а тут такая прелесть – красные волосы, да и цена была приемлема. Парик перешёл к новой хозяйке. Хозяйка была рада, что избавилась от парика, и настроение у неё стало сразу лучше, и как будто на улице стало больше света.

Фрау Ферман носила парик с удовольствием, мужчины смотрели в её сторону, подмигивали, а женщины завидовали.

Фрау Ферман попробовала спать в парике. И ей понравилось, но сны, почему-то, стали серыми и неприятными. Вскоре фрау Ферман почувствовала головную боль, и начались проблемы со сном. Приняв таблетку от бессонницы, она проваливалась в какую-то страшную яму и ей снились лысые женщины, больницы, и женщина, убирающая палату. Больные разговаривали с ней, а она вручала каждому пустую коробку.

Так продолжалось несколько месяцев. Таблетки уже не помогали, и

фрау Ферман обратилась к гадалке. Она рассказала ей всё, что произошло с ней за последние месяцы. Узнав, что фрау Ферман приобрела парик, гадалка раскидала карты, долго переключивалась...

– Вся проблема в парике. Эти волосы принадлежали больной женщине и теперь отдают эту энергию. Парик нужно уничтожить как можно скорее, и тогда всё будет хорошо.

В этот же вечер Фрау Ферман сожгла парик. Спала она хорошо. И вскоре забыла о парике.

Как-то вечером раздался звонок. Фрау Ферман открыла дверь. На пороге стояла женщина в чёрно-красной фетровой шляпе:

– Добрый вечер, меня зовут Ирма, я случайно узнала, что у вас есть парик из красных волос. Я бы хотела его купить, конечно, если вы только согласитесь.

От удивления фрау Ферман не знала, что ответить, потом сказала:

– Парика больше нет. Я его сожгла. Это был плохой парик. Бывшая хозяйка волос была больна. От парика больше проблем, чем удовольствия. Нельзя носить вещи больных людей, так сказала гадалка.

Но если вы очень хотите, у меня есть ещё один парик, только он чёрного цвета, как раз к вашей шляпе.

Ирма улыбнулась: «Нет, спасибо, мне чёрный не нужен. Мне красный нужен, который вы сожгли. Это были мои волосы, а теперь их нет. И новые не растут. Хотя... может это и к лучшему, наверное, гадалка была действительно права...» Не прощаясь, Ирма ушла.

ТУРЧАНКА

Отделение тридцать шестое «А» находилось напротив 34-б, родильного. Парадокс. Ведь 3б – это онкологическое, там люди умирали, а напротив – рождались. По одной стороне коридора – слёзы, проклятия, просьбы о помощи, по другой – смех, благодарность, счастье, там начиналась жизнь, рождались новые люди. Крики счастья встречались с криками горя где-то посередине, и, пугаясь друг друга, уносились в открытые двери лифта, приносившего новых людей в отделение 3б-а и 34-б.

Интересно, о чём думают люди отделения 3б-а, увешанные приборами и бутылками с лекарствами, проходя мимо отделения 34-б? Хотят начать всё сначала? Или завидуют новорождённым? А может, хотят помянуться с ними местами, обречь невинных на мучения?

Спускаясь лифтом на моё место в фойе, я обратил внимание на молодую турчанку. Живот у неё был невероятных размеров, и она поддерживала его руками. На мой удивлённый взгляд она ответила:

– У меня там три девочки. У нас в семье часто рожали двойняшек, а

я вот, – она улыбнулась – трое. Правда доктор сказал, что одна девочка очень маленькая и может не выжить, но всё в руках Аллаха. Хотя, мои братья сказали, что Аллах меня накажет. Дело в том, что мой муж не турок, а из России, мы вместе учились. Полюбили друг друга. Потом...

Мы присели на скамейку, я принёс кофе, и она продолжила:

– В общем, от меня отказалась вся семья, такие у нас законы. Только младшая сестра, Айша, навещает меня.

Мне пришлось сказать, что я тоже из России, вернее из Украины и мне очень жаль, что у неё всё так сложилось, но, наверное, и на это есть чья-то воля. Значит кому-то всё это надо.

О, Господи! Конечно, я сказал глупость. Кому это надо, чтобы ребёнок родился мёртвым? Но турчанка гладила живот и скорее всего, пропустила мои слова.

Через минуту она подняла голову:

– Вы не правы, не может быть, чтобы Аллах или кто-то хотел смерти моему ребёнку. Даже мои родители, которые прокляли меня, такое не пожелают. А вот мой так называемый муж ушёл от меня к своей русской подруге. На прощание сказал: «Я турков воспитывать не буду, у нас с вами культура разная». Как спать со мной, так культуры одинаковы, а как детей воспитывать – моя культура не подходит. Скажите, вы бы тоже так поступили?

В фойе появилась девушка в тёмной косынке и, увидев мою собеседницу, побежала к ней. Они обнялись, о чём-то заговорили, и девушка посмотрела на меня:

– Вы тоже русский? Я вас ненавижу. Плохие вы. Все!

Сестра что-то сказала ей, попросила не обижаться. «Не все русские плохие, есть и хорошие» – добавила она, и опять стала гладить живот.

Через неделю я увидел, как моя новая знакомая в сопровождении сестры направлялась к выходу. Я решил догнать и пожелать ей всего хорошего. Уже на улице я увидел, как Айша передавала пожилой турчанке два разноцветных пакета, откуда раздавались детские крики. Рядом стояла небольшая группа турков и наблюдала за происходящим. Молодая мама подошла, поцеловала руку усатому турку в кепке. Он что-то сказал, вытер глаза и обнял дочку. Так и не пришлось мне поздравить мою знакомую. Может, это и хорошо. Ведь у нас – культуры разные. Могли бы и не понять. Доказывай потом, что ты хороший.

Я вернулся в фойе. Купил кофе и стал думать о жизни. Потом обратил внимание на молодого человека с букетом цветов. Он стоял возле окна, наблюдая за весёлой турецкой семьёй.

Вот тебе и разные культуры... Хотя, конечно, разные. Но дети здесь ни при чём.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

[10]

Д и П 17 / 2013

Берлинский Клуб Литературы и искусства, авторы Альманаха «До и после» сердечно поздравляют уважаемую ГЕНРИЕТТУ ЛЯХОВИЦКУЮ с 75-летием со дня рождения. Она является одним из создателей Клуба и Альманаха, членом редакционной коллегии, автором многочисленных книг и публикаций в России и Германии. Мы все желаем Вам, дорогая Генриетта, долголетия, крепкого здоровья и неуывадаемой творческой энергии.

Генриетта Ляховицкая – автор многих книг и стихотворений для детей. О том, как относятся к её поэзии для детей в России можно судить по присланному из Санкт-Петербурга поздравлению к её юбилею.

**Дорогая вы наша,
Генриетта Львовна!**

С днём рождения Вас и юбилеем!

Желаем Вам,
чтобы Ваш задор и Ваша неутомимость
в наших общих делах –
служению Детской Литературе,
были и как прежде, на высоте.

Крепкого здоровья Вам,
новых прекрасных произведений.

Вы и в настоящее время
востребованы в России.
Во всех изданиях,
которые мы выпускаем,
Ваши стихи находят своё место.
От имени Литературного клуба «Зубрёнок»
и детских писателей Союза писателей России,
и лично себя,
ещё раз поздравляю Вас.

Обнимаю, целую

Николай Бутенко

26.04.2013 г. Санкт-Петербург



Генриетта Ляховицкая

[12]

Ди П 17 / 2013

ДРУЗЬЯМ И ВРАГАМ

Не странно ли, мои враги
ко мне внимательней друзей:
они повсюду и всегда
и постоянной, и верней,
чем многие мои друзья.
Тем боле одинока я...

Свой счёт друзьям
хочу представить:
прошу быть ближе и родней,
прошу в ненастье не оставить,
не позабыть в текучке дней...

Но и врагам скажу я тоже:
прошу быть яростней и строже,
забота о вражде своей –
в нападках резче и злобней...

Когда ж умолкнете, таясь,
я, одиночества боясь,
местами поменяю вас –
врагами сделаю друзей,
а вас – друзьями, ей же ей!

1962

УЙТИ? О, НЕТ!

Уйти,
лишь лёгкой, бледной тенью
по жизни промелькнув едва,
судеб не изменив сплетений,
свои не вымолвив слова?

Уйти,
спокойно, безучастно
прожив чреду бесцветных лет,

в теченьи века ежечасном
свой не оставив даже след?

О, нет!

В смятеньи огненном метаться,
творенья сладостность познать,
единством духа сочетаться,
благословлять и проклинать,
впитать печаль и радость мира,
и всё сомненью подвергать,
и сотворять себе кумиров,
и, разуверясь, низвергать,
посметь обыденность тревожить,
и в бубен плясок звонко бить,
число событий приумножить,
и ненавидеть, и любить!

1965

ДУШЕ БОЛЬНЕЕ

Память наших душ простая –
всё поймёт и всё простит,
а у кожи память злая –
шрамы старые хранит
от ожогов и порезов,
от сомнений и обид.

Не пойму я, отчего же
не тревожит, не горит
тот рубец на старой коже,
а душа моя болит
от ожогов и порезов,
от сомнений и обид?

1988

УВИДЕТЬ РАССВЕТ

Уходит плохое и злое
из памяти прожитых лет,
обиды на прошлое нет,
и грустный прощающий свет
тепло освещает былое.

Мы в путь забираем с собою
лишь краткого детства привет,
и мудрости добрый совет,
да вечный духовный завет
храним до сердечного сбоя.

С годами мягчея душою,
на прошлое знаем ответ:
есть счастье, такое простое –
проснувшись, увидеть рассвет.

МОЛЕНИЕ О СЧАСТЬЕ

Если покой – это счастье такое,
Господи, дай, умоляю, покоя.

Если же счастье моё лишь в борьбе,
дай мне борьбу, – я взываю к Тебе.

Если любовью Ты счастье зовёшь,
жду я любви – той, что Ты мне пошлёшь.

Если Ты счастьем считаешь ненастье,
дай и его... Умоляю о счастье!

КУДА УЙТИ?

Когда грызёт тоска, как злой недуг,
когда прозреньё наступает вдруг,
что всё не то, и что любовь не та,
когда измучит эта суета,

когда поймёшь, что невозможно впредь
движеньё по постылому пути
и надо всё покинуть и уйти,
раз песня жизни в сердце замолчала,

тогда... Куда уйти? Решиться умереть?
Нет! Спину распрямить
и жить начать сначала!

2002

Станислав Львович

ВИШНЁВЫЕ ГОРЫ

(концепт–фэнтези)

Пожар

Иван Денисович оглянулся...

Пламя над ЕГО лесопильней уже стихало... Исчезли протуберанцы искр. Слепящая желтизна потускнела и стала розоветь, бордоветь, а затем откуда-то (наверняка с места складирования шин и горючесмазочных материалов) за клубился поток буро-чёрного с грязной сединой огня, быстро сменившийся коптящим дымом...

На том расстоянии, что он успел пройти-пробежать, шума пожара не было слышно... Тем более и криков людей, наверняка сбежавших на это развлечение.

Издrevле российские пожары привлекали всё окрестное население... Кто-то помогал погорельцам, бегал с ведрами, из которых половина воды выплёскивалась при подноске... Кто-то утешал погорельцев... Иной герой, облив себя водой, сдуру нырял в само пожарище и, слава Богу, выходил из него не опалённым... А подавляющее большинство, забравшись на ближайший пригорок, просто глазело, восхищаясь и даже завидуя неодолимой силе стихии... И лишь испуганные ребяташки искренне боялись этого страшного зверя по имени «ПОЖАР». Лишь эти дети искренне сочувствовали погорельцам и разрушаемому хозяйству... Взрослые же начинали уже судачить, конечно, об истинных виновниках, перечисляли вины тех, чьё добро уходило в распыл, в пепел, в черноту головешек, в НИЧТО!... Пожар всегда считали наказанием за какие-либо, может, и никому неведомые, грехи... Грехи перед соседя-

ми (*вот и отомстили*), грехи перед родителями: «*как не уберегли, так и случилось*»... Сейчас же, наверняка, базарили о другом... Все знали о ставших вдруг неприязненными отношениях районного начальства с хозяином лесопилки... И всю историю этих «Дружб и Ненавистей» перемывали, не забывая при этом оглядываться – не подслушивает ли кто-то из *внештатных* доносчиков...

Сопка

Он стоял, опершись на неглубоко закопавшийся остроугольный камень. Откуда и когда он появился здесь? Скатился с верха сопки? Во время дождя или грозы... Подмываемые потоком дождевой грязи, такие камни-одиночки постепенно спускались вниз по потоку и, помимо своего желания, сползали, скатываясь вниз от одного уступа к другому... И вот, не выдержав очередного внешнего усилия – ноги человека – *его ноги* – камень сдвинулся вниз. Такие камни туристы и альпинисты называют «живыми»... Камень «ожил», скользнул вниз, и это движение поддержало давление стоящего на нём человека... Векторы сил сложились и создали новое падающее тело, двойное: Человек и Камень. Падение – движение вниз – для камня не представляло ничего нового, то была привычная прогулка сверху вниз. Одно из многих в его, каменной, жизни. Но для человека, столкнувшего камень с привычного места, – сдвиг камня на крутом склоне сопки оказался гибельным... Во всяком случае, мог стать таковым. Человек, теряя опору, стал хвататься «за воздух», судорожно пытаясь дотянуться до ствола ближайшего дерева, и не удержался... Попытался зацепиться за ветку какого-то куста – тоже впустую... Ободранная рука уже начала кровоточить и пыталась ухватиться за какие-то случайные неровности, ямки, камни... И при этом тело человека, с каждой долей секунды всё ближе и ближе приближалось к земле, и вот уже прижалось к ней в надежде застыть на ней и успокоиться. Но крутизна склона отняла у него и этот шанс.

Скользкая промоина уложила в своё ложе человека и отправила его вниз до следующего поворота змеистого грязепровода... Застрянет или нет, этого никто уже не скажет, лишь бы повезло... Повезло! Чертыхаясь и матюгаясь, человек встал. Вначале на колени... Но каблук сапога не упёрся ни во что, скользнул, и человек, заскользил вниз, стараясь лишь уберечь голову от ударов о склоны и встречающих живое тело чужеродных ему тел...

Память

Метров через двадцать, после пары круглых «бобслейских» поворотов, падение закончилось окончательно... Иван Денисович, это был он, смог, хрипло откашливаясь и выплёвывая комки грязи и какой-то растительный мусор, встать, обхватив некрупную, но достаточно надёжную берёзу... Усмехнувшись, он вспомнил почти такое же ощущение, застрявшее в памяти тела с его первой попытки освоить горный слалом чуть ли ни на этой же сопке почти полвека назад... Тогда он также жадно прижимался к стволу, встретившему его через десять метров после начала дурацкого спуска... Отскочившие огромные и тяжёлые «бескиды» лежали рядом, соскочив с бестолковых ног, к которым они были слишком крепко пристёгнуты ременной упряжью...

Был он тогда молодым инженером, *добровольно брошенным* в уральскую глубинку на освоение созданной им же новой технологии хлорирования того самого пирохлора, который и создал славу этим «Вишнёвым горам»... Во время войны эти шоколадно-глянцевые плитки минерала добывали старатели. А потом их «усилили» заключёнными из быстро построенного между сопками лагеря. И всё ради ниобия, способного сделать броневую сталь танков непробиваемой... Потом вокруг горно-обогачительных фабрик вырос посёлок, лагерь исчез бесследно, а опустевшую коробку лагерьной котельной молодой инженер стал *начинять* непривычной для горняков химической технологией... Вон там, внизу, чуть правее, не очень далеко от знаменитого озера Кыштым, и стало возникать химико-металлургическое производство... И душой его, головой, руками, ногами и горлом был он, будущий «Кандидат» и «Доктор наук»...

И знал ли он, когда первый раз выезжал сюда на «смотрины» и уживался в знаменитом городишке, посёлке «Касли», в жуткий тридцатиградусный мороз, в какой эпицентр своих жизненных коллизий он попадает... А если б и знал? Даже когда из окна автобуса он увидел заколоченные церкви, безжизненные деревенские дома, придорожные плакаты: «Остановка Запрещена!» – ничто его не насторожило. Не то было время... Не те были люди... Не тот был он сам...

А пока что, стоя на не забытом склоне, он ощущал и вывернул все карманы... Документы – *паспорта и карточки* – на местах, *деньги* – пара пачек «зелени», пачка «лиловых» евриков и пачка родных «стуксовых» – тоже при нём... Пара «мобил», нож и *пистолет*... Можно двигаться дальше... Но куда? Автобусом – нельзя, попуткой – тоже опасно... Какая собака не знает в лицо своего «хозяина»...

Иван Денисович...

[18]

Д и П 17 / 2013

На той стороне Кыштыма был когда-то пресловутый и, *не к ночи будь помянутый*, центр ядерной технологии. Здесь делали начинку для «атомного щита родины»: плутоний и прочее... В это «запретное озеро» и сбрасывали «ядерную грязь»... Здесь, в одном из отстойников и возникла *ценная ядерная реакция*, и родилось то самое «ОБЛАКО», накрывшее чуть ни сотню посёлков Южного и Среднего Урала и на полвека отравившее их... И мой Вишнёвогорск был совсем рядом... На другом берегу... Теперь «Кыштымград» *закис*, почти рассекречен и почти *перестроился*, доступен для многих и, значит, для меня... До ближайшего полустанка-полувокзальчика – пара километров... Там я переночую и ... *«вперёд... и не стонать»*... Жизнь начинается в очередной раз *заново*...

...На деревянной скамейке вокзальчика, единственной свободной от тел, я заснул мгновенно... Разбудил меня вначале ядрёный запах *переваксенных* солдатских сапог... Они стояли почти под моим носом, а их хозяин довольно грубо тормозил меня за плечо:

– Вставайте, гражданин! Спать здесь запрещено!

Я неохотно приоткрыл глаза, не желая так запросто расстаться с приютившим меня сном... Там, во сне, было тихо, тепло и свежо... Около меня стоял действительно солдат, да ещё и не один... Это был явный патруль *из военного фильма*: лейтенант в фуражке с *синим* околышем и два солдата с автоматами «ПэПэШа», с круглыми патронными дисками... Такими, только деревянными, я играл ещё в моём военном детстве... *Театр?* Нет, мужики были слишком серьёзны и деловы...

Я послушно проснулся и сел...

– Ваши документы, гражданин. Предъявите патрулю – это сказал уже лейтенант...

– А в чём дело?

– Вам сказано было – документы! – уже с чуть заметной злобной процедурой процедил офицер... Получив мой паспорт, офицер удивлённо на него уставился, затем на меня, затем подозвал сержанта (второй солдат оказался не рядовым, а сержантом), показал ему, и тот удивлённо-наивно стал его перелистывать...

– У вас есть ещё какие-нибудь документы, подтверждающие вашу личность? – уже официально и холодно спросил офицер...

Я встал со скамьи и попытался подойти к нему, но солдат удержал меня за локоть и уже не отпускал во всё время допроса-беседы...

– Вам российского паспорта нехватает, что ли? Имеете ли вы обычный советский паспорт, а не эту непонятную книжечку?

Настала моя очередь удивляться:

–Какой советский? Их нет уже с девяностых годов!

– Значит, у вас нет нормального паспорта? – спокойно произнёс офицер и, старшине, – Позвони на КПП и доложи обстановку... Пусть присылают, кого надо...

Через полчаса езды по незнакомым мне путям, очень напоминавшим обычные вишнёвогорские трассы, но совершенно не асфальтированным и довольно раздолбанным, мы подъехали... *И тут меня малость повело...*

Перед нами были въездные ворота в самый настоящий лагерь с вышками и вооружёнными вертухаями в светлых опушенных дохах, с колючей проволокой поверх внешнего забора, с шлагбаумом на входе и будкой сторожевой вахты... А внутри была та самая Зона, о которой вдохновенно писал Довлатов. Стало быть и ЗЭК-и, и стало быть, *могу оказаться и я...*

Арест

Почти как в футбольной «коробочке», крепко стискивая меня между собою, солдат и сержант прошли мимо вахтенного солдата, глядевшего куда-то поверх *меня*, затем прошли через караулку, где сидели столь же равнодушные солдаты охраны, и я вступил на роковую территорию «исправительно-трудового лагеря»...

Каков режим и назначение этого лагеря, я узнаю через несколько минут... Справа, на простеньком крыльечке нас встречал капитан внутренних войск... Я уже стал вспоминать, как были одеты офицеры войск НКВД (опять же, при чьём правлении, неужто сталинском? Этого ещё не хватало!) Или войск МВД – во времена Берии или Хрущёва или...? «Мой» лейтенант, отдав старшему офицеру честь, доложил о прибытии и, обернувшись, приказал ввести меня в «комендатуру».

Пока всё было, хотя и жутковато, но достаточно пристойно.

В пустом нешироком коридоре справа была открыта вторая дверь, и в неё меня и ввели... Вот так же вводили, наверно, и Чонкина, и Шаламова, и самого нобелевского лауреата, и миллионы иных... Так же посредине стоял канцелярский стул, перед ним – канцелярский стол и «Некто», сидящий за этим столом, был для «приводимых» Царём и Богом... Мой «Некто» имел «две шпалы» – значит, это были «сталинские времена», и война с Германией, вероятно, ещё не кончилась...

Суровая, точнее, *беспощадная* ситуация! Как я в неё попал – волей Случая или Дьявола? Какое-то «Дежавю» наоборот! Струтацкие нафан-

тазировали принцип «контрамоции» – движения во времени вспять... Но я-то тут причём? Всё слишком реалистично и никакого «сюрра». И проснуться не удаётся... Всё в реальной яви...

– Так кто же вы на самом деле, гражданин с, так называемым, российским паспортом? – раздался неглубокий баритон со стороны стола... – Капитан, личный досмотр производили?

Капитан отрицательно закивал головой...

– Ну, так начните, чёрт возьми!

Меня стали ощупывать, залезать в карманы, всё вытаскивая и переноса на стол начальника... Добрались до ножа и пистолета... С него и начался допрос:

– Откуда у вас табельное оружие?

– Это не табельное, а спортивное. На нём всё обозначено... Тульского производства... и оно *именное*, прочтите надпись, пожалуйста...

Майор (две шпалы соответствовали майору, об этом я знал по отцу – тот тоже перед самой гибелью получил вторую шпалу...) прочёл раза два текст, взглянул на меня более внимательно, и даже несколько вопрошающе, и перешёл к бумажным «вещдокам»...

Первой была одна из долларовых пачек... Похоже, майор никогда в жизни не видел банковской упаковки валюты... Он перечитал про себя весь текст сертификата, опять взглянул на меня, ничего не спрашивая, затем подержал в руках пачку «евро», отложил и добрался, наконец, до рублей...

– Это тоже валюта? – и услышав моё – «Рубли!» – решил проверить лично...

Что произошло дальше – смешало не только карты, но и мозги присутствовавших...

Разорвав банковскую обклейку и освободив тем самым сотню листов стотысячных банкнот, майор начал рассматривать верхнюю из них, держа пока что всё в обеих руках... И вдруг, за несколько медленно проходящих секунд пачка «моих» рублей стала вырастать в бумажную горку банкнот «сталинской» печати... Это были цветастые «сторублёвки», выпущенные до реформы сорок седьмого года... Их было безумно много, они завалили весь канцелярский стол...

В кабинете явно изменилась энергетика: *от бумажной кучи банкнот шёл жар* – того и гляди, они вспыхнут!

Но майор проявил гениальную находчивость и подозвал меня к столу... Только я дотронулся до «новообразованных старых» денег, они, как в цирке или дурном мультике, стали уменьшаться, *исчезать* и перекрашиваться в современные мне «стотысячники»... Зрелище и действие были ошарашивающими...

– Кто вы всё-таки и откуда??? – хрипло спросил меня майор в упор... *Я не знал, что отвечать...*

Барак

Далее я, как можно обозначить, пошёл по этапу... Этапировали меня (правда, пока-что в пределах лагеря 050/13) в барак № 13 (что-то подозрительно часто мне попадает число 13), в котором я и буду проживать до выяснения... допустимости самого проживания... Опять вспоминаются страницы классиков «ЗЕК-овского» жанра... Да и все постперестроечные антисталинистские фильмы... Добротное, бревенчатое одноэтажное строение цвета медвежьей шкуры, с малыми оконцами, исключаящими пролезание не то что взрослого человека, но и пацана-форточника... Внутри, слева и справа, шпалеры двухэтажных лежбищ... Всё, «как у людей»... В глубине, у самой кирпичной, вяло побелённой (или закопчённой), печки – несколько одноэтажных «кроватей»... Туда-то меня и повели и, похоже, сдали с рук на руки, то есть поставили перед немолодым крепким мужиком, сидящим на застеленной синим одеялом лежанке... Тот уже знал о предстоящем новом заселении подведомственной ему территории и встретил меня не строго, чуть ли не с улыбкой, не предложив мне, однако, ни сесть, ни прислониться к чему-нибудь... Провожавший сержант молча ушёл... Я выжидательно молчал... «Хозяин» – тоже...

– Как зовут, говоришь?

Ответил...

– А по какой статье определили?

– Пока не сказали...

– Скажут, время будет.... Подберут... Так на чём тебя взяли?

– Документы не подошли.

– Ксива – фальшак... Кто делал?

– Как положено, РУВД.

– Какая-токая *«руведе?»*

– Обычное районное управление внутренних дел.

– Ну-ка, поподробнее с «этой цифры»...

Я стал пересказывать всё произошедшее в вокзальчике, вплоть до истории с деньгами... «Хозяин» слушал, кивая время от времени своим задумкам, и не перебивал...

– А что нашли при шмоне?

Я приостановился в своём изложении...

– Простите, а как мне вас можно называть?

– А зови меня просто: «Ильич»!

– Ильич, извините, я уже часа три на ногах, нельзя ли мне присесть, хоть на пол... Сил нет стоять...

Усмехнувшись, он кому-то в отдалении кивнул пальцем, и чьи-то руки приставили ко мне табуретку...

– Вот спасибо, Ильич, хоть одна добрая душа нашлась... – выдохнул я, усевшись, как упав, на сидение.

– Это я-то добрый? Поживёшь тут, узнаешь, а пока что проколись – кто ты и откуда залётушка такой... – Опять движение пальцем, и на моих коленях появилась алюминиевая миска с перловкой и куском хлеба... Чья-то рука из-за моей спины протянула алюминиевую новую (или свежее вычищенную) ложку... Проглотив две-три ложки каши, я опять взглянул на Ильича... Тот чуть насмешливо и как будто миролюбиво ждал моего «сытого вздоха» и, командуя, указал, – недалеко от меня – на той стороне, тебе укажут койку, устраивайся. Соседи не обидят, пока я не прикажу, и что надо – объяснят... А потом продолжим сердечный разговор... – Не тушуйся... Не ты один по «непонятке» сидишь... Бывай... – И опять командный кивок пальцем, и кто-то деликатно взял меня под локоток и потянул прочь...

Москва

Две недели пролетели, как два дня... Я уже превратился в «нормального» лояльного заключённого-лагерника. Хождение на «службу» заключалось в подметании барака, прерываемом ежедневными беседами в кабинете майора, который оккупировали прилетевшие из самой Москвы немаловажные чины в форме НКВД и в штатском... Меня «потрошили» вежливо, но настырно и почти безостановочно... Как-то я упомянул о «детекторе лжи», и новый прилетевший комиссар «медицинской службы» пытался у меня вытянуть хоть какие-то специфические детали этой технологии допроса... Похоже, вокруг меня собрался целый мозговой штаб обороны, экономики и политики страны... Я еле успевал подписывать протоколы допросов...

Внезапно всё закончилось... Меня переселили в медицинский флигель, в отдельную палату. Назначили особое, более калорийное, почти ресторанное питание и ежедневный двухразовый докторский осмотр. Подготовили, тщательно вычистив и отгладив, мою когда-то (как давно это было! И было ли вообще?) замызганную на сопке одежду... Заодно отремонтировали и мои полусапоги...

Не успело рассвети дорогое для меня утро 13-го октября 1943-го

года (день моего рождения, как-никак!), меня в серьёзной компании четырёх полковников и комиссаров уже довели до военного аэродрома вблизи огромной новостройки на берегу знакомого мне озера Кыштым...

Американский Дуглас, не обременённый излишним грузом, взлетел, ласково встряхнув нас при этом пару раз, и мы быстро стали улетать от восходящего солнца...

Я давно уже понял, что вся *суэта вокруг меня* может закончиться двояко: либо пожизненной «консервацией» в лагере, либо «смотрины» на самом вершине Советской Власти...

После комфортабельных полётов в реактивных лайнерах XX-го и XXI-го веков, летанье в турбовинтовой военной *колымаге*, хоть и американского производства, сравнимо лишь с начальным допросом в СМЕРШ-е... Не помогали и мятные конфетки-карамельки (тоже американского производства – подарок фирмы «BOING»)...

Вот и долгожданный аэродром Тушино... Пока выруливали и раскрывали самолёт, к лесенке уже подогнули небольшой автобус... Весь пассажирский состав и все мешки с «моей» документацией погрузились и мы помчались в центр города...

Боже мой, какой же маленькой была Москва каких-то восемьдесят лет тому назад! Где метро Тушинская, где «Сокол»? Слава Богу, проехали стадион Динамо, Бега, а вот и Белорусский вокзал... Моя родная площадь Маяковского (ещё без могучего «лучшего и талантливейшего»), вот и Пушкин, стыдливо наклонивший свою курчавую голову от взметнувшейся юбочки балеринки на угловом здании справа... Националь, Манеж... Неужто нас пропустят аж через знаменитые Спаские врата? Как самых почётных гостей... Но нет... Автобус и едущие за ним две «ЭМКИ» (я их только сейчас и заметил...) круто повернули влево, через Никольскую, мимо «ГУМ-а», мимо «Славянского Базара» прямо на Лубянскую площадь...

И что дальше? Через полчаса нас вводили в кабинет Наркома Внутренних Дел... В кабинет Лаврентия Павловича Берии допущены были только трое: я и два самых главных из сопровождающих... Оставив меня одного у входной двери в кабинет, оба комиссара, подойдя к столу сидящего Наркома, негромко доложили обстановку и, после немногих реплик Наркома, подозвали меня...

Я помню выступление Лаврентия Павловича при прощании с телом Сталина... Его одиозная чёрная шляпа, многозначительный акцент явного продолжателя дела «Вождя всех народов», зловеще бликующие очки и зловещие паузы и клятвы, напоминающие скорее угрозы всем своим врагам. Это всё затаилось в памяти студента 1953-го года...

Здесь, в кабинете, Берия был моложе на десять лет и уверенней... Всесильный Хозяин всех заключённых Страны Советов...

Выслушав комиссаров, он лёгким жестом отодвинул их в сторону и внимательно стал вглядываться в меня... Я ждал окончания «первичного» осмотра, не произнося ни слова... Не очень довольный (чем же, моим молчанием?) Берия жестом, не без властности, подозвал меня к своему столу... Я подошёл и, искренне говорю, не без любопытства стал в упор рассматривать Наркома... Наверное никто из низших чинов, а тем более из «опекаемых» не смел так вглядываться в него... Я чувствовал, что на данной встрече мне терять было нечего!

Слишком многое я знал из будущего всех «вершителей» судеб Страны Советов... И эти знания были *им* нужны, и именно их они боялись... Лаврентий Павлович наклонился слегка к моим бумагам, взял один из листков (скорее краткую справку-объективку, как это называлось и в мои времена), и довольно дружелюбным бархатистым голосом произнёс:

– Вы, Иван Денисович, отдыхайте, вам помогут вспомнить Москву, а затем нам предстоит ответственное собеседование ... Счастливо...

Я по прежнему молча в согласии наклонил голову и повернул к выходной двери... Но Нарком вдруг рассмеялся и повернулся к стоящим в стороне комиссарам:

– Вы что его так запугали? Он что, говорить разучился... Ни здравствуйте... Ни досвидания, *панимаешь* – на долю секунды прорезался кавказский акцент... – Идите, Иван Денисович, и ни о чём не беспокойтесь...

Прошла ещё одна московская неделя... Проверка продолжалась, но как бы «исподволь»... Мы посетили мою квартиру №3 в доме №6 по Садово-Триумфальной улице... Как они организовали «*отсутствие моё*» и моей семьи, а также и прочих жильцов нашей пятикомнатной «коммуналки», я не понял, но я вновь вошёл в свою 12-метровую комнатку, увидел и тахту, и свою раскладушку, и могучий квадратный стол на дубовых ножках и то самое окно, которое когда-то вышибла взрывная волна... В коридорчике стоял ларь с картошкой из моей Каширы (интересно, повезут ли меня на станцию Кашира в наш дом №22 по Комсомольской улице?) Повезли, и спасибо им... Издалека полюбовался своей бабушкой, Анной Васильевной, да и приручённым как раз в эти годы огромным псом Полканом)... Потом я побывал в своей 167-ой школе, что до сих пор (*то есть в моём мире*) стоит в Дегтярном переулке... Был и в своём классе и даже посидел на своей парте, увидел вырезанные мною же инициалы... Справа тогда (то есть теперь, что ли, как не запутаться), сидел мой многолетний однокашник Юлик... А вот там я сидел, когда читал классу странички из «Золо-

того Ключика», за что и получил на многие годы «кликуху» – «Буратино». Мои «сыскари» были потрясены, услышав от меня подробности размещения чуть не под окнами «моей» квартиры будущего элитного дома НКВД (я неоднократно путал аббревиатуры: НКВД и КГБ)... Узнав, что строить этот дом будут пленные немцы, все мои «опекатели» растрогались чуть не до слёз... Война ещё шла по Советской земле, а я уверенно говорю им о деталях послевоенной жизни.

И вот настал финальный московский день... Точнее, это был не день, а поздний вечер, чуть не полночь...

Машина с нашей «командой» въехала в Кремль через Спасские ворота и, поблуждав по переходам «Большого Дворца», мы приблизились к «святая святых» – кабинетам Иосифа Виссарионовича... Обычная штатная процедура досмотра... И все допущенные входят в кабинет Вождя... За стоящим у окон столом сидит «Сам» – «ХОЗЯИН»... Невдалеке – Берия и, кажется, Поскрёбышев (в этом я не совсем уверен, так как его незапоминающееся лицо не мелькало по страницам «Правды»). Сталин выглядел слегка усталым... Знаменитая трубка лежала на столе... Отдыхала, вероятно... Сам же Он перелистывал начальные страницы моего, разбухшего за последние недели, «досье». Мельком оглядев всех вошедших, он «устремил свой взор» на меня...

Я, памятуя встречу у Берии, произнёс:

- Здравствуйте, товарищ Сталин...
- Тот кивнул и пригласил жестом к столу...
- Лаврентий Павлович, познакомьте, пожалуйста, нас с вашим гостем.

Берия уложил всю предысторию чуть ли не в три строки, предельно лаконично, чуть ли не афористично и совершенно непонятно (по крайней мере мне)... Но все, по-видимому, были в курсе дела и ждали какого-то очередного действия... И оно наступило...

Из открывшейся слева двери к сталинскому столу вышел... Вольф Мессинг! Я сразу же узнал его... Много, много десятилетий назад я с приятелем был на его сеансе по психотехнике... Мы с Мишкой Шепелёвым загадали вопрос (довольно пошлый и тривиальный), и Мишка полез на сцену «ассистировать» профессору...

Мессинг должен был найти спрятанную в моём кармане записку весьма абстрактного, но актуального содержания... Держа Мишку за руку, весь напряжённый, слегка посапывающе-похлопывающий Вольф Мессинг спустился в зал, чуть не со второго шага свернул в «наш» проход и быстро, не размышляя и не останавливаясь, пошёл вплоть до нашего ряда, прошёл один ряд, потом резко повернулся и чуть не в упор указал на меня:

– У вас в левом кармане лежит записка с важнейшим текстом! Вы сами отдадите, или прикажите мне достать?!

Я немного (точнее говоря – *весьма*) струхнул (Мишка трясся, как на экзамене по Истории Партии) и быстро выполнил «категорическую» просьбу «волшебника». Тот развернул плакатик лицевой стороной к публике... Там был изображён голубь мира (похуже, чем у Пикассо) и написано: «МИРУ МИР!»

– Так и будет! – с пафосом воскликнул Мессинг и под бурные аплодисменты вернулся на сцену...

Этот микроэпизод ещё не произошёл в реальной жизни мага и волшебника, и моего лица он знать не мог... Но «профессор психологии» мельком, именно мельком, взглянул на меня, затем на «вещдоки», привезенные с Урала, отвернувшись, стал о чём-то молчать минуты две-три... Все затаили дыхание. Я – тоже... Вдруг Мессинг произнёс (тем же резким, нервным, эстрадным голосом):

– Я ничего не вижу в этом, с позволения сказать, человеке! И ничего не могу о нём доложить... У него нет ауры... Нет астрального тела... Нет... ДУШИ! И хотя он живой и здоровый, но это *не из нашего мира* человек... Я таких ещё ранее не видел...

Как говорили классики-драматурги: (*на сцене наступило замешательство*) ... Но, как и в классической пьесе, слегка заскрипев, шире отворилась та дверь, из-за которой вышел Вольф Мессинг, и... появился... *новый Сталин*...

Он ничем не отличался от принявшего нас «Хозяина», только трубка, та самая традиционная трубка, слегка дымилась в левой руке, и по комнате распространился хороший аромат... «Герцеговины Флор»... Это было зрелище, достойное небожителей! Очевидно, все, кроме меня, знали: «Who is who!», но и сидящие, и стоящие как-то подтянулись и насторожились...

Пришёл истинный «ХОЗЯИН»! А прежний отошёл в сторонку и как-то незаметно исчез...

(Продолжение следует)

Леонид Бердичевский

НА OST–SEE

Морской песок, –
водой просолен и промочен,
однообразен днём и ночью
волны басок.

Но ураган, –
погодного рачитель трюка,
ревёт, он – раненый зверюга,
как будто пьян.

И ветра вздох,
волны смягчив перенапрягу,
то прямиком, то по зигзагу,
как скоморох.

А чаек крик
аккомпанирует пейзажу,
в растерянности, в диком раже,
над морем – шмыг.

Волны прилив
устал, смолкает на мгновенье,
и берег распластался ленью
иль сел на риф.

Ах, тишина,
её в мечтах мы в гости просим,
но наш язык юлит вопросом:
«Ты где, волна?»

* * *

Из окон те же дома и крыши,
хозяйкой осень себя ведёт.
Глазам не стоит стремиться выше,
где сер и хрупок весь небосвод.

Не лучше ль, право, спиною к окнам,
там постоянный царит уют.
Шкафы серьёзны в зеркальных стёклах,
достойно книги себя ведут.

И стол стабильно осел на тумбы,
под абажуром зелёный свет.
Пейзаж на стенке написан умброй,
и чинно предка висит портрет.

Диван затянут охристой кожей,
а сверху полка с семьёй слонов.
Диван о многом поведать может,
и снять заботы дневных оков.

А что из окон? Совсем, неважно,
заводит осень свой листопад.
Обуревают покоя жажда,
и время к ночи меняет взгляд.

ВЕЧЕРНЕЕ КОЛДОВСТВО

Когда последний лист с ветвей срывает ветер, –
закончит листопад свой ежегодный труд,
в окне погасит свет осенний зябкий вечер,
и шум, и суета на улицах умрут,

я выбираю в собеседники компьютер,
и мысли, торопясь, бросаю в монитор,
чтоб драгоценные не упускать минуты,
которые ведут с судьбой негласный спор.

Вечерний час всегда мне дорог и желанен,
он исподволь несёт мне вдохновенья клад,
и творчества накал, и творчества сиянье, –
вдыхаю их всегда целебный аромат.

* * *

Волнуется трепетно ночь,
деревья глотают прохладу,
со вздохом роняют наряды, –
им этого не превозмочь.

Ночная осенняя стынь,
туманным висит покрывалом.
хоть ветер, в каких-то полбалла,
но скомкал небесную синь.

И только назойливый стих
свою проявляет отвагу
стремительно рыхлит бумагу,
траншеями строчек литых.

* * *

Зима, но улицы светлы от снега,
хоть ночь. У входа в парк, бельмом, фонарь,
да ветер, задыхается от бега,
к скамье прижался жёлтый лист-дикарь.

Прохожих нет, и мысли нараспашку,
лишь изредка хрустит автомобиль,
и вырастает скорбною монашкой,
ближайшей киркой одинокий шпиль.

При общей суете хочу напомнить многим:
день светел не всегда, ночь не всегда темна,
мечты сбываются, случайно, по дороге,
вред могут принести покой и тишина.

Не вздумай просчитать удачу по минутам,
экспромт, порой, верней, чем правильный расчёт,
всё может изменить мгновенье очень круто, –
улыбка, хмурый взгляд, паденье и полёт.

И если грянет гром ещё при ясном небе,
не значит, что за ним пойдёт холодный дождь.
Пока цветёт сирень и весел птичий щебет,
вся жизнь вокруг тебя не так уж невтерпёж.

МИНУТНЫЙ БРЕД

Явный бред – спешить назад,
за упущенной минутой,
пусть она – глоток цикуты,
но вернуть её я рад.

Мне твердят: «Напрасный труд,
след её давно затерян». –
я упряма, как сивый мерин,
мемуары, – мой хомут.

Червь сомнений гложет плоть,
но ехидная ухмылка
лезет в памяти копилку,
уж прости меня, Господь.

Ладно, бред иль может зуд,
но игривая минута,
до нелепости раздута,
и теперь ей сто минут.

Я в мечтах стремлюсь за тридевять,
мною придуманных земель,
там неожиданно, непредвиденно,
спросят прямо: «Ты откель?»
Что скрывать мне, – из трущобной я,
безалаберной страны,
племя в ней ютится злобное,
без улыбок, без весны,

И мозги всех с завихреньями,
выраженья невпопад,
брызжут криками и мненьями,
только в пустоту глядят.

Я желаю, чтоб за тридевять,
мною придуманных земель,
смог я натиск жизни выдержать,
никогда не сесть на мель.

КЛОУНАДА ВРЕМЕНИ

Кто там смеётся
и прячет глаза в воротник,
кто прикрывает
молчанием сердца истому,
кто изгоняет
из мыслей желания миг. –
крошечный, робкий,
подобный кривлянию гнома.

Время ушло, улетело,
как призрачный дым,
и не оставило даже
нелепых вопросов,
вытер надежду с лица
умиления грим,

и прописалась в душе
постоянная осень.

А воротник тот
в чулане продрог, порыжел,
смех задохнулся,
истома из сердца иссякла,
незачем больше
рассчитывать на самострел, —
это финал неудачного,
в целом, спектакля.

СОНЕТ ЗВУКА

На ноте «fa» остановился звук,
и резонанс его продлён pedalю,
глухой, как эхо, стон повис над далью,
в покое пальцы суетливых рук.

В ушах ещё живёт разрыв баталий:
восторг и радость, горе и испуг,
но клавиши мертвы и тишь вокруг,
Те чувства, что весь зал интриговали

Так в жизни получается, когда
вокруг веселья шум кипит, ярится
и возбуждённо покраснелись лица,

а после не осталось и следа,
и лишь воспоминанье, слабым вздохом,
дыханию навяжет суматоху.

ТОЛЬКО ПТИЦЫ...

Только птицы умирают тихо,
сжавшись в неприглядные комочки,
в стороне от шума, в одиночку, —
нет им дела до неразберихи.

Понимают крошечным умишком, –
их уже завершены полёты,
захлебнулись навсегда их ноты,
нынче время вечной передышки.

[33]

Надо место уступить птенцам их,
на просторах солнечного неба,
те распорядятся жизнью сами,
разливая по округе щебет.

Птицы, стало быть, умней, чем люди,
страшно людям уходить из жизни.
«После пусть потоп всемирный будет» –
думают цинично и капризно.

ТАНКА

Ваш взгляд насторожил меня,
застигнутого утром хмурым,
как вспышкой яркого огня,
хлестнув изящным каламбуром
и обещанием дразня.

.

Константин Кербель

КПЗ

– Басов, на тюрьму!

Удар связкой ключей в железную дверь, и зычный голос ночного дежурного ворвался в беспокойный утренний сон. Деревянный приступок под узким пробитым под потолком окном. Залитая бетоном решётка почти не пропускала внутрь дневной свет, из-за высокого железного козырька снаружи. Камера освещалась не выключающейся сороковаткой, прикрытой проволочным плафоном.

– Это меня....

То ли спрашивая, то ли подтверждая, выдавил Сенька, резко поднявшись и недоумённо поглядывая на ещё двух сокамерников. «Тюрьма ... это уже серьёзно» – с холодком пронеслось в голове.

– Да не парься, пацан, пока там машина, конвой, – до обеда точно протелепаются – недовольно протрубил сквозь накинутую на голову фуфайку кабановатый верзила, открывая рябое лицо с «фингалом» на всю левую сторону.

«Получил с правой» – автоматически отметил про себя Семён, совершенно не помня, когда этого «экспоната» подкинули в камеру. Он спал вязко, глубоко, иногда чуть вздрагивая от эпизодов картины двухнедельной давности.

Экзамен по «химии» он сдал играючи, как и все предшествующие, за исключением «сочинения». Нет, литературно всегда было «отлично», но вот «русская грамматика» выше трёх баллов не поднималась. Домашние успокаивали, это мол «гены», впитанные с молоком матери. Бабулечка тоже внесла свою лепту. Зная пару десятков русских слов, она лепетала одни и те же сказки перед сном на узкой кровати. В бараке все места для восьмичленной семьи были строго распределены от плиты до окна.

На «пятак» танцплощадки поселкового клуба толпились, ликовали и хвастались будущие выпускники: кто ловко списал, кто подсмотрел, кто надурил учителя. Наивные, да за одиннадцать лет они и без экзамена знали всех, как облупленных и кто на что горазд.

«Даргей» с «Тузом» подошли к толпе после первой смены. Шахта выдала аванс и они уже отметились в «Северке». Ресторан был расположен между шахтой и посёлком, видно для того, чтобы горняки не оттягивали надолго свои карманы получкой. Этот сталинский ампир с мраморными колоннами и репродукцией Айвазовского «Девятый вал» от потолка до пола автоматически подталкивал посетителей к замызганному прилавку. Буфетчица, вечная Анька, в кокошнике и не первой свежести с какими-то крыльями переднике, накачивала из стодвадцатилитровой бочки пенное пиво.

Даргеев Вовка, сосед по бараку, учился до седьмого класса. Отец погиб нелепо. Войну закончил со своим миномётным расчётом в Праге. При своём росте, в один восемьдесят два, не имел ни единой царапины. Перед пенсией копил на мотоцикл, чтобы жену, тётю Таню, в сад на участок доставлять. Он её тогда, до войны, с «довеском» взял. От кого Валька была, в бараке никто не знал. Двоих сыновей она ему родила. Жили дружно. Он её не «гонял», не пил, не курил. В выходной свои «кирзачи» выносил. Смажет салом, поставит на лавку и ждёт пока впитается. Потом щедро гуталином с щёткой. Полировал суконкой. Сидит, смотрит как его «кирзачи» переливаются. Мужики тогда мало говорили. Сила в нём была неимоверная. Подставит кулак к стене, и сыновья на руке как на турнике подтягивались. Он ещё умудрялся их по воздуху кружить. Решил на соседском «Урале» с люлькой резко остановиться, через руль и перелетел. Упал, как потом в морге говорили, на какой-то «дыхательный центр» – так сразу и умер.

«Туза» – Зимина Витьку, на шахту «устроили» через райотдел милиции. Сидел по малолетке за разбой. Пацаны болтали, что он «Рогом» зоны был. Спокойно-дородный, крепко сбитый, круто не отвечал, но и на «цырлах» не бегал. Знал себе цену. Улыбаться не спешил. Тайный какой-то весь.

Сеньку поздравили степенно, без криков, чуть похлопывая по плечу и не прерывая движения, увлекли за акации, где стояла водочка. Место популярное, незаметное. Работяги вытащили из под пиджаков засунутые под ремень по две «шаровки Портвейна». Прямо из горлышка в два приёма, троица расправилась с красно-жёлтой, резко пахнущей жидкостью. Затянулись «Беломором» и по круту опустошили остаток. Тепло растеклось по пустому желудку. (Мать дважды звала

его в этот день к столу, но волнение перед, и возбуждение после экзамена, отбивали аппетит).

Хмельная волна поднялась к голове, и всё вокруг стало лёгким, воздушно-прозрачным. Тело потеряло вес, и что-то отвечая, размахивая руками, Семён зашагал с друзьями к автобусной остановке.

Рейсовый был заполнен пассажирами наполовину, что крайне редко бывает на единственном маршруте. Два-три человека стояли в проходе. Сенька с «Дергачём» втиснулись на заднее сидение, потеснив кого-то с кошелками. Обнявшись за плечи и распространяя винный аромат, заголосили: «Ой ты зона, зона, в три ряда колючка ...». Соседи, не выдержав близость артистов, переобались, негромко ворча, поближе к водителю. Зимин стоял почти напротив кондукторши, с умилением вслушиваясь в плаксивые слова «зековского» шедевра.

– Эй, щеглы, заткните пасти! Песняры долбанные!

Широкоплечий мужчина с середины салона, чуть развернувшись в кресле, пробасил в сторону исполнителей.

Автобус, мягко притормаживая, подкатил к остановке.

– Всё, выходим! Делать будем! – полуприказал Зимин, пробираясь к выходу.

Пошатываясь и придерживаясь за поручни, выпускник поднялся в след за друзьями. Вдруг между ними возникла женская фигура и придерживая Сеньку с грустно-просящей улыбкой, попросила:

– Парень, останься, не ходи с ними.

– Кондуктор, нажми на тормоза – мягко отстраняя преграду на пути, пропел Басов и вывалился в пугающую темноту дверного проёма.

(Продолжение следует).

ЖИКАН

«Юрий Ваньч» – так снисходительно обращались к нему, вчерашнему студенту «стройфака», а сегодня – бригадиру полутораротного состава сварщиков-арматурщиков, опалубщиков, бетонщиков. В основном все они были «братцы», перелётно-разношёрстная публика, которая вслед за министерскими постановлениями, гидропроектами, перебрасывалась на очередную ударную комсомольскую стройку. Обиды на то, что он, дипломированный инженер, теперь бригадир, не испытывал. Практику постигал с нуля, точнее с топора – универсальный инструмент. Месячные наряды были «закрыты», итоги третьего квартала подведены. Начальство довольно. Очередной каскад плотины

возвели с опережением – значит, премия. Вдоль рабочих барачков, через сопку, в посёлок. Приостановился на вершине. Заворожило. Ангара набирала силу, пробиваясь по горно-котловинному рельефу к Енисею, она здесь, в Усть-Илимске, делает два разносторонних поворота. Этот зигзаг и стал основной стройкой. После Иркутской и Братской ГЭС, Усть-Илимская – третья ступень Ангарского каскада.

Плоскость Земли поднялась. Она неподвижна и величественна. Всё насыщено какой-то торжественностью. Большой, яркий, чистый мир природы в одном, тесном единстве. От него исходит необычайный покой. Золото лиственниц упорно штурмует склоны, как бы опираясь на могучие сосны и кедры, предпочитающие «круговую оборону» в котловинах и «подошвах» сопки. Прибываясь к великанам, берёзы поражают густотой кроны, особенно заметной в листопад. Мощным, тяжёлым силуэтом от них ложится плотная тень. От сочетания жёлто-охристого, изумрудного и тёмно-зелёного цветов возникает ощущение блеска. Солнце не греет. Небо безоблачно. Лишь по линии бесконечно распостёртого горизонта проплывают редкие, лёгкие, светящиеся облака. Глаза невольно прищуриваются. Хочется вливать в себя этот свежий, чистый, с привкусом пряностей воздух.

– Вот это, пожалуйста.

Бригадир показал на выставленные за стеклянной витриной охотничьи ружья.

– Вам какое, товарищ?

– Да вот, четвёртое справа.

Вертикалочка. Мечта детства. В руках, как будто ковбойский винчестер. Это потому, что стволы соединены в вертикальной плоскости. Двенадцатый калибр – это же настоящая пушка. Радостная улыбка ещё оставалась на довольном лице, когда он повернулся на возглас стоящего рядом мужчины:

– Я бы такое брат не советовал.

– Это почему же? – Вопрос вырвался какой-то злобный, чуть ли не угрожающий.

– Семён Борисович, вы мне так всех покупателей отвадите. Хорошо, что вы, промысловики, на всю артель закупаетесь, но и любителей привлекать тоже необходимо.

Это продавщица вклинилась в ожидаемый ответ. Только сейчас он увидел большие, искристые глаза с голубоватым крапом. Губы, красиво очерченные, чуть пухловатые, ярко выделялись над белоснежным, овальным подбородком. Лёгкий румянец на щеках дышал свежестью мандариновой корочки.

– Да я же его, уважаемая Пелагея Марковна, пришвартовываю к вам. Ружьё безотказно при работе, – открыто и честно произнёс мужчина. – Осечек почти не бывает, но вот сбалансировано неважно, постоянно «заваливается», да и занижает. Цель надо садить на планку, потом поднимать стволы, чтобы её не было видно. Нажимать на курок, не видя цели – нужен опыт. Советую самое популярное оружие русского охотника.

Он поглаживал приклад протянутого ему ружья, которое сибирячка достала с витрины. Понимали без слов. Её белые, плотножилистые руки, было видно, могли не только торговать.

– Бескурковочка с предохранителями, шестнадцатый калибр, стволы хромированы. – Он рекламировал товар, как профессионал. – Имеет двойной запас живучести, сломался один замок, всегда остаётся второй ствол. Патроны с разными номерами дробы. На мелкую дичь и птицу – надёжное и непритязательное. Кормилица – бери, не пожалеешь!

Выбывая чек, женщина повернулась. Заплетённые в косу и уложенные позади небольшой чёлки в узел, волосы, смесь красного и жёлтого, переливались различными оттенками. На затылке поблескивала декоративная приколка.

– Обмоем покупку? – Не дожидаясь согласия, он произнёс, – Пелагеюшка, добавь Столичную на мой счёт. Давай познакомимся. Семён.

Пожимая широкую, как лемех, с крепкими узловатыми пальцами руку, ответил:

– Не купи лишнего, не продашь нужного. Юрием меня назвали. Покушать, что возьмём?

– Неужели похарчеваться нечем? До моей каюты, два отсека, догребём?

Шли по-сибирски размашисто и широко.

– Тебя, флотский, каким ветром к Забайкалью прибило – не стесняясь прямого вопроса, уважительно спросил бригадир. Ответ прозвучал быстрый, ненадуманый, откровенный:

– Служба. Северный флот. Из Златоуста и в Мурманск.

Не сбавляя шага, почти автоматически, Юрий произнёс:

– Булат,¹ Амосов,² Таганай.³

Попутчики остановились. Изумление сменилось радостью. Поняв самое основное, они обнялись. Земляки!

Бревенчатая избёнка на окраине посёлка. В глубине двора, за огородным забором, в небольшом вольере, подальше от посторонних глаз, дружелюбно подпрыгивала собака.

– Пойдём, познакомлю.

Лайка. Восточносибирский кобель. Крепкий, массивный щенок. Голова по форме приближалась к равностороннему треугольнику.

Скулы явно выражены. Цвет мочки носа в тон основного окраса. Глаза ясные, одноцветные, тёмные. Порода упорная, азартная, выносливая в преследовании зверя. Мелкая дичь их не особенно интересует.

– Охотничью собаку нельзя держать на цепи. В дом тоже не пускаю, запах действует на чутьё. Спать на коврике или диване – преступление. Она должна чувствовать дистанцию с человеком, тогда и взаимоотношения будут в норме.

Закончив наставление, Семён по-особому зацокал языком и поднялся на трёхступенчатое крыльцо. Лайка, вильнув кольцом пушистого хвоста, скрылась в будке. Циркачи!

Изба с двумя переплетёнными окнами, по-белому печь с трубой. Напротив неё два табурета и кедровый стол, застеленный клеёнкой. В проёме окон репродукция Айвазовского: «Среди волн». Бездонная прозрачность морской глубины, вздымающиеся гребни волн. Хаос водной стихии. Глухая чернота облаков и возникающий робкий луч света. Целая симфония. Вдоль – широкая скамья в полуствол лиственницы. Заметив взгляд на картину, хозяин, собирая к столу продекламировал:

– «Есть упоение в бою./И бездны мрачной на краю./И в разъярённом океане/Средь грозных волн и бурной тьмы».

– Семён, а ведь он написал эту махину за десять дней, ему было уже восемьдесят два годика. Не помню, какой поэт сказал: «Он был, о море, твой певец».

– Да тот же и сказал. Давай, бери. Ну, чтоб без «осечек»!

Выпили по маленькой. Гость удивился разносолу. Маринованные опята, квашеная капуста, строганина нельмы, отварная лосятина и накрытая прихваткой кастрюля ещё с утра отваренной картошки.

– Можно ещё пельменей, в леднике с пол мешка заготовил. – Видно было, как хозяин радуется и пытается угодить земляку.

– А живёшь ты один, – то ли спрашивая, то ли утверждая, подытожил бригадир, похрустывая капусткой после второй «чтоб без промаха».

Облачко грусти чуть опустило веки. Тряхнув головой, словно освобождаясь от чего-то тяжёлого, выдавил:

– Море не отпускает. На сверхсрочной, после старшины, мичмана получил и ещё три года подштурманывал.⁴ Отпусками нас не очень баловали. Правда, на дембеле с мамулей повидался. Она да я – вот и вся семья. Отца не видел. Давай, помянем воинов.

К разрезанной лосятине он добавил дымящийся картофель. Лицо засветилось улыбкой, глаза засияли.

– Однокашники на вечер встречи затащили. Там и познакомились. Лариса на начальных классах работала. Встречи, признания, свадьбы авралом прокатились, но надёжно. Ларика к маме привёз, вместе

скучать веселее. В ноябре радиотелеграммой швырнула так, как при «цунами». Двойня у меня – Машка и Дашка. Теперь с отпуском не шути, всей командой собирали. С десятимесячными уже познакомился. Лапушки-красавицы, одна в одну, не отличишь. Я им на пинетки разные ленточки привязывал. Помогло! После контракта, на гражданках караваны водил: Дудинка, Диксон. С «королевами» домик под Ташкентом купили, это им уже по четыре годика было. В июне месяце Ларик со своим детским садиком, её Горono заведующей назначило, выехали на летние дачи. Дети вместе с персоналом в вагончиках жили. В сончас воспитатели на планёрку собрались. В нашем вагончике что-то замкнуло. Это потом следственная комиссия установила. Сгорели мои девочки. – Семён сидел склонив голову к левому плечу. Взгляд «в никуда» выражал болезненную, чёрную тоску. – Похоронили от профсоюзов – протолкнув ком в горле, продолжал охотник. – Ларису только через оконце дверное за мелкой решёткой видел. Буйная была. На её глазах малютки сгорели. Рвалась и билась она в крепких руках, не подпуская её к костровицу. Через два месяца она успокоилась. Три могилки рядком, как три лебёдушки поднялись к небесам. Вперёд меня идут ангелочки. Защита надёжная.

Молча разлив остаток, не дожидаясь, выпил. Говорить было не о чем. Излил душу человек, легче стало. Теперь и одному не страшно.

– Спасибо за помощь при покупке. – Юрий поднялся, взял зачехлённое ружьё и, протягивая руку, произнёс: – Обильный у тебя стол, а мы только общепитом держимся. Вкусно по-домашнему».

Суровая похвала отвлекла от воспоминаний.

– Вот по черностопу погуляю, надо «молодого» на «апортирование» поднатаскать. До начала зимнего сезона ещё увидимся.

Проводив гостя до калитки, дружелюбно подтолкнул в плечо:

– Бывай землячок!

С середины октября пошёл «большой бетон». Бригада работала в три смены. Днём и ночью непрерывно шли «Зилы», «Кразы», «Уралы». Всё, что не бортовое, везли гидробетон. Он особенный – химически и коррозионно стойкий. Каскад должен заливаться одновременно. Один сплошной монолит. Плотинщики рвали жилы, но сознавали всю ответственность!

Посёлок тоже лихорадило. Случай обрастал слухами и подробностями. Молодая лайка гонялась за птичками, преследовала мышей, пока они не исчезали в своих лабиринтах. Зверь выскочил из своего «вертепа», устроенного под «выворотнем», с серыми, висячими корнями так неожиданно, что охотник не успел приготовиться к нападению. Это только в сказках медведь спит и лапу сосёт. Никакую лапу он

не сосёт. Питается за счёт своего жира, полудремлет и хорошо слышит. Постель делает из мха-шеита даже с изголовьем. Ложится рылом к отверстию или лазу. Поэтому на ветках, в сильные морозы, появляется «кружак»-иней. Собачонка была не в счёт. Отшвырнув её лапой, он встал и пошёл на главную опасность – человека. Его взгляд они не могут переносить, поэтому захватывают затылок и сдирают кожу с лица, оставляя почти гладкий череп. Артельщик успел уже пожалеть, что в руках у него не карабин с пулей или хотя бы «жикан-рубанец»⁵, а мелкая дробь. Руки и глаза сработали автоматически. Он сдулелит.⁶ Звук, не причиняющий боли, подбросил медведя в прыжок и он, выбив ударом лапы ружьё, подмял охотника под себя. Встав на все лапы, приготовился рвать. В наклонившейся мохнатой, тёмной, свалывшейся шерсти дымился паром светлый продолговатый мешок. Отброшенный зверёныш яростно вцепился в него, пробив клыками, и стиснул челюсти. Поперхнувшись от обилия захвата, лайка резко мотнув головой, вырвала мошонку и отпрыгнула её.

Страшно-злобный и в тоже время болезненно-жалобный рёв разнёсся над тайгой. Оставив свою жертву, неуклюжими перекачками «чалдон»⁷ ломанулся через густой кустарник. Только кровавые пятна с лимфой и мочой тропили след раненого зверя.

В посёлок «Юрий Ваныч» сумел выбраться, когда охотника уже выписали из больницы. Семён сидел, облокотившись на стол, подперев голову левой рукой. Перед ним лежала небольшая горка строганины, нарезанная тонкими полосками, как стружка из-под рубанка. Он брал пальцами правой руки кусочек и медленно опускал перед собой. Сидя на задних лапах и широко расставив передние, собака, чуть вытянув шею, аккуратненько принимала пищу, не забывая при этом благодарно лизнуть руку дающего.

– Как дела, земляк? – вместо приветствия спросил бригадир.

Не меняя позы, артельщик оттопырил большой палец вверх. Только сейчас стало заметно, что под вязанной, глубоко надвинутой шапочкой, левую часть головы стягивала тугая повязка. Фуфайка, соскользнувшая при движении, приоткрыла забинтованное «через грудь» плечо. Видно всё таки дотянулся косолапый, и рванул охотника. Не спрашивая разрешения, гость присел на скамью, оглядывая пустую комнату.

– Уезжаю, – не меняя позы произнёс хозяин. – Видно на суше мне не фартит. Получил вызов на сейнер.⁸ Документы отправил ещё до того, как – он дал опять кусочек мяса собаке, – как «Жикан» меня спас. Приходи на станцию проводить нас. – Он погладил крутой лоб собаки и потрепал за ухом.

– Больше у нас с ним никого нет. Помнишь, «любить лишь можно только раз», а без любви счастья не бывает. Вот и постранствуем ещё по земле.

[42]

ДиП 17 / 2013

Константин Кербель

- ¹ сплав стали;
- ² металлург;
- ³ гора на Юж. Урале;
- ⁴ помощник штурмана;
- ⁵ свинцовая круглая пуля;
- ⁶ одновременный выстрел с 2-х стволов;
- ⁷ медведь-шатун;
- ⁸ судно для лова рыбы;

Елена Зельгер

ЗАНОЗА ВЕТРА

О, усталость бабочки,
Невесомая пагубность паутины,
Вдохновение грёз,
Заноза ветра!

О, серебро плаща туманов,
Щедрая россыпь лугов,
Наполненность,
Зрелость музыки падающих плодов!

О, Королева!
Припадаю к тебе
Стопами своими,
Именем, сердцем, дыханием.

О, Любимейшая Пора!
Пора в путь – в устье пронзительной ноты,
В одиночество дождя и слепоту снега.
В негу воспоминаний о будущем.

О, Рыжеволосая Обнажённая!
Я рисую твой портрет криком души!

Дивная постоянная Незнакомка,
Пригоршнями сказок наполняющая подолы дев.

Ликующая лисья повадка окраса.
Синева озёрных глаз.

Небрежная безбрежность.
Страсть девственницы – поцелуем стрекозы.
Зуд позолотчика – мастера на все времена.
Имена меняются и смеются встречному.

Иду сквозь ливень ив, – Вы!
Снова Вы, Ваше Величество!

Я падаю в Ваши объятия
С высоты мостов своего взгляда.
В ловушки Вашей изменчивости –
Год за годом, жизнь за жизнью...

И задыхаюсь от неизбежности перемен!

ФЕВРАЛЬ

Февраль не плакал, не рыдал
И под ненастьем
Тихонько что-то напевал,
Дрожа от счастья.

Снег стаял – оторопь прошла.
Шершавит пальцы
Деревьев свежая кора.
И, как на пальцы,

Натянут неба серый шёлк –
Полупрозрачно.
Стежок к стежку, к стежку стежок,
Кладёт удачно

Февраль, но ты ему не верь –
Он враль отменный!
Он вздорный, ветренный, шальной
И переменный!

Сейчас милуется с дождём
И капли нежит,
Зовёт неопытный росток
Зелёный, свежий

[45]

Расцвествь, но позабыв его,
Пленённый высью,
Возьмётся рьяно за шитьё
Иль чтение писем.

Не дочитав, не долистав
Остатки листьев,
Зарю по небу распластав,
Сжигает письма...

Его от них – в дрожь и озноб,
Он весь в горячке –
Под град и ливень светлый лоб
Певцом незрячим.

Февраль не любит вспоминать –
Он весь стремление.
Дней не окончена тетрадь –
Ах, нет терпенья!

Тебе февраль не удержать –
Он недотрога!
Смятение в его шагах,
В глазах тревога.

ЗОЛОТО НА ГОЛУБОМ

Светотени на мосту,
Полубог в античном шлеме
На осеннем гобелене.

Крылья режут высоту –
Золотом на голубом,
Голубиных споров выше,

Двигая небесной тишью,
Дирижируют неслышно
Городом и жизнью в нём.

День осенний – звень и звянь!
День осенний – наслажденье!
В пику летнему горенью
Тенью – дружеская длань.

Тёмна тёмная вода,
Спят «быки» под знаком дрёмы.
И к вершинам, невесомо,
Устремляются года.

В Вечность смотрятся мосты:
Воды Леты неподвижны...
Осень, наряжаясь пышно,
Нижет золото на персты.

Светотени на мосту
Вторят вечному стремленью!
День осенний с наслажденьем
Набирает высоту!

* * *

Памяти Любы Рейнгач

Молчаливая приязнь:
Ни полслова, только взглядом.
Много говорить не надо –
Обособленная связь.

Понимание и грусть
Жестов, запахов, боязней.
Много говорить – увязнешь.
Почитайте наизусть –

Уст истоком, током чувств,
Вопреки привычным ритмам,
Вслед за сердца алгоритмом –
Вслух, на память, наизусть.

[47]

* * *

Сироты – соцветья
забытой сирени...
Склонённые лица,
 поклонные тени...
Сквозь пальцы песок –
 три горсти на прощанье.
Щетинится день
 под струёй обещаний,
Прощаний, словес,
но тоски невесомой
Острее порез.
 И до боли знакомый
Всё плещется стих.
 Голос – нитью надрывной...
И голубь притих
 на часовне старинной...

Д и П 17 / 2013

Анжелла Подольская

ДЕТСКОЕ

Когда-то, совсем в другой жизни, когда ты был ещё мальчиком с длинными непослушными волосами – ты был моим братом и дразнил меня «Веснушкой» оттого, что жаркое, рыжее солнце разбросало сотни пятнышек на моём лице. Ты дразнил, но я знала, что между нами – тайна.

Тогда весь мир был понятен – как на ладони, и всё казалось возможным. Стоило только захотеть. И мы с тобой хотели.

Тогда... Тогда... Ты прикоснулся ко мне и сказал, что любишь меня. Я ответила, что – тоже.

Потом кто-то, то ли твоя мама, то ли – моя, позвал: «Дети, дети! Обедать». И мы, взявшись за руки, помчались к дому.

Сколько же лет прошло с той поры, когда мы были детьми? И детьми ли? Сколько нам было тогда? Двенадцать? Тринадцать? Не помню...

Сейчас, на большом семейном торжестве – твоей свадьбе, я смотрю на женщину, которая стоит рядом с тобой, и у меня перехватывает дыхание. Ты осторожно поддерживаешь её под руку. Преодолевая себя, я подхожу к вам.

– Здравствуй, Дэн! – говорю я и вопросительно смотрю на женщину.

– Познакомьтесь, – опустив глаза, отвечаешь ты. – Моя жена. Моя сестра. Двоюродная.

В моих глазах – вопрос, требующий ответа. Но ты не замечаешь или делаешь вид, что не понимаешь моего требовательного взгляда.

Тогда, в то неповторимое лето, у меня тоже перехватывало дыхание всякий раз, когда я видела тебя. Тогда мы впервые ощутили, что не дети уже. Мы не могли, как прежде безмятежно играть, прикасаясь друг

к другу. Не могли с зажмуренными глазами искать друг друга в пространстве, растопырив пальцы рук. Даже, когда ты произносил: «Дана», моё имя звучало уже как-то по-другому.

Именно тогда ты и придумал ту, только нашу, игру: писать пальцем на спине друг у друга, отгадывая, что это. Сначала это были горда, потом – имена...

Потом ты сказал, что мой сарафан и твоя рубашка мешают отгадке... И мы сбросили их... И тогда, под твоими пальцами на моей спине я прочла: «Я тебя люблю». Моё лицо пылало, а ты, прекратив писать, прижался ко мне. С того дня в моём сердце поселилась тревога пополам с гордостью.

Как-то, как бы невзначай, я спросила маму, могут ли пожениться двоюродные брат и сестра. Мама испугалась: «Что ты, глупенькая! Ведь у них могут родиться уроды». Я так не хотела плакать... Но подушка была мокрой от слёз. А тебе я ничего не сказала, ведь я любила тебя.

При встрече, кончиками пальцев ты касался моего лица, точно хотел стереть невидимые тебе слёзы. Потом опять писал и писал на моей спине... Я боялась дышать – из твоих губ вырывался жаркий воздух, обжигая меня.

Ночами я перестала спать от тоски по тебе, и мне виделись мои нерождённые дети-уроды... В ужасе я кричала, и мама сказала, что прекратит наши встречи, что ты плохо на меня влияешь... Я не в силах была жить без тебя. А ты?

Сейчас ты стоишь возле своей жены. Ты не смотришь на меня... Только на неё...

Я знаю, что больше не увижу тебя. Не захочу...

Потому что не видеть тебя было пыткой, а увидеть – наказание.

И никогда впредь ты не напишешь на моей спине: «Я тебя люблю»...

Из цикла «Киевское...»

МАРГО С МАЛОЙ ЖИТОМИРСКОЙ

Она красива. Никогда не скажешь, что ещё школьница. Гибкое тело, необычный разрез слегка на выкате глаз, красивый рисунок губ, очерченных едва заметным пушком. Так и хочется прикоснуться к ним, ощутив их жар... Ритуха, как зовут её и дома, да и во всей округе, знает себе цену. Недаром её всегда провожают взгляды юнцов и вполне взрослых мужчин. Вообще-то: она – Рита, Маргарита, но сама себя называет – Марго. Так ей больше нравится. Как у Дюма.

Каждое утро – привычная дорога вверх по Малой Житомирской, мимо приёма стеклотары, что на углу с Михайловским, мимо гастрономчика «У Перчика», потом через сад, где фонтан. И, наконец, мимо Богдана, указывающего своей булавой: вон она, Москва. Каждое утро в школу, которая смотрит вслед бронзовому человеку на вздыбленном коне, готовом растоптать цветы под своими копытами.

...Но так хочется поскорее расстаться с однообразной школьной жизнью, с её белыми воротничками и табелями, с невыученными уроками и хождением строем, с этим казарменным миром, который для кого-то, уже повзрослевшего, заканчивается, для кого-то, ещё задержавшегося в детстве – продолжается! Ещё сверкают прыщавыми лицами мальчишки-одноклассники, взмокшими подмышками – повзрослевшие девчонки-дылды. А она, Марго, уже на взлёте. Вот она – взрослая жизнь, за порогом школы, рукой подать.

...Но всё это будет только завтра. Завтра она будет стоять с ним, старшеклассником, взявшись за руки, раскачиваясь из стороны в сторону. Будет замирать от сладости его дыхания, от чего-то неведомого, обжигающе опасного, запретного и ускользающего... Завтра будет обниматься в укромном школьном уголке со старшим пионервожатым, присланным из райкома... Завтра будет мчаться к нему, любимому и единственному, будет воплощением добродетели или греха, будет наивной, может быть лживой, будет самой жизнью со всем её уродством и привлекательностью. Завтра, как заведённая, будет бегать на молочную кухню за бутылочками для старшенькой. Дома – мотаться между ванной с недостиранными пелёнками и комнатой, где надрывно кричит младшенький, впопыхах растёгивая платье, обнажая распухшую грудь и успокаивая его ею. С ним на руках, сосушим, раскрасневшимся от крика, снова бежать на кухню – разогреть молочную смесь. Завтра будет рыдать, не зная, как избавиться от избытка молока, проступающего сквозь платье. Завтра будет ещё много всякого, разного... Вот она – уготованная ей, королеве Марго, жизнь, о которой она совсем не мечтала – ведь и девчонкой-то не успела побыть, не успела вдоволь насладиться юностью, без взрослых проблем и обязательств. Но всё это будет только завтра.

...А сейчас она – ещё одна из них, одноклассников. Выросшая из своей формы, из ворота которой вырывается на свободу тонкая лебединая шея. Мальчишки слепнут от силуэта её груди, от искр, вылетающих из её глаз. И она, чувствуя свою власть над ними, игриво перебирает верхние пуговицы на тесном школьном платье, отчего они восхищённо замирают. Пока ещё продолжается этот период очарованности, надоевший ей. Но приближающийся уже к будущему, к

необходимости что-то решать, из чего-то выбирать, от чего-то отказываться – периоду познания жизни, открытий и откровений. Еще кажется, что всё образуется, устроится, и все непременно будут счастливы. Взлетая на качелях, мечтая о жизни за порогом школы, Марго ещё и не подозревает, с каким щемящим чувством будет вспоминать это время, желая хотя бы на миг вернуться в него.

ОКНО

Из окна расположенной в полуподвале квартиры улица почти не видна, только лишь часть тротуара. Вход не из парадного – из арки, ведущей во двор дома. Кем и когда было приспособлено это подсобное помещение под «жилое», никто из ныне живущих жильцов многоквартирного дома не знает. Когда-то дворники хранили здесь свой инвентарь. Пожалуй, единственное преимущество состояло в том, что была эта квартира изолированной, в отличие от других. Сам вход в полуподвал, в пять ступенек вниз – тёмн, грязен, сыр, тут и крысы водятся. Кроме всего, здесь постоянно пахнет мочой – часто прохожие, забегая во двор в поиске туалета и не обнаружив его, справляют тут свою нужду.

В квартире – небольшая комната, кухонька без окна, сооружённая в нише при входе, и крошечный туалет, в котором не без труда можно развернуться. Несмотря на затхлый запах, всё же пробивающийся из-за входной двери, на всегда влажные трубы в кухне – в квартире относительный порядок.

Целый день мимо окна движутся ноги: «Цок, цок... Топ, топ... Шарк, шарк...» Только ноги, вверх-вниз по Малой Житомирской: идущие, бегущие, пританцовывающие, семенящие.

В квартире живёт девочка Соня. Софья Лисица. Фамилия такая. Папа – Лисица. Мама – Лисица. И Соня. Ей шесть лет. Есть ещё бабушка, мамина мама. Последнее время она болеет, почти всё время лежит на кровати за одежным шкафом, который делит комнату пополам.

Бабушка преподавала в школе немецкий язык, сейчас – на пенсии. Она маленького роста, довольно грузная. Сколько Соня помнит, на плечах у бабушки всегда был пуховый платок, сколотый впереди английской булавкой. Сейчас он наброшен ей на ноги – в квартире холодно.

Из-за шкафа раздаётся стон, и Соня заглядывает к бабушке:

– Что? Тебе плохо?

– Нет, mein Schatz.

– Может быть попить?

– Gut.

Соня приносит воду, садится рядом:

– Скоро твой день рождения, бабуля. Придут твои гости.

Каждый год бабушку поздравляют бывшие коллеги, и ей неловко из-за квартиры, в которой она живёт. И каждый раз гости спрашивают, когда же, наконец, зять получит новую... Пусть и в одном из микрорайонов, но зато чистую и без крыс. В ответ бабушка разводит руками.

– Что там сегодня на улице? – спрашивает она внучку.

– Ноги.

– А были такие, очень стройные, на танкеточке, в чёрных чулках со швом?

– Кажется, да. А кто эта тётя с красивыми ногами?

– Артистка. Она шла вниз?

– Да.

– Значит, в филармонию. От неё невозможно оторвать глаз. На редкость хороша. С такой внешностью жить в нашем доме просто неприлично. Все женщины её появление расценивают, как вызов. Даже моя дочь, твоя мама тоже потеряла покой.

– Бабушка! А ты познакомишь меня с ней?

– Вот, поправлюсь и познакомлю.

Их беседу прерывает звук, доносящийся из кухни. Кажется, что кто-то забрался в трубу и рычит. К нему присоединяется звук монотонно капающей воды, и они сливаются в один сплошной стон. Соня достаёт из кладовки миску и подставляет под трубу.

– Скоро начнутся дожди, – говорит из-за шкафа бабушка. – Надо снять с антресоли ставни.

– Может быть, папа получит новую квартиру, и мы уже не будем здесь жить.

– Вы не будете, а я не хочу на «Выселки».

– Где это?

– Так называют новые массивы. Это за городом...

Да, скоро осень, зима, с возможной ангиной, с заклеенными наглухо окнами, ранними сумерками, с трудом пробивающимися сквозь ставни...

...Соня разглядывает свои ноги: «Ровные». Потом подходит к окну и надолго «прирастает» к нему. Плоскость подоконника вровень с тротуаром за окном. На мгновение она закрывает глаза, ей кажется, что она сидит в театре, где однажды была с мамой, и что тротуар – это сцена. Вот сейчас распахнётся занавес и привычный мир закончит-

ся – вместо надоевших, постоянно движущихся в окне ног возникнет многообразие новых лиц, голосов... Ощущение было настолько сильным, что Соня почувствовала запах бархатной обивки театральных кресел...

Скоро в школу... Пусть и на «Выселках»... Ну и что? Она смутно догадывается, что когда-нибудь станет самой лучшей, самой красивой, как артистка из её дома...

«ЛЮБИТ... НЕ ЛЮБИТ... ПЛЮНЕТ... ПОЦЕЛУЕТ...»

Когда всё это началось? Помню начало осени, было ещё тепло, и в школу ходили в формах и носочках.

Именно тогда он впервые появился в нашем дворе – его семья въехала в освободившуюся комнату. Поздним сентябрьским вечером, стоя у окна, я вздрогнула. По двору, похожему на глубокий колодец, разнёсся звук аккордеона, и во мне поселилось ощущение праздника. В окне напротив я увидела его силуэт. Он изгибался, локти рук двигались. Моё сердце отозвалось торопливым биением, и, казалось, сам воздух раскачивался в такт музыке. Распахнутые в ночь окна ловили плывущую волшебную мелодию.

Стемнело, но спать совсем не хотелось. В моей голове бурлил неформленный поток сознания. Отчаянно захотелось увидеть этого мальчика. Не заметила, как уснула.

Следующим утром до школы, схватив мусорное ведро, помчалась во двор – в надежде встретить его.

Домой вернулась ни с чем.

С того дня каждый вечер я – у окна. Помимо аккордеона он владеет и скрипкой. Вот это – да! Скрипку, в принципе, я не любила, но ловила каждый звук, извлекаемый им из струн.

...Однажды, выглянув в окно, он заметил меня, улыбнулся детской, беспомощной улыбкой, от которой затрепетало сердце, и махнул рукой. Я была на «седьмом небе».

Мальчик мне понравился – очень красивый.

Но уже на следующий день, мельком глянув в мою сторону, прокричал:

– Исчезни! – и резко закрыл окно.

С того дня он то улыбался мне, то отворачивался, крутя пальцем у виска. «Сам сумасшедший, – решила я. – Ну, ничего. Ты ещё у меня попляшешь».

Я уже знала этот его отчуждённый взгляд, и смотрела с вызовом,

словно приглашая к барьеру. Но он только отворачивался. Хотя иногда и улыбался вполне дружелюбно.

...Мама не могла взять в толк, отчего раньше не могла допроситься, чтобы я вынесла мусор. Теперь же, всякий раз, мчусь во двор с полупустым ведром.

Повезло недели через две. Повезло? Столкнулись в подворотне. Я с мусорным ведром, он – с нотной папкой и футляром для скрипки. Прошёл мимо, даже не глянув в мою сторону. «Воображала. И, вообще, тощий, как гвоздь, с длиннющими руками почти до самых колен. – Про себя обозвала его – «Жердев». Но... в тот же вечер он опять улыбнулся мне из окна. Ерундистика какая-то...

Как-то мама велела купить хлеб. Зашла к «Перчику», так мы звали маленький гастрономчик рядом с домом. Зашла... И обалдела... Он... Они... стояли у самого прилавка, расплачиваясь с продавцом. Их двое?! Близнецы? Ну и ну! Так вот в чём всё дело-то... Забыв о хлебе, выскочила вслед за ними на улицу. Не понимая, откуда взялась во мне то ли смелость, или наглость, догнала:

– А я тебя, вас..., то есть, знаю... Мы – соседи.

У одного – длинные волосы, собранные в конский хвост. У которого?

Он что-то пробормотал вполголоса и потянул другого за рукав:

– Идём, нас ждут.

Солнце играло на их лицах, а я томительно вглядывалась в них.

Его брат-близнец виновато улыбнулся:

– Не обижайся. Нас действительно ждут.

Отвернувшись, Жердевы направились вниз к Крещатику. Чувствуя какую-то интригу, я пошла следом. Что именно я ожидала увидеть, сама не знала. Но что-то толкало меня, может быть ощущение проворонить мгновение, когда случается нечто важное. У Главпочтамта их ждали две девушки, интуиция не подвела меня. Ещё минут пятнадцать я плелась за ними до Первомайского Парка, но вверх по аллее не пошла. Они могли заметить и посмеяться надо мной.

С того дня близко к окну я не подходила, но в просвет между шторами видела – Жердевы посматривают в сторону моего окна. «Дудки, слишком много чести».

И выносить мусор я перестала.

...Похолодало, окна наглухо закрыты, но одинокие звуки, вылетающие из чьей-то форточки, зависают над крышами.

Интересное началось позже, уже зимой, когда в «Садике, где фонтан» залили каток. У нас, дворовых и одноклассников – своя банда. Чужаков мы в неё не пускаем. Однажды появились Жердевы, да ещё в модных спортивных костюмах, в одинаковых вязанных шапочках с бомбошками. Ну, это

уже за гранью, настоящий вызов. Ведь мы – кто в чём. Кто-то в мешковатых брюках и старом свитере, кто-то в старом полушубке или ещё в чём-либо с чужого плеча. Только мне, «Королеве Шантеклера», как зовут меня «наши», разрешается подобная роскошь. И я в костюмчике, «почище», чем у Жердевых. И на моей голове шапочка – с тремя бомбошками.

Один из близнецов с улыбкой кивнул мне. Я холодно ответила. Катаемся. Мы – сами по себе, и они – отдельно. Наши мальчишки свистят, отпускают разные обидные словечки в их адрес, типа: «Отчего ты сегодня без аккордеона?», или «В следующий раз вход без скрипочки воспрещён». А они катаются себе – «ноль на массу». Ещё обидней.

Я не заметила, как кто-то из наших мальчишек «подрезал» одного из них. Жердев упал, а подняться не смог. Второй тянул его, тянул... Что толку... Я подъехала:

– Помогу.

– Обойдёмся без тебя, – сказал, как отрезал, тот, который лежал.

Но не на ту нарвался:

– Ты покомандуй, покомандуй, скрипач. Руки целы? Пиликать будешь, не волнуйся. Давай, тяни за одну руку, а я за другую, – командую я второму Жердеву.

– Спасибо, ты меня выручишь.

– Обойдёмся без благодарностей. Поташили.

Довели мы его братца до дома. Доставили к их парадному, что во дворе. Этот, с вывихнутой ногой всё стонал. Я только раз и сказала:

– Да будь ты мужчиной. Это тебе не на скрипочке играть. Наш двор – амфитеатр. Скажи спасибо, что зима. А то уже через десять минут все бы узнали, каков ты в бою.

В ответ он только скривился от боли.

Следующие несколько дней скрипка молчала. Только аккордеон заливался, как соловей. И что самое странное – звучали не узнаваемые прежде мною мелодии, а что-то новенькое, что мне очень понравилось. Это уже потом, много позже, я узнала, что Жердев пробовал себя в джазе, ритмы которого пульсировали в венах.

Но сердце моё молчало, не замирало, как раньше от щемящего чувства. Просто наслаждалось чем-то неведомым.

Больше на катке Жердевы не появились. Ну и ладно, мне-то что...

Наступил март, завывли ветры, те ещё... И каток постепенно пустел – ветром так кидало друг на друга – не каждый любил такой «экстрим»...

...Но Жердевых я стала часто встречать на улице. Совпадение? Да, нет. Раз, другой, третий... И что характерно, скрипач, ехидненько так, но тоже улыбался:

– Ты спасла меня. Спасибо.

– Ой, какие нежности...

– Нет, правда. Ты – молодец. Мы хотим пригласить тебя в кино: «Двенадцать девушек и один мужчина» с Тони Зайлером в главной роли.

– Удивил, – рассмеялась в ответ. – Фильм уже несколько дней, как идёт. Не смотрел разве что дурак или ленивый.

– Да? Ладно. Возьмём билеты на другой. «Римские каникулы» тебя устроят? На субботу. Идёт?

– Не-а... И этот видела... Да, не парьтесь, мальчики... Всё, привет...

Отвернувшись, побежала, сама не зная, куда и за чем? Дурёха. Ничего. Пусть покрутятся. Я им ещё не забыла тех девчонок у Главпочтамта. А сама гадаю на спичках, на зубцах вилок, да на всём, что под руку попадается: «Любит... Не любит... Плюнет... Поцелует...»

Кто же из них мне больше нравился? Скрипач? Аккордеонист? Пожалуй, ни тот, ни другой. Проморгали они свой шанс.

...Время... Время маячившей свободы от школы – всего в нескольких шагах до выпускных. Время лоточков с мороженым. Время вязаных авосек, из которых торчали лапы «Синеньких»...

Какое же это было восхитительное время! Разве могла я тогда оценить его по достоинству. «О, Пигалица. Молоко на губах не обсохло, а туды ж... Вже нацепила короткую юбку, и шас на танцульки», – бурчали вслед старушки в платочках. «Да! Пигалица. Да, короткая юбка. Вас забыла спросить». Только не на танцульки. На танцы. И учитель – полуиспанец. И какой! Ох! Фламенко! Мечта. Что могло сравниться с тобой? Ничто. Ни джаз, по вечерам несущийся мне навстречу из распахнутого напротив окна. Ни первая любовь, которая не могла не случиться в такое неповторимое время.

Из цикла: «Лирические миниатюры...»

МЕЖДУ СТРОК

Сотни раз повторяла себе: пора окунуться в реальность, а не существовать в каком-то вымышленном мире воображения. Лучше уж быть игрой чужого воображения. Это легче.

Я и не догадывалась, что тут никакого решения нет, и быть не может... Я не догадывалась, что теперь предоставлена самой себе. Ну, и пусть. Что будет, то будет. Время поиска закончилось. И лихорадочно что-то решать уже не надо. Нужно правильно и рационально распорядиться собой. Легко сказать...

А в голове всё равно неразбериха, упорно возвращающая меня не к самому главному...

Вероятно, я ошиблась, думая, что так просто смогу отрешиться от этого, не главного...

Просто зависла где-то в пространстве, где вижу силуэт, присутствие которого внутренне меня не покидает... Дразнит... Раздражает... И не вырваться. Не вырваться.

Может быть, мне мерещится это пространство, эта надежда с её молчанием и ненавистью, которая выслеживает, застаёт врасплох? Мне тесно в этом пространстве. Темно. Нехватает воздуха. И всё это плата за безумное право видеть друг друга, скрываться от посторонних глаз? Или плата, мстящая впрок, за ещё несовершенное? Я бес- сильна бороться с этим. Наигранное возбуждение от желания что- либо изменить не способно обмануть меня. Я бы написала музыку недоумения и тоски, если бы знала ноты...

Пытаясь отыскать хоть какую-нибудь щель в этом пространстве, я всё же нахожу её. И хоть на мгновение, на два вырываюсь к свету. Какие узоры догадок вспыхивают в моём сознании?

Обмануть? Обмануться? Нет, просто вечер, прячущий мою бес- сонницу от посторонних глаз...

«IN VINO VERITAS...»

Я растворяюсь в вине. И только в его объятиях чувствую себя за- щипленной от твоей любви... от своей ревности.

Какое приторное, терпкое вино. Как и моя любовь... И обида...

Разве не я исполняла все твои желания? Не любила, как никто не любит?

Зачем же твой голос, который постоянно звучит во мне, пытается вырвать меня из полузабытья? Зачем?

«Уходи... Убирайся» – язык вязнет от очередного глотка...

Ты замолчал... Знаешь – хочу, чтобы ты ушёл... Навсегда...

Я не стану искать тебя в толпе... Забуду твою улыбку... Забудусь в вине...

Надену маску «радости»... Буду играть в «маскарад», изображая веселье.

Ветер выветрит запах твоего тела... Но... Не выветрит память о тебе... Никогда не прощу себе эту память, остающуюся на коже, не исчезающую на губах...

Моя душа мёрзнет... Не знаю иного способа – лишь вино со- гревает её... Как у Блока: «In vino veritas...»

Бронислава Фурманова

ЗАШТОРМИЛО

На море тишина, и гладь воды
подрагивает, словно от озноба.
И оставляет на песке следы
волна – голубоглазая особа.

Дорожка лунная за горизонт
бежит и за собою увлекает.
И небосвод глядит, заморожён,
объятья морю щедро раскрывает.

Заигрывая с ласковой волной,
звезда ныряет в пропасти темницу.
Но вскоре, появляясь над водой,
Дрожит она, как раненная птица.

Волна, качая пены седину,
подхваченная шаловливым ветром,
скрыв лунную дорожку в глубину,
заволновалась, вспыхнув жёлтым светом.

Наполнен воздух запахами бури,
И нарастает шум издалека.
Бродяга-ветер брови важно хмурит,
И в тучи превращает облака.

В испуге море заштормило враз,
И сверху рухнула дождя лавина.

И смысла звёзды, как волной, – тотчас
их поглотила бездною пучина.

Не дай нам Бог несчастье ощутить –
бушующий круговорот потока.
В ненастье этом одиноким быть,
по случаю или по воле Рока.

ОСТРОВ ДЕТСТВА

Там вдалеке, с горами по соседству,
В кирпичном доме окнами во двор –
Далёкий остров под названьем «Детство»
Мою тревожит память до сих пор.

Знакомый пруд и лодки у причала,
Где приручали белых лебедей.
Где, сидя на траве, в руках качала
Двух кукол, словно маленьких детей.

Две ласточки, живущие под крышей,
Собака Кузя, старый рыжий кот,
Которого жалели даже мыши –
Моя поныне память бережёт.

Глаза закрою, будто наблюдаю
За черноглазой девочкой с косой.
С ней вместе я кораблики пускаю,
И в салочки играю с детворой.

Июль, жара, но хочется летать ей...
Старушек на скамейке клонит в сон.
А девочка кружится в лёгком платье,
Под танго, что доносит патефон.

Куда нас всех из детства разбросало,
В какие веси, страны, города?
На остров «Детства», где судьбы начало,
Так хочется вернуться иногда.

Марина Авербух

БОЖИЙ ДАР

(Продолжение. Нач см. в альманахе «До и после» №16)

СЕЙЧАС И ЛЕТ ДВАДЦАТЬ ТОМУ...

«Вот видишь эту фотографию... Это – я в школе, рядом – мои друзья... А самой близкой моей подругой была Кира... Вот, посмотри... Правда, красивая девочка... У Киры была странная фамилия: Ушац... С ушами у неё было всё в порядке, и наши дружеские шуточки быстро всем надоели и исчезли.... Зато стихи Киры были переписаны в нашей стенной газете – «Наш РОСТ» ... Стихи были всякие, но в восьмом классе появились самые необыкновенные – про Любовь! Мальчишки поначалу фыркали, а девочки потихоньку переписывали, чтобы никто не видел. Мне поначалу больше нравились смешные стихи – стишата – про лентяев и двоечников. А потом пришла и моя пора – писать стихи о любви... Именно поэтому-то я подружилась с Кирой... Всё-таки наша классная поэтесса...

Мне снился сон: Замёрзшее окно. В каком-то светлом и нарядном зале...

Снаружи – темень... А внутри – светло... И слышен звук огромного роля...

Вокруг – столпились школьницы. Все в белом. Нарядном. Праздничном.

И пели хором. Кто-то подошёл к окну, где я несмело прижалась к раме. Ёлка. Карусель.

И девочка, знакомая как будто, своим платочком помахала мне... Где видела её? Помню смутно, что точно видела. В жизни? Или во сне?

Потом она ладошкой растёрла ту изморозь, что разделяла нас...

И я узнала в девочке... Тут горло перехватило – это же мой класс.

В моей, почти забытой, школе... А кто же я? И где же?!
Но Кире понравилось это моё первое стихотворение...
Потом и другие... Пока не возник ОН!

Он – это был Чернов! Саша Чернов! Как только он появился в нашем классе, – Саша приехал из другого города – все девчонки стали красить губки, вытащили из волос бантики и вдруг обратились, как в сказке, в молоденьких девушек! Сразу! За одну неделю его пребывания в классе...

Это было, как чудо...

И даже наша классная руководительница – Геля Николаевна – вдруг сменила свой ежедневный балахон сине-мышинного цвета на какую-то пёструю развесёлую размахайку... И помолодела тоже вдруг лет на сто... Как мы, буквально все девчонки, её вдруг возненавидели...

Одна я тихонечко посмеивалась, так как Саша, ребята по традиции кинули на него кликуху «Чёрный», смотрел только на меня, особенно тогда, когда я с кем-нибудь трепалась или чего-то писала. А сама краешком глаза, чуть совсем не окосела, так далеко и неудобно он сидел, следила за его глазеньем... Жутко приятно было – только на меня ведь и смотрит!

Но всё было не так уж просто, я это поняла очень-очень быстро... Оказалось, что город, из которого приехал «Чёрный», назывался – не угадасшь за всю жизнь – мне очень даже знакомый – Лондон! Вот откуда эти манеры лондонского «дэнди»... Как и Онегин, Саша всегда был одет с иголочки... Наши ребята на его фоне были просто пацаны дворовые... «ЧМО» какое-то... В Лондоне Саша прожил и проучился вплоть до пятого класса. Потом его Папа получил новое назначение в Союзе, семья вернулась в Россию и жила где-то «далеко от Москвы» вплоть до нового переназначения его Папы – уже прямо в Москву! Понятно, что у нас обоих появилось столько общих тем для обсуждения, что и не снилось нашим девчонкам...

Так мы и подружили до самого выпуска из школы, до аттестата зрелости... Конечно, иногда и целовались... Но не более! Я девушка была строгого воспитания...

Да и как можно было обойтись без плотной заботы о такой красавице... Папа неспроста придумал для дочки двойное имя: Клаудия и Патриция... Уже в девушках моей красоте не могли не удивиться «ни стар, ни млад»... Казалось во мне слились черты и благородной петербургской барышни Пушкинских времён, и патрицианские черты древних римских гражданок...

Чёткий профиль с прямым носом, со слабой горбинкой, выявляющей благородство. Уверенный подбородок, исключаящий не-

нужную нерешительность. Широко расставленные и всегда чуть не в упор смотрящие стального оттенка глаза. И, конечно, медно-рыжеватые, обильно разбросанные по плечам еле-еле змеящиеся волосы...

Всё обозначало без колебаний отцов характер...

А потом был психфак Московского Университета... Тогда все девочки из «хороших» семей шли либо в Историко-архивный, либо в мединституты, либо на «психический» факультет МГУ... Там я и стала профессиональным психологом и работала им довольно долго в Онкоцентре на Варшавке...

Саша тоже поступил – да ещё с блеском – на факультет журналистики и на третьем курсе стал моим мужем!...Сбылась моя школьная мечта!

Родился и Петенька!Сыночка полностью занял всю мою душу... И душу, и время!

Папе Саше вдруг(?) стало в семье совсем тесно... Он заскучал ... Стал упрекать меня. Говорить – нудить, если быть более точной – о своей ненужности нашему дому...

Но только через четыре года мы расстались, он уехал в загранкомандировку и из-за границы прислал мне документы на развод...

Как говаривал Папанов – «без шума и пыли»...

Так я стала матерью-одиночкой! Правда, бабушка-дедушка у Петеньки были, и их помощью и заботой он был не то что не обделён, а просто усыпан... Да и «папа Саша» иногда появлялся из своих иностранных краёв – и дружный, и весёлый, но всё же уже немного чужой...

Мы с Сашей стали забывать, что росли когда-то как бы вместе...»

ЛЕТ ДВАДЦАТЬ ТОМУ...

Клаудиа проводила с сыном всё свободное время... Ловила на дачном лужке стрекоз и бабочек, азартно играла в бадминтон, а попозже и в футбол... Стояла в воротах, била или отражала «пенальти»... Строила всякую модельную технику – самолётики и кораблики, задышалась от жуткого клеевого запаха, но взамен восторгалась успешными испытаниями или чуть не плакала вместе с сыном при авариях и катастрофах.

В итоге на многих конкурсах моделлистов Петя получал призы – кубки, медали, вымпелы... Их выставляли дома на специальной горке и гордо демонстрировали гостям и друзьям дома...

А друзей у сына всегда было много...

Дом Патрисии-Клаудии был тёплым, хлебосольным местом общения... Умению оформить стол она училась ещё в далёком детстве

в Италии... Не только стол «питья и яств», но ведение застолья, дирижирование непростым конгломератом гостей, приучило её к свободному общению с любым коллективом... И в обновлённой, капитализированной России она, естественно, без колебаний и бестолковых размышлений организовала и возглавила быстро раскрутившуюся коммерческую службу «психологической помощи»...

На фирме уважали, любили, но и слегка побаивались, как строгую матушку, Госпожу Патрисию-Клаудию.

Именно так, без вульгарных просторечных уменьшений, никаких «Кланечка», «Клавочка», «Патти» и иных озвученных фамильярностей....

А дома был Петя, Петруша, Петенька.. Дом жил только ЕГО интересами, проблемами – вначале школьными, затем институтскими (конечно, Пётр поступил в Авиационный)... Именно в МАИ увлёкся Петя, на свою и на мамину беду, ДЕЛЬТАПЛАНЕРИЗМОМ!

На международных соревнованиях в Крыму, в Коктебеле, юный пилот не смог выйти из штопора, упал на склон холма и, казалось, отделался всего лишь переломом, хотя и открытым, левой руки... Но где-то при транспортировке в рану попал «анаэроб» и случилось поэтому почти неизбежное... Если бы только столбняк! Он тоже почти смертелен, но прививка своевременная, то есть почти моментальная, может спасти...

Но есть и более опасные микробы... Тоже анаэробы... Именно они, проникая через повреждённую кожу, вызывают скоропалительную, смертельно опасную гангрену... Кожа воспалённого участка становится как бы жёлто-голубоватой, прозрачной. Из-под неё просвечивают пузыри подкожной жидкости, обыкновенно заразной для всех, имеющих открытые ранки или даже царапины....

ОПЯТЬ СЕЙЧАС...

Тяжёлый и неожиданный сон опять свалил с ног Клаудию... В который раз она вновь оказалась на берегу какой-то широкой, но не бескрайней воды... Тихие волнушки ласково целовали песочек ... А по песочку, вдоль воды шли следки – явно детских босых ножек – лет трёх-пяти...

И вдруг останавливались перед... детскими же туфельками – не ботиночками, не сандалетками, а туфельками – красными с отстёгнутой перепонкой и пришитой «на ножке» беленькой пуговкой... ..

«Обувь снится всегда накануне жизненных перемен», а «девочка» – это «к хорошему удивлению» – так Клаудии почти всерьёз рассказывала Бабушка, листовая старинный, с непонятными русскими буквами, «СОННИК»...

СЕЙЧАС...

[64]

Ди П 17 / 2013

«Вот, Бетси, взгляни – это ОН перед самым полётом в тот роковой день... Какой красавец, правда! Бетси дипломатично промурлыкала что-то уважительно-сочувственное...»

А это он помоложе, в Москве, в авиаклубе...

А кто ещё выглядывает из-под фотокарточки? Надо же – ни разу не видела... Какая девочка симпатичная... Он ни разу её не показывал... – «Пете от Надежды, с любовью...»

Это, выходит, его девушка? Вот какой скрытный... Даже мне ни разу не намекнул!!! А была ли она на похоронах? Я не помню!

Может, они расстались... Почему? И когда? Я же многих из его девочек знала, а об этой Петька не сказал мне ни разу...»

Клаудия даже чуток приобиделась, но быстро сама себя одёрнула...

И услышала, наконец, чуть не охрипший от долгого невнимания телефонный звонок... Это был её загадочный Сева:

– Кланечка! Извини меня, но я должен был тебя разбудить, если ты, в самом деле, задремала... Я стою у твоего дома... Свет во всех окнах... Мне даже почудилось, что кто-то, похожий на твою тень, ходит, а трубку не берёт! Я уж подумал о плохом, хотя самое плохое уже у нас с тобой произошло... Слава Богу, что прозвонился... А дозвониться надо было сверхобязательно! У меня для тебя фантастически важная и ослепительная новость! Наверное, ты уже не первый год, ходишь... Прислонись к чему-нибудь покрепче – БАБУШКОЙ... Открывай скорей дверь, я поднимусь бегом – и сообщу, что знаю и на что очень надеюсь!!!

Прожумел лифт, и в открытую Клаудией дверь влетел – иначе и не скажешь – её давнишний друг и почти не тайный обожатель – Севастьян Абрикосов – а в быту просто Севочка!

Журналист... Известный любителям-читателям политических и светских новостей... Неутомимый говорун... Давний друг... Был свидетелем многих перипетий её семьи... И, как она догадывалась, давно полюбивал её, не забывая своих – в целом успешных – семейных дел, свою драгоценную Глафиру и двух девчушек-близняшек, которым теперь уже перевалило за двадцать:

– Кланька! Я давно знал об их «настоящих» отношениях, но помалкивал только из мужчинской солидарности, прости дурака твоего... Видел я их вдвоём – первый и последний раз в Ялте, за пару месяцев до проклятых соревнований... И мне показалось, хотя я сам себе не разрешил поверить – она была... на 2-ом – 3-ем месяце... Уж слишком он её оберегал, да и она как-то «выступала словно пава», хотя девочка

абсолютно не манерная... Будто себя несла, как хрустальную тонкостенную вазу... Ну, и всякая такая журналистика!»...

Клаудия, тяжело рухнувшая в кресло, молчала, закрыв глаза...

– Её зовут Надежда?

– Ну да! А ты откуда знаешь?

– Полчаса, как случайно нашла её фотографию. Но без даты и никаких деталей...

– Слушай, Кланечка! Это пока только первый клевок! – Сева был, ко всему прочему полупрофессиональный рыбак. – Надо ещё удочкой и поплавком поработать... Но я точно видел, уже года три тому назад, твою Надежду с коляской! А под Новый год, этот Новый год, я встретил Надежду с дочкой и... Она представила его как мужа...

Симпатичный парень... Тактичный... Чем-то напоминает нашего Петра... А дочку зовут, ты успокойся, Клавой. Я так думаю, в честь Бабки, тебя значит! Они куда-то явно торопились и, извинившись, исчезли в толкучке... Я успел их шёлкнуть – вот посмотри – всё семейство... Теперь буду искать... Виделись мы где-то в районе Марьиной Рощи... Там ещё остались «хрущёбы-пятиэтажки»... Недалеко от одного знакомого мне подъезда ... Потом я много раз проезжал по тем местам – нет и нет... Как к карасям нырнули... Стал расспрашивать бабулек – как настоящий милицейский опер... Бабки мне натрепали много интересного, но надо всё перепроверять... Но Надежда – точно НАША НАДЕЖДА, а ребятёнок – девчушка... Бабки даже помнят – беленькая и симпатичная... Слушай, я только сейчас вспомнил одну странную и печальную фразу, брошенную Петром. Он (в смысле Петя!) боится разочаровать мать (тебя, значит!), так как Надежда из семьи, как бы это помягче сказать (это точно его слова), не твоего круга!... Такая вот советская дисгармония... Уголовница, что ли? Или генеральская дочь? Но ни адреса, ни фамилии... Найди того, не знаю кого! Ищи там, не знаю где сам! – Продолжает Сева и подытоживает. – Марьиная Роща – это раз. Пятиэтажка – это два. Их там почти все снесли... Имя девочки – три! Возраст – четыре! Да при таком обилии информации уже и сватать можно! Или на ответственную работу назначать... Ты машину ещё не разучилась водить? Тогда за руль и вперёд. И не стоять! Запасись конфетками попроще, наливочкой со стаканчиками, если пофартит... Мелкую наличность бумажками (а если будет по делу, то и «капустки кочанчик») ... Три, четыре ходки – и мы все базары разведём... И Бетси возьми – она как психологический контактёр... Втроём нам уже нельзя – бабки дворовые считают себя придворными дамами и могут, из осторожности, или для вымогательства – все теперь научились – «оббло сшибать». Могут и соврать похитрее... А

с бабки-одиночки, да ещё кошатницы – много не возьмёшь, но помочь уж только какая паскуда откажет... Кстати – одна из моих прежних пассий так себе и квартиру под съём нашла.... Да ещё и напротив станции метро! Да и со свободной автостоянкой... Учись... И не ропщи! Как в Писании: «Ищите, да обрящете!»

Впервые Клаудия почувствовала отступление душевной тяжести... Боль чуть-чуть отпустила, и в ней зашевелилась прежняя, наэлектризованная, готовая всё опрокинуть и преодолеть женщина – валькирия...

В бюро был определён двухнедельный график смен ответственных по каждому этапу, назначен САМЫЙ ответственный ЗА ВСЁ! И приказано было её не беспокоить ни по какому поводу, кроме вооружённого нападения инопланетян!..

Начался Великий Поиск человеческой иголки в большом стого городского сена...

Вначале она одна, без машины, решила посетить «поле поиска», надеясь на примитивный случай, везение, фарт, в конце концов... Удача не раз ходила с Клаудией по параллельной дороге... А вдруг! И поменьше рефлексий! Ошибся Сева – не ошибся... Свой шанс она должна отработать, чего бы это ей не стоило. А против сердечной аритмии всегда есть нужные таблетки...

Пока было всё пусто... Воевать пешком – жизни не хватит! «Пролетарий – на железного коня!» – был такой лозунг во времена молодости Бабушки...

В один из дней начала внезапно наступившей осени Клаудия-Патрисия, оставив машину в переулке, выходящем на Садовое кольцо, недалеко от Смоленской площади, решила спуститься к Арбату. Через Серебряный переулок она дошла по Сивцеву Вражку до дома, где жила её давняя подруга, известная не только в прошлом, но и по сию пору, актриса театра Ермоловой Лидочка Шубина. Лидочке было под (если не за) восемьдесят, но она до сих пор выступает со сцены, неизменно «срывает» вполне заслуженные аплодисменты, а порою и букеты цветов... Безграничного обаяния, Лидия Ивановна Шубина жила именно здесь, почти в конце Сивцева Вражка.

«Попозже я расскажу о ней, а пока что я спешу на Гоголевский бульвар к метро «Кропоткинская». Севочка рассказывал, что прежде, при Сталине, это была станция «Дворец Советов». Ну вздумалось почти бессмертному вождю установить себе нечто гигантское и сверхвысокое на берегу Москва-реки... Чтобы заслонить самый Кремль и громадностью и помпезностью... А на самом вершине этого, подобного вытянутой пирамиде колосса, установить фигуру Вождя...

В проект был «заложен» Ленин. Но кто знает – не потребовал бы

ли горячо любивший народ страны почти победившего социализма поставить, на зависть и заодно страх, статую самого И.В. Сталина!? Однако природа возмутилась и не захотела нести этот почётный, хотя и бесполезный груз... Мягкий прибрежный грунт, чуть не чавкая, поглощал сотни кубов бетона и не становился монолитным основанием для будущего монстра-небоскрёба... А тут и помер – «почил в бозе» Вождь всех народов и их гонитель... И создали на раскопанном месте подарок москвичам: бассейн «Москва». Прямо насупротив метро, но уже не Дворец Советов, а станция «Кропоткинская»... То ли в честь князя-анархиста, то ли академика Кропоткина... Скорее второе, так как недалеко, по Кропоткинской улице стоит «Дом Учёных». Всё теперь приятно вспомнить и... ЗАБЫТЬ! Так как пришли новые лидеры Москвы и создали на том же месте, где был бассейн – гигантский даже по современным вкусам и возможностям, православный «Храм Христа-Спасителя»... Завершился кульбит Матушки Истории, и снесённый более полувека назад всенародный храм был ВОССТАНОВЛЕН! Московский градоначальник, олигарх-грабитель, несомненно подкупил народную память и оправдал, в отличие от других новомодных олигархов. И останется в памяти страны – ВОЗРОЖДЕНИЕМ ХРАМА!

Но я что-то отвлеклась от своего маршрута... И неспроста. Знакомый голос Бабы Мани – истовой собирательницы народных пожертвований на возрождения православных храмов, притянул меня к себе...»

В своём неизменном чёрном одеянии, в соответствии с её послушанием, Баба Маня опять призывала и верующих, и сочувствующих положить в её церковную кружку «сколько пожелаете от щедрот своих!»! Заодно Баба Маня продавала (в летне-осеннее время) малюсенькие букетики... Именно такие букетики впервые купила Клаудия-Патрисия в далёкой Варшаве...

– Чтой-то давно тебя, девка, я не видала, – чуть ни с укоризной поприветствовала Клаудию Баба-Маня. – Опять брюки нацепила, греховодница!? – строго, но улыбочиво сказала она со своей привычной ворчнёй, но внимательно всмотревшись в лицо Клаудии, резко сменила интонацию. – Никак горе у тебя? И немалое... С лица совсем сошла... Поделись, поплачь – полегчает, глядишь!

«И правда, пока я, чуть не причитая, пересказывала ей свою беду, боль как бы притихла и спряталась, хоть на время, в какие-то ей одной известные уголки сознания...»

– Ты в Храм ходи почаще... И разговаривай со Святой иконой... И просить не забывай... Боженька и поможет!

– Ладно, Баба-Маня. Вот буду без машины и надену юбку. И тогда уж в храм свечки ставить.

– Да ладно уж... Таперя и в храм девки в штанах ходят, небось, привыкли святые угодники... Была бы Душа открыта Богу! Душа – её как тортик надо дарить, чтобы не крошилась и без трещинки.

«А теперь она сама должна вырвать у Судьбы право стать Бабушкой!»

Надо же... Баба Клаудия! Здорово звучит... Размечталась, тоже как красна девица о женихе заморском... Молись лучше горячее! Бог и смилостивится... Если сочтёт нужным... – Она и не заметила, как по её щекам лились слёзы.. Второй раз она просила Бога о помощи... Первый раз Он отказал... Значит – так тому и должно было быть. – Но сейчас-то, помоги, Господи! Одари меня внучкой!»

Через недели непрерывных, как по расписанию, ездов почти в никуда, расспросов неизвестно кого, мелькнул проблеск в тумане... У одного из многих неказистых подъездов пятиэтажек одна из сидевших там жилищек узнала на фото Надежду.

– Ой, так эта ж Насытки Туриновой из пятого подъезда дочка... Она... Она... Одна она в наших местах такая красавица... Только знаешь что, моя милая... Не свезло тебе сейчас... Не живёт девочка тут больше!– Клаудия чуть не разрыдалась от радости, что хоть следок какой обозначился, но быстро притормозила... – Замуж она вышла» – продолжала словоохотливая женщина...– С полгода назад... За хорошего паренька... Свадьбу, правда, зажали, да и понятно: безденежные они всегда при такой мамочке... Вот и уехали тишком можно сказать... Дочка-то у ней от другого была, да что-то не сложилось, видать у молодых... Бывает всяко. Может, и виновных-то и нет, а так, по Судьбе... Девка-то Надежда уж во всём правильная, не в мать, прости Господи...

Клаудия, чуть от нервов не осипнув, осторожно спросила:

– А где мать её?

– Да мать-то найти несложно, только проку от разговоров с нею можно и не поиметь. Запойная она, дурында непутёвая! Хуже мужика... Вот мой-то, хоть и попивает, но мозгов не теряет... Не буён, хоть и не силён.. Понимашь, о чём я говорю... По-бабски... – Она явно собрала всю свою автобиографию изложить...

Клаудия достала пару бумажек. Говорившая на полсекунды замерла, но потом посерьёзнула:

– Так, милая, я смотрю у тебя к нашей Надюхе какой-то серьёзный интерес имеется... – Она опять чуток скосилась на купюры... Поняв, что требуется, она без особых расспросов пообещала всё узнать и тут же сообщить... Хоть завтра... Хоть сегодня, если очень срочно нужно, но чуток попозже, так как Надюшина мать совсем не в форме – лыка не вяжет, и надо разогревать, а это требует и хлопот и вложений, как

теперь говорят... Женщина даже раскраснелась от предвкушения дармового и немалого приработка:

– Приходи через часок, в случае чего – потерпи и посиди тихонечко... Если кто – что, скажи: «Жду Дарью Петровну из третьего подъезда... По личному делу»...

Через час Клаудия уже была как на привязи... Из пятого подъезда, чуть покачиваясь, пришла информаторша, в руках белеет листочек... Плюхнувшись на скамейку рядышком, сразу же сообщила:

– Поняла, как трудно серьёзное дело делается?! И нервы и здоровье расшатывается... Сколько его ещё восстанавливать придётся... Да шучу я... Все задания партии и правительства выполнены, только в смету не совсем уложилась... Читай, здесь всё обозначено... Со слов матери Надежды...

Клаудия молча прочла: «Город Ачинск Красноярского края, улица 1-я Глинозёмная, общежитие Ачинского глинозёмного комбината, 435... Кривошеев Сергей».

– Помню я его... Добрый, ласково так малышку на руках держал, как свою. – Она заглянула в переданный Клаудией пакет, тихонько ахнула, но не отказалась:

– Слушай, моя хорошая... Попробуй ты сама состыкуйся с Надеждиной мамкой... Мырра она, конечно... Но ты, я вижу, умеешь подходы находить правильные, попробуй и с нею... Я что – я человек сбоку припёка, хоть и пользу какую-никакую смогла достать... Если же у тебя какой-то родственный интерес – говори ты мне об этом, не говори, но чуйкой я своей бабьей дотягиваюсь – родня она тебе сводится – эта Настька Туринова... Попробуй её убаюкать – глядишь и вкуснее пироги пойдут... Дело житейское, а мы, русские люди, завсегда отходчивые... Будь здорова и свечку за нас, грешных, не забывай ставить!

На том и разошлись...

Сева предложил поехать без предупреждения, хотя по многим каналам можно было и справки навести «по месту жительства» и «наличие присутствия» уточнить надёжно, но предпочли рискнуть и не создавать вредной шумихи... Хотя «процесс уже пошёл» и соседка Дарья Петровна могла (даже независимо от мамыши Насти) запустить слухок прямо в Ачинск...

В душе Клаудии заскакала чехарда всяких прогностических и явно никчёмных идей... А вдруг девочку вообще от неё спрячут или сами, всей семьёй куда-нибудь уедут? Залягут в какой-нибудь дыре? А зачем?

А затем! Кто их молодых поймёт?!

А вдруг её внучка именно её-то и не захочет признать?

Но на завтра они с Севой уже летели Красноярским утренним

рейсом с тем чтобы в Ачинск попасть либо электричкой (всего-то около двухсот «км»), либо, если повезёт – мотором...

Приземлились незаметно как... Стюардесса предупредила, что в городе – минус тридцать. Не слабо! Как бы обычная для зимней Сибири обстановка... Даже и повезло... Бывает и до минус сорока, лишь бы без ветра. Повезло и с такси: водитель – сорокалетний крепыш – сам из Ачинска, знает Сергея с детства и в семейной «общаге» сам бывал ...

Ещё не было восьми вечера (Красноярского), а они высаживались у нужного подъезда в Ачинске... Сева, как чувствовал – доложил в горсть водителю ещё за полчаса – час простоя... Мало ли что случится... Как в воду глядел из акваланга...

У Клаудии тряслись и руки, и губы и наверное все прочие поджилки... Сева с трудом возвёл её на заледенелое крыльцо... Дежурная сама пошла провожать до нужного номера... Почти в конце прохладного коридора...

Из-под двери просвечивал голубоватый свет...

– Наверное, все сидят у телека! – пробормотал Сева и постучал погромче... Секунду слышались шаги за дверью... Она открылась вовнутрь... В проёме стояла невысокая, чуть полноватая, молодая женщина...

– Ой, это опять Вы!? – как бы извиняясь, она посмотрела на Севу... Затем на Клавдию... – А Вы... – Она на секунду запнулась, словно вдыхая воздух. – Вы – Петина Мама?! Правда? Входите же скорее, а то холоду нагоняете, да и сами промёрзли...

От стоящего ближе к окну телевизора к гостям уже бежала маленькая белоголовая девчушка..

И Клавдия вдруг увидела в ней ... СВОЕГО пятилетнего Петю!

СОВСЕМ НЕДАВНО...

Клаудиа потеряла сознание и очнулась уже на диванчике... Маленькая, на вид трёх – трёх с половиной лет девчоночка, тормошила её, ласково поглаживая её голову и приговаривая:

– Бабушка! Ну что ты всё молчишь? Открой глазки... Ну, пожалуйста, посмотри на меня! Это же я – твоя собственная внучка! Зачем ты так испугалась меня! Я же давно тебя люблю! Меня тоже зовут Клавочка! Как и тебя... Я – маленькая Клава, а ты уже большая Клава! Вставай же, хватит лежать... Ты уже отдохнула наверно... Пойдём пить чай... С печеньем... Ты же любишь пить чай! А я буду пить молоко! Мама хо-

чет, чтобы я крепко спала ночью, а крепкий чай мешает крепко спать. Понимаешь? Пойдём к столу. Давай я тебе помогу. Я хочу около тебя посидеть за столом. Ты же моя теперь всё время будешь... А мне завтра рано вставать, в детский садик на детскую работу. Поэтому полдевятого я пойду спать, раньше всех вас, взрослых. Она тараторила, гладила руки Клаудии, и вот Клаудия очнулась окончательно...

Сон – этот святочный сон – никак не кончался, слава Богу... Прикусила язык, чтобы прогнать сон окончательно... Прогнала! И она потянулась за внучкой (неужели, в самом деле?) к столу... Кружку с молоком Кланечка пила старательно, как и будила свою бабушку только что...

Малышка уже спала, пока они сидели с Надеждой. Сидели и всё разговаривали... Всплакивали, и снова вспоминали. Пришёл со смены Надин муж – тот самый, которого Сева видел ещё в Москве. Как пришёл, так сразу стал собираться назавтра к шести утра в цех. Но именно Надин муж произнёс самые важные и добрые слова, недаром он явно обладал и быстрым умом, и доброй контактностью:

– Знаешь, Надь! Мне кажется, что наша Клавдия Николаевна – достойная бабушка нашей Клавуньке! Столько горя пережила за эти четыре года... Пусть, пока у нас не наладилась здесь, или в другом месте, нормальная, достаточно стабильная жизнь, Клавочка поживёт со своей бабушкой! Мы это уже обсуждали давно и не раз... Я уверен, что это будет и на радость, и на здоровье обеих. А через три месяца, на Пасху, мы ждём, как нам показали на мониторе, парнишку, и уважаемая Клаудия-Патриция будет двойной бабушкой нашей семьи!

Он произнёс это тихо, без пафоса, очень по-семейному... Обе женщины опять прослезились. На этот раз от иного чувства, которое так близко стояло около Радости... Только после этих речей Клаудия заметила приятную для каждой женщины округлость фигуры Надежды:

– Надюша! Милая... Ты же неспроста назвала дочурку моим именем! И Петя нашему Севе не раз много и хорошо рассказывал о тебе и ваших семейных делах...

– И я его любила – прошептала Надежда... Назвав нашу девочку Вашим, Клавдия Николаевна, именем, я надеялась – он сможет почувствовать, что мы обе его очень любим и будем всегда любить – прошептала сквозь слёзы Надежда..

– Ну, полно, моя девочка! Успокойся! Теперь мы с Севой будем любить вас всех!

К Клаудии почти возвратилось счастье жизни и умиротворение...

– Наденька! Доченька моя! Позволь мне подарить тебе кое-что! Я берегла это более двадцати лет. Почти сразу после рождения Пети! Посмотри-ка: Это ещё от моего Папы осталось! – И она стала развя-

зывать сафьяновый мешочек с сапфировым гарнитуром. Надежда с изумлением, смешанным с лёгким страхом, как зачарованная, молча смотрела на появление на её ладонях драгоценностей... Вдруг она очнулась от наваждения:

– Да что Вы, дорогая Клавдия Николаевна! Зачем это мне здесь... Их и надеть-то совестно...

– Наденешь, наденешь! У тебя всё лучшее впереди!

На следующее утро Сева, Клаудия-Патриция и Надежда побывали в нотариальной конторе, где и оформили доверенность на опеку и воспитание маленькой Клавы. Впереди была Москва...

ЧУТЬ ЛИ НЕ ВЧЕРА...

Лететь предстояло долго... Клавдюшка быстро прикорнула в кресле и сопела, как и положено малышке, почти до самого Домодедово. Но Клаудия-Патриция не могла заснуть... Внезапно взлетевшая гнусная, идиотская мыслишка не давала ни покоя, ни сна, ни возможности порадоваться достигнутому счастью... Эта мыслишка выскочила из ящика телевизора в ожидании времени посадки в самолёт... Какой-то медицинский обозреватель с упоением вещал о чудесах генетики – науки и практики... Мол в криминалистике давно используются генетические анализы для распознавания преступников. (Клаудия невольно спроецировала это на свои детские разведопыты). Но потом лектор-генетик стал рассказывать о применении генного анализа при доказательстве родственных связей между разными людьми... Для доказательств или (тут Клаудия чуть вздрогнула) опровержения родства. Вот эту-то идею она старалась забыть, вопреки её (то есть ИДЕИ) настырности и нежеланию уйти из головы:

«А вдруг моя внучка и не моя на самом деле? – сформулировала она, наконец, свою вариацию этой идеи. И тут же стала отгонять её, как злобного шершня, прилетевшего неизвестно с какой навозной кучи.... – Да я же сама узнала в ней моего сыночка! Чего мне ещё надо? – Но дьявольски гнусная мысль не хотела просто так, без идеологического боя, исчезать. – Да даже, если так, какая мне разница! Что мне с её помощью наследство делить какое-то? Вон как ребёнок возрадовался! А зря, что ли, я её искала столько? Кто-то мне всё время помогал! Это очевидно... И Сева вдруг заговорил, и дворовая соседка Дарья Петровна всё моментально смогла обустроить... И вторая (или первая?) бабка помогла, как только опохмелилась, с новым адресом Надежды. И всему этому людскому и Божьему сочувствию положить

конец? А что подумает сама малышка? Она-то спроста что ли признала так меня! Нет! Нет! И много раз НЕТ! Никаких генных анализов... Это дар Судьбы, ДАР БОЖИЙ – и грех его не принять.

И Клаудия моментально уснула. Тихо и спокойно...

[73]

НЕМНОГО СПУСТЯ...

В один из субботних вечеров перед подъездом «хрущёбного» дома, в 43-ей квартире которого хозяйничала Настасья Туринова, остановились три машины. Самая нарядная была увенчана ДВУМЯ ЗОЛОТЫМИ КОЛЬЦАМИ!

«Это мы с СЕВОЙ, наконец-то, решили узаконить наши интрижки! Всем известные, конечно, особенно моим юным подчинённым. – Кутить порешили СЕПАРАТНО, с разными – по-разному. И сейчас подошла очередь «Бабы Насти». Она, по «агентурным» данным, только что вышла из своего регулярного, как ни печально, ЗАБЫТЬЯ... – Я заранее подготовила (ДЛЯ НАС с СЕВОЙ) подарок ОТ НЕЁ! И свои подношения ЕЙ тоже принесли, тем более, всегда ею ожидаемые: «Выпить и Закусить» – Всё прошло, как произнесла на прощанье Настасья «ЧИНЧИНАРЁМ!» Распрощались мы и с Дарьей -Наводчицей (это она сама себя так обозначила)».

А ещё через несколько дней все, согласно «БРАЧНОМУ СОГЛАШЕНИЮ» сплотились в единую семью во главе с пока ещё маленькой Клавочкой!

Так и Сева стал одномоментно и Дедушкой (маленькой Клавы), и Мужем (бабушки Клаудии-Патриции)...

Где-то на САМОМ-САМОМ верху МИРОЗДАНИЯ прошелестели нужные страницы...

И началась новая жизнь!!!

Татьяна Устинская

ЯВЛЕНИЕ СТАРОСТИ

Мечты закончатся когда-то
воспоминаньями о том,
что где-то был уютный дом,
в котором отмечались даты.
И всё нам было нипочём, –
в году, событиями богатом.

А дальше – только тишина,
где голоса друзей неслышны.
Зовётся старостью она,
распорядился так Всевышний.

Прости меня, моя мечта!
я не смогла, я не сумела.
Всё поглотила суета –
удача выбирает смелых.

Не справилась, но не сдалась –
пока живу, ещё надеюсь,
что вновь моя сыграет масть,
и возвратит мою затею.

А старости тяжёлый груз,
несу, пока не надорвусь.

НОЧНОЙ ЛАБИРИНТ

Что желаешь в час вечерний,
ведь твоя душа – кочевник,
и твоя судьба – плачевна,
трудно вырваться из пут.

Перепутаны дороги –
безнадёжно бить тревогу.
Преподносятся уроки –
жить спокойно не дают.

Что творится – непонятно:
созерцать на солнце пятна?
Мусор разгрести лопатой?
Бросить всё, сменив маршрут?

Как бороться в одиночку?
Надо в деле ставить точку.
Путь найти, что покороче.
А не то – с ума сведут...

Ночь манит в свои объятия,
притупилось воспринятье.
Заворачивай к кровати –
никому не нужен шут.

НОЯБРЬСКОЕ НАСТРОЕНИЕ (песня)

Осенью хочется ярких цветов –
жёлтых, оранжевых, красных.
Крепких напитков и ласковых слов –
от пессимизма лекарства.

Может сегодня пойти на балет? –
Радует душу искусство.
Люстры горят, отражаясь в стекле,
жаль, что в кармане «не густо».

День в ноябре так недолог и сер,
дождь барабанит по крыше.
Ну почему ты сказать не сумел
То, что хотелось услышать?

ЖЕНСКИЕ ГРЁЗЫ

Я пугаюсь звонков телефонных.
Я за почтой спускаться боюсь.
В ритме жизни размеренно-сонном,
это всё – дополнительный груз.

Много было крутых поворотов,
недомолвок, проблем и обид.
Может быть, обнаружится кто-то,
от напастей меня защитит.

На него возлагаю надежду,
чтоб помог, чтоб подставил плечо.
Рыцарь мой, долгожданный и нежный,
все преграды разрубит мечом.

Но мой друг отвечает с укором,
недовольно свой взор приподняв:
«Если хочешь надёжной опоры,
обопрись, дорогая, на шкаф».

ЗАЧЕМ ПИСАТЬ СТИХИ...

Зачем писать стихи?
Бессмысленное это
занятье – от тоски
придумывать сюжеты.

Растягивать печаль
и ею любоваться.
О верности кричать,
с судьбою препираться.

Нет радости в стихах,
а грустные мотивы
вселяют в сердце страх
эмоций негативных.

Не стоит мне писать
о чувствах, о природе.
Лишь время зря терять –
восторг уже не в моде.

Зачем писать стихи,
В словах искать созвучья?
Поэты – чудаки,
по жизни невезучи.

Феликс Фельдман

* * *

Дождь отшумел, вздохнули нивы,
очнулись росные луга,
и мягкий ветерок учтиво
взъерошил пышные стога.

Мы про любовь читали в книжках
и жили рядом много лет.
Я знал тебя лишь понаслышке,
а ты влюбилась в мой портрет.

Ты рассказала мне про маму,
я – про погибшего отца.
Ты вовсе не спешила замуж,
но мы болтали без конца.

А позже степь, с беспечным нравом
для нас, под птичью свиристель
ещё неведомым забавам
стелила мягкую постель.

Когда ж к утру под звездным небом
устало шурилась луна,
мы поклялись вином и хлебом
уже как муж и как жена.

* * *

Если целовать себя позволишь,
я начну, пожалуй, с тонких пальцев,
что по грифу мчатся, ну, всего лишь...
в темпе молодых протуберанцев.

Обласкаю нежно твои кисти,
что рождают чудное вибрато,
а за звук получишь, если чистый,
томно-поцелуйное легато.

Доберусь от локтя до плеча я,
что годами держат прочно скрипку,
радостно-лукаво отмечая,
нежно-благодарную улыбку.

Ну, а дальше? Дальше не пойду я.
Может быть ты даже не поверишь.
Ограничусь только поцелуем,
...оцени хотя б мои потери.

* * *

Поговорим о яблонях, а также о цветах,
что как и всё на свете увядают,
но, увядая, зарождают плод,
а с ним весну. С весной новый год
и то, что никогда не пропадает,
как песнь души на сахарных устах.

Давай не будем лучше о печальном,
когда могучий и тончайший стих
с больной души снимает камень
и позволяет творчески расти.
Когда не о прощальном, а венчальном.
Когда в душе не лёд, а пламень.

* * *

Ах, милая, ты притомилась малость.
Давай я помогу, присядь сюда.

Вот обувь мягкая, сними усталость
и ванну полнит теплая вода.
Ты отдохни. Я приготовлю ужин
и в мягкую снесу тебя постель.
Поговорим ладком. Нам хмель не нужен,
не алкогольный обручил нас хмель.
Юпитеры спящие потушим,
зажжем две параллельные свечи.
Смотри, их пламень словно наши души,
и в небесах хранятся их ключи.
Такие свечи не задует ветер,
земной отмычки к ним не подобрать.
Наверно, мы еще на этом свете
стихи напишем в общую тетрадь.
Сейчас усни. Пусть догорают свечи,
пройдуся я палочкой волшебной по челу
и приведу во сне к той давней встрече,
где повенчал нас первый поцелуй.

* * *

Я тебя давно не вспоминаю,
и другая у меня в постели.
Но застряла где-то там незлая
мысль, бродя по наждаку пастелью.

На баске виолончельно стонет
Скрипка, как замена прошлой жизни.
И смычок дробит стократно сто «нет»
словно по чему-то правит тризну.

Разногласий неподвластных стая.
Эросом забытая Психея.
Очень уж задача не простая,
если песнь не спета Гименя.

Кто, когда и как двоих рассудит?
Как найти ответ у вековечья?
Кто перенесет и перебудет
тяжесть обоюдного увечья?

Я тебя совсем не вспоминаю.
Я не в прошлое,
я вглубь души взираю.

ПАРИК

Клянусь судьбу, лежу, почесывая темя,
ворчу себе под нос: «досрочно постарел!»
и вынужден нести безжалостное бремя:
ни сесть, ни встать. В спине – предательский прострел.

Какая скукота, наверно, в такт погоде,
и раздражает слух любой внезапный крик.
А тут еще жена в угоду женской моде
решила нацепить на голову парик.

Лежу, курю, хандрю, постель со злости скомкав,
вдруг отворилась дверь и в облаке духов
стоит передо мной крутая незнакомка –
взглянул и обалдел. И сразу стал здоров.

И что за чудеса, со лба спадает локон
и пара завитков до милого плеча,
но будто раскрутили шелкопряда кокон
и выпорхнула новь, умильно стрекоча.

Чертовски хороша, ну, как тут удержаться,
когда в натуре есть сверхострое меню.
Нет, больше не могу. Прощусь с моралью, братцы,
И, кажется, жене с женою изменю.

СТАРЫЙ ВОРОН

*«А всем зверям земным, и всем птицам небесным,
и всякому пресмыкающемуся на земле, в котором
душа земная, дал Я всю зелень травную в пищу.*

И стало так» (Быт. 1,31).

На полигоне ночном, где пространство притихло в печали,
Старый измученный ворон в раздумьи сидел, а под ним –
Стылые воды ручья, равнодушны как время, журчали.
И догорали на месте гнездовых замшелые пни.

Падальщик, трупник в костюме кладбищенски мрачном и старом,
Проклятый напрочь людьми, как посланник несчастий и бед,
Разве что верой и правдой он року служил санитаром.
Где репетиция смерти, там ворона сытный обед.

Что же теперь? У пустого родного гнезда, на присаде,
Тысячи мыслей картечью усталое сердце дробят.
Пусто в душе. Нет в ней места надежде, протесту, досаде,
Собственным гнетом разбит и тупым безразличьем распят.

Полуслепой, одинокий, забытый родней и друзьями,
Голос в нём только живой да картавый отчаянный крик
Из катакомб его плоти круглыми путями-стезями
С болью врывается в горло гортанно, чеканен и дик.

Скорбь да уныние и телетайпной строкой, на исходе:
«В чём виноват? Ведь себя мне во мне недоступно менять.
Как примириться с тобою, о, Боже? Я верен природе.
Равный со всеми в страдании. Где же твоя благодать?»

Крик в пустоту, в никуда и благого ответа не надо;
Как партитура ансамбля, где каждая партия – стон.
Прожита жизнь. Он не лжет. И не надо от Бога награды.
Реквием эхом судьбы откликается голосу в тон.

Олег Никогосян

* * *

17/XI

По кучкам
собранных граблями листьев
шелестят дожди
сквозь оголённые каштаны
нашего двора.

АТТРИБУТИКА

Смеркалось.
В полусонной дрёме
мерцали бледно атрибуты:
часы, мобильник и бумажник...
Ночник настойчиво светил,
маячили на стенах тени.
От статуэток, книг, картин
бездумным хламом висли полки.
В гостиной техника – навалом.
На кухне утварь громоздилась,
и всё пространство полонилось,
обузой мелочных поблаж.

Вокруг инертно протекала
пародией сонливой жизнь.

А им всего казалось мало ...

ЧЕРЁД

«...подходит мой черёд»
(Молитва)

Уж лучше б ты не возникало –
сознание памяти уставшей,
как скрытый оборот медали
с заботами о том, что было.
Бесспорно, мы не выбираем
оценок судьбоносных судей,
и тратить времени не будем
на данность заскорузлых буден,
когда впритык подходим к краю
под гнётом жизненных реалий.

ДЕЛАНЬЕ ВИДЕНИЯ

Вставляя не к месту междометья,
чтоб делать виденье,
о якобы тобой поддержанной беседе.

Знаю: утомительно делать виденье,
что слушаешь. Киваешь...
(лень даже думать, чёрт возьми!
когда же он-она-оно заткнётся...)
Скосишь глаза в окно,
где виден лишь
замызганный ухаб асфальта
и скукой дребезжащий дождь.
И машинально подвигать к кофейным чашкам
гостеприимно вазочки с печеньем,
стараясь не забыть при этом,
что надо б не забыть сегодня ж
купить и молока и хлеба.
Возможно, и немного сыру.
Проверить почту за два дня.

Всё это мне даёт не слушать
обрывки редких фраз,
с нелепицею пауз.

Сдерживаться, чтоб
в очередной раз не оглянуться на часы.

Иль к лёгкой кавалерии прибегнуть,
призвав на помощь мне «планшетку»,
в которой много фотографий внуков,
пейзажей свежих путешествий.
А на худой конец – спаситель-телеящик
с наборами немислимых феерий ...

Но «делай виденье» уж на исходе,
оно, как тот мерцающий экран
с концовкой титров.

Я понимаю, что пора и закрутиться
с моим очередным
визитом ежегодным
по расслабленью мышц.
Прошу вас, не скучайте
к концу его.

И уходя, не позабыть про зонтик –
на улице дождит

ЭПИТЕТ НОЯБРЯ

Ноябрь неуютен был.
После красно-жёлтого великолепия
сентябрьско-октябрьской череды декад,
в грустном преддверии
затаённой мёрзлости декабря –
финала года.
И началом нового, –
с зимой, холодно-горькой,
тёмной и, возможно,
беспросветной.
Неуютной и затхлоЙ –
созвучной поре
этого времени жизни.

GUARDA E PASSA*

Жизнь поглощает стариков –
смешных, ворчливых, злобных,
безобидных, никчёмных,
быть может, ненужных.
Как много развелось их,
переваливших,
привычную всем норму
долголетия.

А были ли они
нужны кому-то,
кроме самим себе?
В чём польза их?
Иль бесполезность?
Хоть это ведь
отнюдь не догма.

* «Взгляни – и мимо» (итал.)
Данте «Божественная комедия».

Валерий Матэцкий**ФАРВАТЕР ГРЕБЛИ**

Где начинается Небо?
Есть ли мечта у Моря?
Спит ли в закате Нега?
Сколько есть гор у Горя?

Есть ли предел Природе?
Помнит ли чаша Вкусы?
Сдюжит ли воля Плоти
В рёбрах души Эльбруса?

Хищно цветут Вопросы –
Пчёлы-Ответы дремлют.
Мозг расплетает косы
В вечный Фарватер Гребли.

МИШЕНИ

Мы все
друг-другу
не навек даны:
На краткий миг!
На «горький» полустанок!
На вздох один!
Другой,
как бок Луны –
Невидим,
ожидает в прозе гранок.

Что
вздых другой готовит
исподволь,
Нам не дано сегодня догадаться:
Таинственна людская в мире роль,
И жизни смысл:
Непостоянства Братство.

Наш млечный путь
бесчисленных судеб
Свергается в коллапсовые дыры...
Спасенья нет!
Есть только петли лет:
Мишенями Космического Тира.

РУКОЙ СОКРАТА

Hello, Звезда! Посмертный твой привет
Ловлю в визёр своих зрачков привычно,
А ты вот, мой неповторимый «свет»,
Уж никогда не заключишь в кавычки.

Ты умерла за много тысяч лет
До моего кратчайшего рожденья,
А я всё «пью» твой неизбывный след
До самого, до пере-вопло-щенья.

Рождённый в мире умерших светил,
Могу ль стать вечным в отражённом свете
Погибших душ, отбушевавших сил,
Застрявших у Богов вселенской сёти?

И чтоб когда-то сердце осветить
Грядущему далёкому собрату,
Ужель «сегодня» должно жизни нить,
В себе самом, прервать рукой Сократа?

НЕМНОГО АБСУРДА
В ЛОЖКЕ С СУПОМ

«Немного солнца в холодной воде»

Франсуаза Саган

[89]

Почему так:

УПАЛ – разбился – умер?

Почему не так:

ВЗЛЕТЕЛ – разбился – умер?

Значит:

ПАДЕНИЕ, ЭТО СМЕРТЬ!

А взлёт?

Логично предположить:

ВЗЛЁТ – ЭТО ЖИЗНЬ!

Получается:

хочешь жить – летай!

Или:

пока летаешь – живёшь!

Начинаешь падать:

жди смерти.

Но как же быть с теми,

кто рождён только ползать

и не способен летать,

следовательно – и не способен падать?

Значит ли это, что ползающие

живут вечно,

а пресмыкание – путь в бессмертие?

Вопрос к ползающим:

«Вы почему пресмыкаетесь?

Надеетесь стать бессмертными?»

Вопрос к бессмертным:

«Как долго вам пришлось пресмыкаться,

чтобы достигнуть бессмертия?»

BABYLON

Берлин!
Интэрнэшнл!
Музик!
Электрички!
Банановый крик!
Трак
искрящейся
спички.

«Чиппен-дейлзы»
трико-
небо-тажных
оскрёбов.
Трассы,
скорость и то,
что гнездится
под нёбом!

Неба вал
по-косой!
И лазурною
крышкой
Бьёт по темени
слой
водно-душного
лишка!

Ливень спутал
слова,
Сам хлопочет
с собою.
И берлинит
глава
дождевому
гобою!

Трак – (анг. track) след, дорожка.
Чиппен-дейлзы – прославленное шоу
мужского стриптиза из Лас Вегаса.

УШАМИ ВОСХИЩЕНИЯ ДНЯ

Я восхищаюсь
«слабостью» твоей
её Величеством
сияющих очей
сиянием брызжущих
и ищущих страстей

осями блюдца голубых
в торец поставленных
в парадный горизонт
фасада палисада лиц
где анфиладой улица
улыбок глубины
былинкой тянется
плюща хмеля вьюнка
пьянит и пятится
в себя сама собой
и бой
ведёт легко танцуя
и поцелуя талию любя
беседкою бесед
сидеть соседится
и снится снится
снится вся
такая сладкая
большая мягкая
как шоколада
ладная душа
уша-
ми восхищения дня
со дна
границ твоих узора.

Елена Ямова

СЧАСТЛИВАЯ БУТЫЛКА

Сказка

Дело было весной, здесь конечно следовало бы уточнить, весной всего лишь календарной, а не той ранней, бурной, цветущей, воспеваемой поэтами разных веков. В этом году весна была запоздалой, а лучше сказать, она ещё вообще не пришла. Холод не отступал, и природа не в силах была пробудиться от зимней спячки. Мартовский снег не таял, с неба летели белые апрельские бабочки снега, они облепляли серо-сизые дремлющие деревья, увешанные кое-где разноцветными пластмассовыми яйцами. Снеговиков уж больше не лепили, скорее перелепливали в снежных пасхальных зайцев со свекольными большими глазами и с рыжими морковинами. Подростки, слепив очередного зверька, вложили ему в лапы пустую коричневую бутылку.

«Да..., – подумала Бутылка, где я только не была, – она стала вспоминать свою очень долгую и непростую бутылочную жизнь, но не могла припомнить ни одного зайца, тем более снежного.

«Вот это влипла, скорее, вlepили меня в объятья зайцу, – размышляла Бутылка. – Надо же, – мечтательно рассуждала она, – в зоопарке была, море бороздила, в ателье у художников стояла, даже с Наполеоном успела познакомиться, правда, в холодильнике, и тот был – торт».

Но это не так уж важно, каждая жизнь приносила свои прелести. О плохом, конечно, Бутылке не хотелось вспоминать, но в жизни повидала и испытала она многое. Вдруг размышленья её были прерваны чьей-то теплой рукой:

– Опять несут меня на денежку обменивать. Ну что ж, новая жизнь, так новая, все равно, чего-то да стоит. Какие-нибудь приключения да выпадут на мою многообразную жизнь, – пробурчала она и покати-лась по приёмочному конвейеру куда-то в пустоту.

В то время, пока Бутылка была на заводе, щекотливые щётки мыли ей бока. Потом её чрево наполнилось вновь ячменным соком, и тугая железная корона плотно увенчала её голову. Пришла долгожданная и чарующая весна. И её бурный приход Бутылка наблюдала уже из стеклянного холодильника магазина: «Ну, возьмите же меня, кто-нибудь! Так хочется насладиться ароматом весны и ощутить её тепло. Не стоять же здесь всю весну, а там, глядишь, и лето пройдёт».

Вокруг мелькали люди, а Бутылка все ждала. Ждала день, ждала два. Потом перестала ждать. Но вдруг дверца холодильника открылась.

«Ой! Только не он! Ой, ёй-ёй – сейчас купит. Выпьет и забросит меня, в лучшем случае, в кусты, а потом лежи и дожидайся, а как хочется хоть немножко счастья». Что такое счастье Бутылка не знала. Может быть, это было тогда, когда с головы слетала тугая и сильно давящая жестяная крышка. Или это было тогда, когда её отмывали от грязи и потёртых этикеток после долгих странствий. Но сейчас об этом она не думала, а с лёгким бульканьем скользила к кассовому аппарату: «И во сколько же меня теперь оценят?» – с любопытством думала она.

Стоила она, как прежде, менялась лишь стоимость её содержимого, но это её не печалило.

На улице Бутылку обдало теплом, потом она почувствовала полное облегчение, ничто больше не давило и не обременяло тяжестью.

И вот она стояла теперь у опустевшей скамейки на мощённой камнем пешеходной дорожке маленького уютного городка. Легкий ветерок промчался мимо, и Бутылка издала мелодичный звук. Это было красиво. Но было ли это счастьем?

Мимо пробежали мальчишки, подталкивая большой мяч. Мяч шумно пронёсся рядом, Бутылка пошатнулась и очень испугалась, представив себя разбившейся вдребезги на мелкие, острые осколки.

«Может быть, это счастье, когда мяч пролетел мимо?», – подумала она.

В это время к скамейке подошла женщина с тяжёлой сумкой и цветком в руке. Она села на скамью, посидев немного, тяжело вздохнула, поставила распутившийся тюльпан в пустую бутылку и ушла.

– Пить, пить, – обессилено прошептал Тюльпан, низко склонив голову.

Бутылка стала жадно впитывать тепло, покрылась испариной, и живительная капля скатилась к ножке цветка.

– Спасибо, какое счастье, что я встретил тебя, – облегченно сказал Тюльпан, приподняв лепестки и выпрямив спину.

От этих слов Бутылка ощутила непонятное ей до сих пор чувство. Наверно, это и было истинное счастье: быть полезным и помочь кому-то в нужную минуту.

Проходили люди, они смотрели на бутылку с цветком у пустой скамейки и улыбались. Напротив, в кафе, сидел художник. Он достал карандаш и стал быстро что-то рисовать на салфетке. Но тут подбежала маленькая девочка, увидев стоящий в бутылке цветок, взяла его и счастливая побежала дальше.

Но Бутылке не было жалко расстаться с цветком, она была счастлива, как и все вокруг.

Птицы щебетали, светило солнце, из Голландского квартала доносилась музыка, там был праздник Тюльпанов...

Подъехавший велосипед бесшумно притормозил, и Бутылка оказалась в багажнике. «И, все-таки, моя жизнь чего-то стоит», – удовлетворенно подумала она.

Галина Фирсова

В ЛЕСУ

Люблю я в лесу осеннем
бродить, шелестя листвою,
с восторгом и упоением
любуюсь его красой.

Багрово и золотисто
убранство застывших осин.
И ель макушкой пушистой
уткнулась в небесную синь.

С грустным поклоном рябина
стыдливо роняет листы.
И нитью седой паутина
укрыла шалью кусты.

На старый пенёк присела
большая семья опят.
И солнца лучи несмело
по веткам сухим скользят.

В них, вспыхнув на миг, берёзы
свечами стоят над рекой.
И воском застыли слёзы
в каплях смолы густой.

Ствол обниму осторожно,
и мысленно в детство вернусь.
А шелковистая кожа
вызовет трепет и грусть.

Так бы бродить бесконечно
и слушать, как льётся с небес
песня о добром, и вечном,
которую дарит мне лес.

ОКЕАН

Огромный белый теплоход
утюжит синюю безбрежность.
Шипящих волн водоворот
бортом толкает он небрежно.

Бурлящий пенный хвост за ним
следы вторженья замечает.
И мягким шлейфом сизый дым
В дали дрожащей плавно тает.

Впиваюсь взглядом в океан,
солёный ветер мне по нраву.
Я – покоритель дальних стран,
открытый жаждущий и славы.

Упругий парус за спиной
трепещет, словно крылья птицы.
И с убегающей волной
хочу я воедино слиться.

И как далёкий предок мой,
я риски и шторма приемлю.
Чтоб, огибая шар земной,
однажды крикнуть:
« Вижу землю! »

ЛЮБОВЬ

Как важен для жизни несмелый шагок,
Он девственно чист – этот первый стежок.
Мы смотрим на мир так легко, безмятежно,
И любим по-детски восторженно, нежно,
Дождинку, снежинку, цветок, облака,
Соседскую кошку, смешного щенка.
Мы так любопытны, и всё интересно.
Это – пора «Босоногого детства».

«Бурная юность», как ветер весенний,
Кружит в потоке вопросов, сомнений.
Мы спорим, мечтаем и, планов полны,
Несёмся по жизни на гребне волны.
Робкое, первое чувство незримо
Вдруг захлестнёт, будто снега лавина,
И негой и страстью пылает душа.
Как сладко любить! И как жизнь хороша!

«Зрелость» приносит нам ясность сознания,
Дарим заботу и ценим вниманье.
Будни мелькают в тревогах, надежде,
Сердце любовь заполняет, как прежде.
Любим мы бережно, преданно, сильно,
Друга, родителей, дочку и сына.
Дарим им радость, и это прекрасно.
Любим, и значит, живём не напрасно!

Но вот, наступает «Пора урожая».
О, зрелая осень! О, мудрость седая!
С гордостью ласково смотрим на внуков,
Им дарим свой опыт и жизни науку.
Чувства с годами бывают острее,
Мы любим терпимее, мягче, нежнее.
А память в былое уносится птицей,
Где веет любовью от каждой страницы.

ГОДЫ

Год за годом мелькает,
не догнать, не вернуть.
И вдали где-то тает
мой заснеженный путь.

Я скольжу, спотыкаюсь,
не хочу отставать.
А душой понимаю:
не вернуть, не догнать.

Где же лёгкость бывала,
неуёмная прыть?
Я могу, я желаю
помогать и любить.

Но с судьбою не спорю,
есть у времени власть.
Мне усталость порою
всё труднее скрывать.

И друзей провожая,
я глотаю слезу.
А себе обещаю,
что дойду, доползу.

Что не буду я в тягость
ни друзьям, ни родным.
Я желаю дать радость
оптимизмом своим.

Так что, голову выше –
не стонать, не скулить.
Если ходим и дышим,
надо с пользою жить!

МЫ БУДЕМ СЧАСТЛИВЫ

Того, кто счастье день за днём
готов ловить любой ценой,
как чуткий зверь в лесу густом,
оно обходит стороной.

Весь мир нам дан, как тьма и свет.
И не ищи, и не проси –
в нём счастья нет, хоть сотни лет
за ним в погоне колеси.

А счастье теплится птенцом,
готовым крылья распрямить.
Не где-нибудь, – в тебе самом,
сумей лишь сердце отворить.

Когда свою положим плоть,
чтоб ею близких напитать –
поможем горе побороть
тому, кто сам не сможет встать.

И кровь прольём, коль час пробьёт,
и, обессилив, упадём...
Вот тут нас счастье и найдёт,
не помышляющих о нём.

И, жизнь окинув сквозь года,
оценим всё, что есть вокруг.
И в полной мере, лишь тогда,
мы будем счастливы, мой друг!

Игорь Коган

ШАРЛАТАН – 4

*«сам себя озевал,
сам себя окаркал,
сам себе пособлю...»*

Колдовской заговор.

Не зря говорят: «Если Господь наказать захочет – прежде всего, отнимет разум». Всё остальное само собой приложится. Как говорится: «Уж сколько раз твердили миру...». Ну, какого, спрашивается, рожна заладилась мне в прошлый раз со стариком тягаться? Говорил же хрыч старый: «Думайте, молодой человек, думайте, чтобы потом не ковыряться в последствиях»....

Последствия явились примерно через месяц. Каждое первое число я плачу своей крыше определённую мзду и каждое первое число надеюсь, что она не придёт – забудет. Не забыла.... Пришёл молодой, здоровенный – естественно, спортсмен. Видел его на рынке – парень с других торговых точек дань собирал. Посидел, покурил, забрал деньги, блок сигарет в придачу и молча пошёл к выходу.

– А мы сегодня в последний раз видимся, – выпалил я вдруг и сам на себя обалдело глаза выпучил, будто кто-то моим языком двигал против моей же воли.

Он полуобернулся, изобразил что-то вроде кривенькой ухмылки и спокойно так выдал:

– Сегодня, завтра, послезавтра, через год – мне без нужды и без разницы. Так и сказал: «Без нужды и без разницы». Сказал и пошёл своей дорогой.

«Сегодня, – подумал я вслед. – Сегодня. Через три часа одиннад-

цать минут. Точно в 17:35. Деньги по адресу донести не успеешь». И в следующее мгновение перепугался насмерть.

Да что ж такое творится! Докаркался! Знаний захотел...! Ну, зачем надо было старика доставать!? Зачем!? Получи теперь – кретин полоумный! По полной программе! И кто я нынче есть? Ведун, колдун, чаклун, экстрасенс, предсказатель, Вольф Мессинг? Мне что – вообще глаза выколоть, чтоб не видеть чужую подноготную? Вот счастье-то! Будто своих забот мало! «Не было у бабы хлопот...». Даже мой армейский старшина, большой дока по всяким закорючкам, и тот не найдётся, что сказать, а челюсть командирская отвиснет ниже всех его достоинств.

Всё! Немедленно звоню Шарлатану и учиняю допрос с пристрастием. Автоответчик чётко, размеренно, с издевательскими интонациями, произнёс: «Я под Москвой. В Грибаново-Хренково. Роман пишу. Фантастический. Просьба по пустякам не беспокоить».

– Ах, роман...! Ну, уж нет! Не только побеспокою! Приеду! Так приеду! Такое Хренково устрою в этом грёбаном Грибаново – мало не покажется! Нормального добропорядочного гражданина, можно сказать, обывателя, не спросясь, пророком делают! В суд на него подам! Хоть бы сообщил, чёрт трекаятый, своему матюкальнику по какой дороге ехать, – злился я, направляясь к трём вокзалам.

В центральных кассах меня оборжали:

– В Грибаново – пожалуйста. В Хренково тоже, – язвительно сообщили из окошка, – но чтоб одновременно в разные стороны...? Такое, гражданин хороший, только старик Хоттабыч и то по выходным сделать может.

– Что касается старика Хоттабыча, не знаю, – отбрил я кассиршу с мстительным наслаждением, – а мужу Вашему, Ивану Спиридоновичу, дочурку Елизавету вести завтра в зоопарк не советую. Если пойдёте, то клетки с её любимыми обезьянами обходите, пожалуйста, стороной. Не ровен час, ребёнок без указательного пальца остаться может. Как потом бедняжке на пианине играть?

Оставив несчастную тётку с навеки разинутым ртом и выпученными глазами, я величественно покинул неприятное здание привокзальных касс.

После такого хренкового облома возникло неустрашимое желание нанести злокачественный вред собственному организму, – крепко и неукоснительно напиться.... Напиться можно где угодно – но качественно.... В ближайшей округе есть только одно место – магазин «Крепар», что означает «Крепкие парни». Братки его для себя держат, и ничего палёного там не продаётся. Чтобы всякая рвань свой нос туда не совала, цены установили заоблачные.

«Хорошее поило для качественного питья – ещё не всё. Нужен комфорт. Всякие там публичные заведения в данном контексте не проходят. Комфорт нужен философский, дабы просветление носило, по крайней мере, затяжной характер». Именно так размышляли мои умственные способности, вытряхивая меня из «Крепара» и направляя напрямик от трёх вокзалов к вокзалу Белорусскому. А там, на электричке до станции Звенигород, а уж там, на автобусе в объятия «Русской Швейцарии». Ежели ещё точнее – в несказанно милое и памятное сердцу бродилище примитивного комфорта, бывший дом отдыха ЦК ВЛКСМ «Ёлочка».

«Девки, послушайте меня, если не хотите помереть от скуки, мужиков разбирайте сразу по приезде. Нас тут как собак нерезаных, а ЭТИХ на всех не хватит». – Так было процарапано на внутренней стороне дверцы казённого шкафа в нашем двухместном номере. Многорадостная надпись сия безмерно укрепила тогда и меня, и моего сокамерника в наших крайне первобытных поползновениях.

Где сейчас этот благословенный шкаф? Бог его знает – двадцать лет прошло. Факт, однако, остаётся фактом. Из шестисот человек отдыхающих бывало в наличии не более тридцати процентов парней. За базар отвечаю. Отдыхал там пять лет подряд без малейшего отдыха.

Банда отъявленных сподвижников, снабжённых от природы избытком тестостерона, основала в «Ёлочке» постоянно действующее изощрённо-эстетическое объединение «Морда в пеньюаре». Члены объединения активно пропагандировали ускоренное художественно-половое созревание подрастающего комсомольского поколения. Одному из самых активных членов сообщества мы даже звание присудили – «Тип аморально устойчивый», а я так даже диссертацию защитил: «О влиянии запаха прелого сена, на некоторые гормональные выделения» и сочинил для сообщества гимн:

« ... сегодня здесь, а завтра там –
 Любовь с соломой пополам.
 Осталось только восемь дней –
 Скорей, скорей, скорей!
 Хоть мы знакомы лишь полдня –
 Не обижайся на меня.
 Мы отношенья упростим –
 Хотим, хотим, хотим...!».

Впрочем, комсомольская «Ёлочка» – отдельная, весьма красочная и благодатно-объёмная тема. Расскажу как-нибудь. На досуге.

От Москвы до Звенигорода часа полтора езды. Дорогу наизусть

знаю. Минут через тридцать серо-грязное варево постепенно начнёт светлеть, потом зеленеть и на перегоне между Голицыно и Звенигородом все вокруг приобретёт густую зелёно-изумрудно свежесть.

Электричка дёрнулась, скрипнула, сдвинулась, натужно потянула, постепенно набрала ход и пошла, и пошла, и пошла...

Устроившись на лавке по ходу поезда, спиной ехать не могу – голова кружится, я погрузился в свои непривлекательные мыслесочетания, и не очнулся бы до самого Звенигорода, но тут сидящая напротив курносовая девица всплеснула руками и радостно возопила:

– Ой, Васенька, смотри, кого привели! Это же Хуя-Хуя!

Здоровенный кимарящий Васенька вздрогнул, обалдело взглянул на упитанную плотно-шёрстную собаку, медленно, наливаясь всевозможными красками, перевёл взгляд на свою сияющую подругу и, став уже совершенно пунцово-синим, выхрипел из себя зловеще-свистящее шипенье:

– Это не Хуя-Хуя, это Чау-чау... Дура!!!

Под рыдающее бульканье всего вагона Вася выволок несчастную в тамбур, а на следующей остановке вообще из электрички вон. Публика, благодарно и судорожно икая, долго заливалась им вслед восторженными слезами.

Этот потрясающий скетч перенаправил мои безрадостные перспективы в совершенно иное русло. А почему, собственно, надо воспринимать себя в ином качестве со знаком минус?! Если тебя, не спросив, поимели и возврат в целомудренное состояние без хирургического вмешательства невозможен в принципе – расслабься, получи удовольствие, подумай, как жить дальше и преврати минус в плюс. Я сижу? Сижу. Еду? Еду. Народ вокруг сидит? Сидит. Полдороги впереди. Ковырну-ка людишек. Сравню, что у кого внутри, что снаружи, что у кого в прошлом, что в будущем. Глядишь, доеду с пользой.

Вообще, интересно – как всё это происходит? Дьявол, говорят, прячется в деталях. С братком на рынке получилось совершенно неожиданно – прямо-таки спонтанно. До сих пор не понимаю, как из меня выскочило. С кассиршей на вокзале то же – однако, по-другому. Я был осмеян и разозлился. В обоих случаях информация появилась внутри. Где, внутри? Непонятно. Скорее, везде. Не в голове, не в заднице, а везде – причём автоматически и мгновенно. И вот ещё что: я был взбешён, раздражён – экстремален, короче. Та-а-а-к... любопытно.... А если я миролюбив и спокоен? Если хочу получить инфу целевым, так сказать, назначением? Ну-ка, ну-ка.... Посмотрим вокруг. Выберем – кого бы копнуть посимпатичней.

Выбирать, а тем более копнуть кого-нибудь посимпатичней, увы,

не пришлось. Двери тамбура раздвинулись, и в проёме возникла Она – Марьяна.

Не слишком ли много для одного человека зараз? Ещё от первого шока не оправился, а тут, поди ж ты, – второй.... Господи, одни глаза остались. Ну, зачем время так безнравственно, так жестоко обходится с дамами? За что им это? За яблока кусок...? «О поле, поле – кто тебя усеял...».

А ведь когда-то....

Это была «Ёлочка» образца 1972 года. Сказать, что Марьяна была красивая – не сказать ничего. Словечко это женщины в течение веков так затаскали и затёрли, что оно стало таким же пустым, как пресловутый размер 90х60х90, и давным-давно утратило смысловую нагрузку. Иная тётка вообще стандартам не соответствует даже приблизительно. Идёт навстречу этакая особь неразмерная, а мужиков метров за сто наизнанку выворачивает. Походка рысья, изгибы кошачьи, в глазах, хоть и не видно их ещё, наверняка дьявол живёт – зуб даю – и всё врождённое.

Объяснить, какая разница между словами прекрасная и красивая, земные бабы не в состоянии. Весьма образованных и совсем неглупых дам много раз с пристрастием допрашивал. В ответ только просветлённая, смутно-сомнительная улыбка....

Горячо обсуждая этот вопрос в нашем сообществе, мы пришли к выводу: красивой может быть только кукла. Недаром мужики оба слова частенько употребляют вместе. Симпатичная, привлекательная, пикантная, очаровательная, смазливая, сексуальная, обаятельная... Все, изобретённые мужчинами, и к дамам прилагательные термины, гораздо ближе к прекрасному! В каждом из них сокрыто живое тело, а может быть и душа.... А что сокрыто в словечке красивая? Где там тело...? Короче – Василиса всегда прекрасна, а ежели не прекрасна, а всего-навсего красива, то, стало быть, и не женщина вовсе.

Однако, ближе к делу. Какой у неё в глазах восхитительный замес из Жаклин Биссет, Орнеллы Мутти и Одри Хепберн. Мой старшина, Черномырдин ему в подмётки не годится, наверняка выдал бы свой знаменитый на всю дивизию парафраз песни Высоцкого: «Лучше баб могут быть только бабы, на которых ещё не бывал».

Стервой Марьяна оказалась феноменальной. Все поползновения игнорировались самым нахальным образом – и на пляже, и на танцах, и вообще везде, где только я ни пытался к ней подъехать. Мои эскапады попросту замалчивались, не давая возможности завести разговор, но – «дорогу осилит идущий», и однажды я всё-таки её достал. Строго нахмутив бровки, недотрога отверзла, наконец, более чем полсмены молчашие уста и с безразличной деловитостью спросила:

– Что это вы вокруг меня туда-сюда мотаетесь? У вас что? Блуждающая почка?

– То, что вы называете почкой, – парировал я мгновенно, – имеет происхождение не блуждающее, а скорее блудливое.

– Я на вашу почку, если успели заметить, не претендую, – в её глазах мелькнул весёлый огонёк, – других кандидаток с избытком. Вы их что, совсем не рассматривали?

«Лёд тронулся, господа присяжные заседатели, – мелькнула в извилинах паскудная мыслишка, – если дама нарывается на комплимент, значит дело в шляпе».

– Рассматривал, – признался я честно, – однако, пришёл к выводу: мой генофонд заслуживает большего комфорта.

– Bravo! – сказала она, смеясь и похлопывая себя по бёдрам. – Пять с плюсом! Вас даже жалко стало. – И вдруг, изменив правила игры, совершенно другим голосом добавила, – бедный, тебя перебродивший шампунь распирает?

– Что касается шампуня, – от неожиданности я даже охрип, – лично ты, каким мыться предпочитаешь? Могу предложить яичный...

Как писал великий Оноре де Бальзак, не ручаюсь за точность цитаты, но мысль передам верно: «Женщина, даже ханжа, с удовольствием съест любую фривольность в более-менее симпатичной, завуалированной обёртке»...

Часа через полтора, весьма прожорливо пообедав, мы бежали на пляж, держась за руки и неся такую околесицу, что вспоминать стыдно.

Истопанная узенькая тропинка, самый короткий путь к реке, просочилась между берёзовой рощей и убранным колхозным полем. Что там было посеяно, населению «Ёлочки» было по барабану, однако, количество раскиданных тут и там ослепительно-золотистых копен впечатляло, внушало разнополой и развесёлой комсомольской братве не менее развесёлые и трепетные мысли о ночных, опять же развесёлых тусовках и прочих аморальных излишествах.

На совершенно пустом и прозрачном небе разжиревшее солнце бессовестно выпаривало последние соки из знаменитой изумрудной долины. «Ещё неделька такой погоды и «Русскую Швейцарию» можно будет переименовать в африканскую Сахару», – прошмыгнула в голове совершенно никчёмная дребедень, да так ею и осталась.... Мы добежали до берега и, оставив на себе минимальные знаки отличия, рухнули в не такие уж и прохладные воды местной речушки.

Пара сотен квадратных метров затопанной травы, парочка косях тентов, десятка два потрёпанных лежаков, хранящих в себе множество краткосрочных любовных историй, кипучую энергию моло-

дых трепещущих тел, обласканных луной и усыпанных звёздами, и такое количество компромата... – если б доски могли говорить... Незатейливый комсомольский уют запросто именовался пляжем. А что ещё, собственно, надо дорвавшимся до запретного плода молодым раздолбаям? Кому – любви, кому – до кучи.... Жить-то ещё когда? Когда ещё жить-то?...

Справа от пляжа в высоченной прибрежной осоке пряталась лодочная станция, а ещё подальше – знаменитый на всю «Ёлочку», неспокойный даже в безветренную погоду висячий мост – «Мост поцелуев» и других экзотических развлечений. У меня с этим мостом никакие памятные даты не связаны – вестибулярный аппарат не позволил. Тихо, осторожно, крепко держась за поручни, перейти на другой берег и обратно – высший предел моих достижений.

Однажды я попытался разобраться на этом мосту с одной почти шикарной девицей. Призвал на помощь фантазию, многочисленные свидетельства ночных потребителей, расписал все прелести висячий любви на качелях – дамское любопытство неистребимо, но в самый ответственный момент припёрся ветер – такая началась амплитуда, что меня стошнило.... На том оно и кончилось....

В начале августа сумерки в средних широтах наступают уже в десять вечера. Солнце в «Ёлочке» прячется за близкий высокий берег на другой стороне реки. Где-то в половине одиннадцатого, когда всё вокруг одурманивает томительно-желанный мрак, берег становится похож на тёмного мохнатого исполина. Лежаки к тому времени расписаны и разобраны. Кто опоздал – тому копка или просто сено подальше от воды. «В кругу друзей не щёлкай клювом» – девочки любят комфорт...

Быстрое, слегка порожистое течение журчистыми перепевными трелями крадёт все остальные, не подлежащие оглашению звуки. Виртуозно выскользнув из моих жадных лап, Марьяна утаскивает меня с престижного лежака подальше в густую траву.

– Вот, – лежи и слушай...

– Кого – вздохни? Мы и сами так можем...

– Да не вздохни, а ночь, луну, звёзды – они, между прочим, тоже дышать умеют.

– Чё их слушать!? Ими пользоваться надо! Чудесная ночная подсветка! Не промахнись....

– Отстань, я сказала – лапы убери!...

Как быстро, чёрт возьми, меняется у баб настроение...

Когда великого Зигмунда Фрейда спросили, о чём он больше всего сожалеет, мэтр ответил: «За всю мою жизнь я так и не смог понять, что же это такое – женщина...».

Мне повезло больше, чем Фрейду. Пятнадцати лет отроду пришлось получить урок на всю оставшуюся жизнь. Гулял я с одной отчаянной девчонкой, а точнее пацанкой, года на полтора старше. Родители собирались переводить её в школу рабочей молодёжи, поскольку в детской она всех уже достала.... На чём мы спелись? Видимо на том, что та же самая ШРМ-ка* ожидала через год с лишним и меня. Родственные души всегда испытывают взаимное притяжение. Пришла она как-то раз – такая грустная, такая унылая – хоть плачь. Покрутился вокруг неё, поспрашивал: «Кисочка, – мол – лапочка, что случилось?». Молчала она, молчала, да как заорёт: «Что ты ко мне пристал! Что случилось, что случилось! Спрашивает у женщины, что случилось! Откуда я знаю!»

С того самого времени подобных вопросов больше не задаю. Ежели дама куксится или бастует, всегда имеется парочка основных вариантов и множество всяческих нюансов. Я отношусь к ней серьёзно – тихо и незаметно исправляю ситуацию. Мне безразлично – ска-тертью дорога....

Я был достаточно сыт изрядным предобеденным марафоном – вкусно покувыркались.... Она, смею думать, – тоже.... Значит – вариант номер два, но с нюансами. Послушаем, как дышат звёзды, а там посмотрим – может проголодаемся....

- Слышишь? – спросила Марьяна
- Не слышу, – соседи мешают...
- Душа тебе мешает. Душа у тебя тупая, ленивая и скучная, а сердце сургучом заляпано. Весь ты какой-то разболтанный и случайный.
- Какой есть – наше дело не рожать...
- Можешь не продолжать – знаю, и вообще – шёл бы ты...
- Ну ладно, извини, – поторопился я...
- Да уж. Торопыга знатный. Про таких говорят: «Им нужно всё и сразу...».
- Сказал же «извини». Чего ещё-то. Расскажи лучше, что тебе звёзды надыхали. Может, они не только дышать, но и вздыхать умеют?
- Вздыхать умеют тоже.
- Видать, нелегко им живётся...
- Как и нам – по-разному.
- А ты знаешь, – не удержался я от ироничных интонаций.
- Теперь знаю. Даже не я, а другой кто-то – внутри сидит. Мне звезды, как и тебе, до лампочки были, а этот, как включится, так будто меня самой и нету.
- Как сейчас?
- Как сейчас. Каждую ночь почти.

– И как ты с ним?
 – А вот так – уживаемся. Оно сильней. С ним интересно. Я привыкла.

– Оно тебе, что? Язык звёзд на человеческий переводит?

– Ага.

– И что же они говорят?

– Они говорят, что у нас тюрьма.

– Это про железный занавес? Слыхал...

– Какой занавес! Им до нашей ЧК КПСС, как тебе до вчерашней тёлки. Про землю – планету нашу. Они говорят: «Кто помнит небо, тот не полезет в грязь». Они говорят: «Только там свобода».

– Да ну, – я уже откровенно издевался, – а что они ещё говорят?

– Про тебя сказали: «Поживёшь, поживёшь, а потом окажется, что ни людям на земле, ни звёздам в небе нечего будет тебе на прощанье сказать кроме как: «Спи спокойно, дорогой товарищ». Нахлабаешься в этой жизни лиха по самое некуда, особенно лет этак через двадцать пять – тридцать».

– Ты уверена, что этот фрукт правильно переводит? – Стало окончательно ясно – второго акта не будет. Обдумывая как бы интеллигентней свалить, я спросил просто так, для чистой проформы.

– Откуда мне знать.... Только чувствую, что растворюсь в нём всё больше и больше. Оно меня, наверное, скоро совсем съест....

– Да, подруга, – я встал и отряхнулся, – псих-клиника по тебе давно плачет. Как это у Высоцкого: «...ему б кого-нибудь попроще, а он циркачку полюбил...». Прощевайте, барышня, девствуйте тут со звёздами, квартиранту вашему привет горячий передавайте, а у меня ещё полночи впереди. Пойду. Прогуляюсь – может кого и встречу...

– Иди, иди, – раздался в голове незнакомый голос, – тоже мне трахатель нашёлся, Геракл засушенный, массажёр хренов – всё тело мне истрепал. Я его десять лет ждала – из тысяч выбирала. Для тебя, чтоль старалась? Иди, давай! Другой какой-нибудь дура косточки перемазывай, да ногу по дороге не вывихни.

Та-а-а-к.... Вот и приехали.... А кто говорил, что псих-больные не заразны? Надо бы отсюда побыстрее ноги делать. Наш старшина, перед десятикилометровым броском с полной выкладкой выдавал следующие перлы: «Ребята! Не посраим отчизны нашей! Соберём ж-пу в горсть и вперёд скачками! Ра-а-вняйсь! Сми-и-и-рно! Шрапнелью! Бегом! М-а-а-а-р-ш!».

Ямка была небольшая! Не ямка даже, а просто выемка, но темнота своё дело сделала. Нога распухла так, что ни о каких дальнейших приключениях не могло быть и речи. Хорошо, башку не раскроил. Марьяну до сего дня больше не видел.

«Какая у некоторых долгая жизнь впереди, прямо завидки берут. – Марьяна, наконец, пропёрлась через весь вагон до моей лавки и с тяжёлой одышкой плюхнулась рядом, сдёрнув меня с грешных небес на грешную землю. – Только прожить её можно по-разному, либо здоровым, либо инвалидом. Веди себя тихо: и голову сохранишь, и ногу больше не вывихнешь. Напомнить, что звезды обещали? «Нахлебаешься в этой жизни лиха по самое некуда, особенно лет этак через двадцать пять – тридцать». Не забыл – вижу. Так что – нишкни – язычок на крючок, а мысли на замок амбарный. Целей будешь. Не старайся, тебе меня не просчитать. Я не кассирша на вокзале. Честно говоря, не пойму пока, с чьей помощью ты такой резвый стал. Но это – пока. Я разберусь быстро. Не сам же дошёл... Такой дурак был. Ходил, болтал своим тёлколомом, да везде побрызгивал...

Про девчущу в «Ёлочке» забудь. Нет её. Почти нет. С удовольствием избавлюсь совсем. Однако не в праве. Не резон мне лишнюю карму зарабатывать. Своей хватает. Законы соблюдать надо. Вынуждена соблюдать. Тело-то не моё. За будущую свободу дорого платить приходится.

Так-то, милый. Ну ладно, мне выходить пора. Да, кстати, что за муть у тебя в голове крутится? То Грибаново-Хренково какое-то. Ни села, ни деревни, с таким названием в наших краях не водится. Я Подмосковье хорошо знаю. То вопросы всякие дурацкие типа «за что мне всё это?». Есть проблемы? – Обращайся. Решим. И челюсть подбери. Полвагона на тебя смотрит». – С этими словами Марьяна скрылась в тамбуре и вышла на следующей остановке.

Челюсть я подобрал, но было бы лучше её подвязать. Возникло столько не имеющих ответа вопросов, что она постоянно отвисала. Ну за что мне, человеку среднему и незамысловатому, вся эта, прости Господи, канитель? За какой такой мерзопакостный грех? Мало того, что старый хрыч то и дело все мысли мои переворачивает. Это ещё можно пережить. Он у всех в мозгах копается. Должность у него такая. Теперь эта ведьма все мои загогулины, стерва, распрямить пытается. Хорошую, добрую девку с таким чудесным упругим телом фактически убила! А не докажешь. «Есть проблемы – обращайся, решим». Накось – выкуси! Без сопливых обойдёмся! Пошлю я, кажется, вас всех!

«Не ломайте голову молодой человек. Не нервничайте. Не делайте невразумительных поступков. – Голос Шарлатана, возникший в самых недрах моих измученных извилин, был спокойным и умиротворяющим. – Езжайте в «Ёлочку». Красотами природы насладитесь. Если так уж необходимо, проглотите всё, что с собой захватили. Проявите малость терпения, и вы узнаете много интересного о вашей такой старой и такой новой знакомой...»

Может быть, ни с того ни с сего, а может быть снова Шарлатан постарался, в памяти всплыла совершенно забытая картинка. Подходил к концу второй год воинской службы. Осень перевалила за середину. Зарядились холодные дожди и погода была премокрейшая. Наша войсковая часть стояла в предгорьях Алтая, в лесистых хакасских сопках. Возвратившись из очередной самоволки, я накинул промокшие портянки на буржуйку, строго наказал салаге-дневальному проследить, чтоб не сгорели, и забыл о них, а тот носом поклевал и заснул. Сгноил молодой мои первосортные дембельские портянки! Он, конечно, своё получил, а портянки-то где новые взять? Разумеется, у старшины.

Старшина обретался внутри соседней палатки, в небольшом, огороженном двумя брезентовыми ширмами пространстве. Между неплотно пригнанным материалом пробивался мерцающий свет... Чёрт меня дёрнул сунуть в просвет башку – это был шок. Старшина торчал перед тумбочкой на коленях, а на тумбочке стояла икона. Держа в одной руке зажжённую свечу, а другой, беспрестанно крестясь, он, как заводной, повторял одну и ту же совершенно, идиотскую фразу: «Сам себя озевал, сам себя окаркал, сам себе пособлю....».

* Школа Рабочей Молодёжи;

Нора Гайдукова

* * *

Мы были пастухами и танцевали на лугу.
Подпевали ручьи, блеяли овцы.
Вставали в круг.
За руки брались,
Жизнь так прекрасна, мой друг!

Не знали, что ждет нас египетский плен,
Рабство, тяжкий труд,
Страдания след.
Пришло спасенье, через море
В Святую Землю возвращенье.

По миру скитаемся столетья,
Нельзя нам овечек пасти.
Столько врагов на пути.
Считают нас ростовщиками,
Злодеями, врагами.
Шесть миллионов невинных.
Погибает Вселенная с нами.

Но назло врагам
Живет наш Израиль.
Снова пасем овец,
Под звуки флейты танцуем
Празднуем жизнь
Не верим тем, кто нас хочет сгубить.

Сады и улыбки детей вокруг.
Жизнь прекрасна, мой друг!

[112]

КОНТАКТ

В разных концах города
Или планеты Земля
Каждый из нас в одиночестве
Переживает отсутствие друга.
Силы кончаются.
Не пересечь пространство
Усталости и боли,
Памяти и молчания,
Забывтого и случайного.
Бессилия и отчаяния.

Каждый из нас
Стремится обрести другого, но
Туманом времени подернуто
Жизни светящееся окно.

И только слова по электронной,
Телефонной, телепатической
Неолитической, смарт-фоно
Галактической
На всех языках мира
Протягивают нити,
Контакта в виртуальном
Пространстве связи
Всех со всеми
В вихре бесконечной,
Бессмертной
Любви.

НОВЫЕ ЕВРЕИ

Что Вы знаете о том, кто такие евреи?
Что Вы знаете о том, каково быть евреем?
Знаете ли Вы, что все евреи — родня,

Даже если они ненавидят друг друга,
Знаете ли Вы, что каждый погибший
В Освенциме — это ты сам?
Знаете ли Вы, что антисемиты чувствуют
Кожей еврея? Знаете, какое бывает чувство,
Когда тебя не берут на работу или учёбу
Из-за этого позорного слова
В твоём молоткасто-серпастом?
Знаете ли Вы, каким бывает страх,
Что опять это начнётся.
Евреев на свете так мало,
А ненависть к ним безгранична.
В Индонезии или Норвегии
Ни одного еврея,
Но их ненавидят так дружно.
Так скажите, зачем Вы идёте
В евреи, что Вы ищете,
Что Вам нужно от нас,
Нелепых и мудрых,
Шумных, скандальных,
Несчастливых, хитрых,
Завистливых, униженных,
Важных и гордых,
Станных, порой гениальных,
Но непохожих на всех
Остальных, неуловимо
Отличных, очень хороших
И очень плохих...
Не суетитесь, не притворяйтесь.
Это совсем не смешно,
Сколько бы Вы не учили
Наши молитвы — Вы клоуны,
Стать невозможно евреем.
Им надо родиться.

ПИСЬМО ПОДРУГЕ

Ире Рассединой

*«Всегда остается возможность
выйти из дома на улицу».*

Иосиф Бродский «Часть речи»

Я Вам пишу за чашкой слабенького кофе
На салфетке, в магазине, где всё,
Чем может поживиться горожанин,
Лежит, стоит и просится в корзину.

Ряды бутылок пленяют красотой.
Когда-то, рты разинув,
Мечтали о подобном изобилье
И мы с тобой...

Какой-то десяток лет,
Заметны перемены
В лице и теле.
Египет все дальше.

Мы терпеливо ждем
Прихода Мессии.
Хотя хотелось бы
Остаться в силе.

Невольно загрустишь,
Что суета напрасна.
И все ж весны
Дыхание прекрасно.

Зеленый лист
Так нежен и прозрачен
А лишний день прожить –
Уже удача...

КРЫЛАТЫЕ ЛЬВЫ

Генриетте Ляховицкой

Вам не любить этот город
И называть его странным,
Холодным и равнодушным
Больным, с душевной раной.

Он больше не конкурентен
Москве, – богатой столице.
Текут опять его крыши,
Но только мне снова снится,

Что я по лужам весенним
Сегодня вышла из дома.
Под синим ветреным небом,
До боли здесь все знакомо.

На узенький мостик Мойки
Джакомо Кваренги арка
Крылатые львы поднимут
Свои усталые лапы

И мы полетим куда-то,
Увидев с небесной дали
Все наши прошлые годы,
Все радости и печали.

СУККОТ

Тикают часы, отмеряя одиночество
Ночи в праздник Суккот.
Крытого еловыми ветками,
С молитвой об Облаке,
Спасшем евреев в Пустыне,
Где брели они сорок лет.

В шалашах рождались и умирали,
Морей никогда не видели.
Цветов и деревьев не знали.
Всё заменяло Облако,

Посылаемое Тем, Кто
Заботился о нас.

Несмотря ни на что,
Мы живы.
Облако и сейчас
Неизменно ведёт нас.
Что с нами будет
На этот раз?

Яков Раскин

ОДНАЖДЫ НА ВОЙНЕ

О войнах написано много, в разных странах, во всех жанрах. В Израиле – почти ничего. С военным положением все смирились, свыклись. Словно перестали реагировать на ежедневные обстрелы, ракеты, бомбы, теракты. Армия – в постоянной готовности к отражению агрессии. Дети никогда не играют в войну. Война не прекращается почти семьдесят лет и конца ей не видно. Странно, но постоянство войны почти не отражается в литературе. Я принимал участие в боевой операции под кодовым названием: «Мир Галилее».

Некоторые события плотно осели в памяти. Об одном – поделюсь с читателем.

Наша воинская часть расположилась в живописном районе Ливана, примерно в двадцати километрах от Бейрута – недалеко от водохранилища «Агам-Карум». Здесь, возле средоточия запасов пресной воды, шла подготовка к военным действиям.

Вызывает меня командир батальона. В штабной палатке кроме него – молодой человек. Он – среднего роста, крепкого сложения, волосы слегка тронуты сединой, огромные глаза широко раскрыты, приветливая улыбка блуждает на устах. Словом, типичный израильтянин-сабр. На нём ловко сидит военная форма. Добротные красные ботинки указывают на принадлежность к элитному подразделению.

- Гершон, – представляет его комбат.
- Яков, – отвечаю я, ощутив его крепкое рукопожатие.
- С сегодняшнего дня оказывай Гершону помощь во всём, – продолжает комбат. – В ваше распоряжение выделяется «джип». Прожи-

вать будете в отдельной палатке. Прошу, чтобы никто о вашей работе не знал.

Это интриговало, я догадывался, что буду участником чего-то секретного.

Лето, как обычно, жаркое. До вечера не выходили из палатки. Из пищи Гершон предпочитал «стейк», запивая его «кока-колой».

В 9 часов вечера я принёс бутерброды с сыром и термос с горячим кофе. Из палатки он вышел почему-то в гражданской одежде. Справа, на ремне – кобура с пистолетом, слева, в ножнах – большой нож. Он сел в автомобиль, положив рядом автомат со снаряжением, и уехал.

Ночью я думал о нём. Кто он, зачем здесь и почему во всём тайна? Проснулся оттого, что услышал пожелание доброго утра и увидел улыбающегося Герсона. Он попросил принести ему обычный завтрак.

Так продолжалось ежедневно. Я не решался на расспросы, соблюдая субординацию. Но любопытство взяло вверх, и я поинтересовался о целях его ночных походов.

После некоторых раздумий он сообщил, что служит в спецподразделении, которое отлавливает террористов и сдаёт их службам. Их допрашивают, получая нужные сведения. Я попросил его взять меня с собой. Он ответил, что при первой же возможности сделает это.

Пришло время и Гершон сообщил, что я могу поехать на задание в качестве шофёра, но при условии не проявлять никакой инициативы. Он стал готовиться к поездке: почистил оружие, переоделся.

Итак, вечером в путь. По дороге к нам присоединились ещё два человека в гражданской одежде,

которые произнесли две фразы по-арабски. Это меня несколько насторожило. Вскоре мы прибыли на берег водохранилища, покрытый зелёной травой. Среди дубовых посадок тишину нарушало лишь жужжание комаров и поскрипывание кузнечиков. Место, с которого мы должны наблюдать, было абсолютно голым, лишь несколько низкорослых дубков, смахивающих на высокий кустарник со свисающей вниз листвой. Берег водохранилища похож на бухточку, заслонённую от солнца высоким ливанским кедром. Узкая тропа от берега к кустам исчезала в лесу.

Я замаскировал «джип», получил приказ не отлучаться, не курить, залечь в кустах с автоматом. Вскоре началась тёмная южная ночь, в которой растворились все очертания окружающего.

В траве искрились светлячки, визгливо хохотал филин, кричала испуганно сова, рыдая, как младенец, наводя страх. Казалось, прошла

вечность и поездка безрезультатна, только жаль потерянного времени. Но тут послышался хруст надломленной ветки и при лунном свете из кустов возник силуэт человека с оружием и пластиковой канистрой. Остановившись, человек прислушался. Ничего не обнаружив, он закинул оружие за спину и подошёл к берегу, чтобы наполнить канистру. Он слегка замешкался, и этого оказалось достаточно, чтобы быть схваченным. Он изумился, что те, кто его пленил, говорили по-арабски. Его поместили на дно «джипа», затянув повязкой глаза. Бросив в машину трофейный «калашников», мы двинулись в обратный путь. По дороге завезли двух «арабов» в их расположение. Спустя полчаса арестованный давал показания в палатке особого отдела. Я успел рассмотреть его. Подросток лет семнадцати, невымытый, дурно пахнущий, с растрёпанными волосами и в одном ботинке.

Возбуждённый своим участием в операции, я долго не мог заснуть. Перед глазами всё время вставали детали происшествия...

Я поинтересовался у Гершона, в каком именно месте надо делать засаду, он ответил, что «пластиковые» террористы, днём прячутся в лесах, боясь столкновения с армией, а ночью, как звери, приходят за водой – вот и весь секрет.

Больше я не просился в разведку. Достаточно было увиденного. Как-то ночью меня разбудили выстрелы, доносившиеся от водохранилища. Причина выстрелов была понятна. Весь день я ожидал возвращения Гершона, но он не появился. Больше я его не видел и ничего не слышал о нём. Лишь по радио вскоре передали, что погибли двое военнослужащих армии Израиля – сержант и подполковник. Имя не сообщили.

РЕМБРАНДТ ИЗ НОВОЗЫБКОВА

Если Бальзака угораздило венчаться в Бердичеве, то почему бы Рембрандту, который писал голландских евреев, не поехать в город Новозыбков, что на Брянщине, и не написать знаменитого на всю округу цадика?

Однако, по порядку. Вот история, правдивая от первого до последнего слова.

В то лето я решил навестить новозыбковских родственников – в этом городе провёл детство и юность. Город ничем не отличался от остальных провинциальных городов, разбросанных в черте оседлости, разве что здесь родились нарком Дыбенко и дважды Герой Советского Союза генерал-полковник Драгунский – гордость местных евреев. Еще

нужно упомянуть кинорежиссера Григория Рошаля, о котором в городе никто не знал, что не помешало назвать улицу его именем.

Жили мы тогда в еврейском районе города, который в народе назывался «Молостовка», по имени старожила, Моисея Молостовского, который был так стар, что и сам не знал сколько ему лет... В годы войны все новозыбковские евреи, которые не успели эвакуироваться, погибли, а те, кто вернулся – проживали на утопающей в яблоневоых садах улице Набережной, на берегу озера, вокруг которого, как солдаты на плацу, стояли навтыжку столетние липы.

Вечерами евреи сидели на лавочках у своих домов, лузгали семечки и со свойственным им местечковым юмором обсуждали проходящих мимо них в городской парк молодых людей...

Но речь не о них, а лишь об одном – Аркадии Школьнике – друге моего детства, с которым мы жили в одном дворе и сидели в школе за одной партой. Аркадий занимал не самую большую должность в райпотребсоюзе, имел семью – жену, сына, тещу, и всего одну зарплату.

Как-то, в субботу, приходит Аркаша и приглашает к себе на ужин. Пошёл я к нему, познакомился с его симпатичными женой, сыном и тещей, оказавшейся свояченицей моего двоюродного деда. Поужинали, поговорили, вспомнили, конечно, «Молостовку», наш двор.

Аркадий показал развешанные по всей квартире рисунки, акварели, портреты и пейзажи. Надо сказать, что я имею некоторое отношение к живописи. В молодости мечтал стать искусствоведам, но учиться довелось другому. Тем не менее, в глазах Аркадия я выглядел большим знатоком по этой части.

Рисунки и картины оказались работами его деда Рувима. Он был художником, а точнее – учителем рисования. Эти работы производили хорошее впечатление: точный глаз, твердая рука, рисунок крепкий. Цвет и композицию дед Рувим чувствовал. Было видно – это не любитель-самоучка, а художник, получивший приличную профессиональную подготовку.

– Это – моя мама, а это – бабушка, – пояснял Аркадий. – Правда, похожи?

Аркашину маму я еще помнил, а бабушку, умершую в войну, не знал, но с ним согласился. Картины хвалил, и это Аркадию нравилось.

Главный сюрприз был впереди. Заметно волнуясь и стараясь не дышать, Аркаша развернул плюшевую тряпицу и достал небольшой, примерно сантиметров в тридцать, написанный на дощечке портрет. Я глянул и ахнул. На портрете был изображен старый еврей в чёрной ермолке, с наброшенным на плечи талесом. Седая борода, опущенные полузакрытые глаза, глубокие морщины, прорезавшие

пергамент старческого лица – сколько же в нём древней мудрости и благородства, безграничной еврейской скорби, отрешённости от житейской суеты и сосредоточенности на своих мыслях... Только на полотнах Рембрандта я видел такие лица. Сходство подчёркивали колорит, построенный на сочетаниях тёплых золотисто-коричневых и красноватых тонов, игра светотени, глубина темного фона, широкие мазки уверенной кистью. Рассмотрев обратную сторону, я убедился, что дощечка довольно старая.

Аркадий и вся семья с тревогой и надеждой ждали моего мнения..

– Ну, что ты скажешь? Это же настоящий Рембрандт!

Судя по всему, Рембрандт – чуть ли не единственный известный Аркадию великий художник, но в данном случае это было, как мне казалось, близко к истине.

– Кто, что, откуда? – забросал я его вопросами.

Аркадий поведал довольно путаную историю. Дом на Набережной, в котором Аркадий родился и провел все годы, обветшал, его снесли, а ему дали квартиру в другом районе. Когда рушили старый дом, и Аркадий перевозил скарб, он случайно обнаружил в чулане под содранными половицами пролежавший всю войну сверток, в нем несколько золотых колечек, пара серёжек, полуистлевшие документы и этот портрет.

Ну, скажите на милость, откуда у бабушки могла быть картина XVII века, которой нет цены?! Очень просто... От его отца ребе Нохима, меламеда и большого знатока Торы. А у того? Наконец, мы добрались до какого-то мистического предка, бывшего, по словам аркашиной тети Фиры, управляющим именем какого-то графа, от которого и мог получить в подарок портрет работы Рембрандта. Эти «семейные предания» уж слишком смахивали на сказку, но ведь всё может быть. Масла в огонь плеснула ещё «специалистка» из местного краеведческого музея, решительно подтвердившая авторство Рембрандта: «Я три раза была в Эрмитаже!»

Я уже был не рад ни Новозыбкову, ни встрече с другом детства. Если я не шёл к Аркадию, он приходил ко мне один, но чаще со всей семьёй. В том, что они нежданно-негаданно стали обладателями несметного сокровища – были уверены, о моих сомнениях, а их с каждым днем становилось всё больше, слышать не хотели. Громадные деньги, которые они получают за картину, были расписаны до последней копейки: кооперативная квартира с отдельной комнатой для тещи, отдых в Сочи, автомобиль «Жигули», сын поедет в Москву учиться на математика.

Просто удивительно, сколько энергии было в райпотреббухгал-

тере, Аркадии Школьнике. Он сокрушал меня штурмом и натиском, брал измором, загонял в угол. Я поехал в Ригу, в Латвийский Государственный музей, где работала моя добрая приятельница – искусствовед и знаток западного искусства, Нина Лапидус.

Повертев в руках портрет, она высказала мнение, что написан он на дощечке, выломанной из старого буфета. Шансы на то, что это живопись не только XVII-го, но и XIX-го веков, оценила более чем скептически.

Все рухнуло в одночасье! Нет слов, чтобы описать горькое разочарование Аркадия и его семьи. Словно карточный домик рассыпались их мечты и надежды, кончился чудесный сон... Может быть, надежда еще теплилась бы какое-то время, если бы не одна встреча.

В краеведческом музее меня познакомили с местным стариком-живописцем Владимиром Сергеевичем Чернышевским, который во времена моего детства вёл кружок рисования в «Доме пионеров»... Его отец, тоже учитель рисования, был репрессирован в 37 году. У него-то и учился живописи Рувим Школьник. В музей его привели поиски уцелевших работ реабилитированного отца и, собирая их по крохам, он надеялся устроить хотя бы небольшую выставку. Я предложил расширить её рамки и включить работы учеников Сергея Чернышевского. Владимиру Сергеевичу идея понравилась, и в тот же вечер мы были у Аркадия.

Тут все и разрешилось. Не великий Рембрандт ван Рейн из какого-то там Лейдена, но Рувим Школьник из славного города Новозыбкова! Чернышевский-младший не только знал Рувима, но и вспомнил «Портрет старика», и то, что на портрете изображён был цадик, реб Иосиф Фельдман. Это он помнил твёрдо, потому что каждый раз, когда по Набережной пацаном проходил мимо дома, где жили Фельдманы, его жена, ребенок Хая, всегда совала ему пару сладких коржиков.

Аркадий слушал, и глаза его были полны слёз.

Накануне моего возвращения в Ригу Аркадий пришёл попрощаться. Посмотрел я на него, осунувшегося, постаревшего, и сказал:

– Аркадий, а ведь это замечательно! Ты даже не представляешь, как это прекрасно, что портрет написал не кто-нибудь, пусть даже самый знаменитый и гениальный из всех голландцев, а твой дед Рувим Школьник. Подними выше голову: и ты, его внук, и твои дети, и дети твоих детей всегда будут гордиться, что они потомки такого художника. Никто не знает, как сложится твоя жизнь, может, тебе крупно повезет и выиграешь миллион в лотерею, но уже сейчас у тебя есть, что оставить детям и внукам, и такому наследству пусть завидуют богачи.

Аркадий посмотрел на меня своими грустными глазами и улыбнулся. Мы распрощались.

Но на этом история не закончилась. Несколько лет назад иду я как-то по Тель-Авиву и встречаю... Аркадия Школьника с женой, сыном и невесткой, толкающей перед собой коляску с внучкой. Обрадовались, расцеловались.

– Как, откуда, давно ли приехали, где живёшь, есть ли работа, как с ивритом? – обычный олимовский набор.

– Кстати, а что с тем портретом? – поинтересовался я.

– Представляешь, оказался Рембрандт!

Я остолбенел.

– О том, что это не Рембрандт, а мой дед, знали ты и я, но не знали на таможне. Прихватили меня с ним на границе в Чопе, так я жизни был не рад. «Контрабанда! – кричат – Евреи вывозят национальное достояние неньки-Украины! Гвалт!» – Как я не доказывал им, что это портрет новозыбковского цадика ребе Фельдмана кисти моего деда – хоть тресни. Думал уже, что поеду не в Израиль, а в Сибирь или ещё дальше. Вытряхнули из меня все «зелёные», но всё же отпустили. – Он достал из кармана газетную вырезку.

– Читай!

В заметке сообщалось о передаче местному музею художественных произведений, реквизированных бдительными таможенниками. Среди них древние русские иконы, картины, разный антиквариат, а также изумительный «Портрет старого еврея», кисти Рембрандта или художника его круга.

Леонид Немировский

СЮЗИ

(кошачьи страсти)

Наконец я нашел мою Сюзанну. Она неподвижно сидела в позе мудрого созерцания, но после первого зова «кис-кис» встрепенулась и последовала за мной, как Эвридика за Орфеем – не оглядываясь.

Я подвел её к скамейке, на которую сразу же улёгся, и кошка, не мешкая, взобралась на покатое мое пузо, нежно вцепившись в него своими коготками. Да, Сюзанна вспомнила меня, вспомнила во всех интимных подробностях.

Мы вкусили минуту блаженства, но лишь минуту: открылся вентиль небесного душа – и пошел дождь... Я, как мог, защищал Сюзи руками. Вода поливала лицо, мешаясь со слезами очищения и радости.

Сюзи помнила, что я всегда ее кормил. Открыто она это не высказала, – лишь мельком заглянула в развернутую сумку и тут же стыдливо отвернулась. (Не часто обнаружишь в людях подобную деликатность!)

Я поторопился в магазин. Там мне охотно помогли выбрать необходимое к кошкиному рациону и посоветовали даже, узнав её возраст и условия жизни, купить мягкий фарш, а не жёсткий гуляш.

Когда я вернулся, Сюзанна была крайне возбуждена. Она миглом вспорхнула на стол, начала юлить, «восьмерить», тереться, обо что попало. С трудом удалось развернуть пакет с едой, и когда, наконец, показался заветный фарш, Сюзи ожесточенно вцепилась в него бесовской хваткой. Так отдаётся, наверное, страсти жаждущая любви женщина.

Чуткость и нервозность вообще были свойственны её интеллигентной кошачьей натуре. Сюзанна вела себя тихо лишь тогда, когда

я был рядом – поглаживал её или следил за тем, как она ест. Но стоило мне отойти на шаг – она впадала в беспокойство, прекращала есть и увязывалась за мной. Как мог, я утешал её, увещевал: «Не оглядывайся, ешь – врагов давно уже нет, все они в 37-м перебиты». Но Сюзи лишь улыбалась мудрой улыбкой, прощая мне моё заблуждение. И в эту минуту воровато прошмыгнула соседская кошка!

* * *

Взмахнула плакучая ива
Ветвями пушистых ресниц –
И небо открылось игриво
Бездонною синью глазниц.

Река уплывала на небо,
А солнце плескалось в реке.
Задумчивый Ангел под деревом
Спокойно лежал на руке.

Не зная падений отвесных,
Земных убоясь берегов,
Раскинул свой купол небесный –
Ковёр из цветных облаков.

О, Ангел – изгнанник! Случайно ль
Ты раем Земле услужил?
А сам в подземелье печальном
Небесные крылья сложил...

Сергей Пышный

А Я ВСЁ ТАКОЙ ЖЕ

(Юмореска с рефреном)

Странная вещь, время! Оглядываюсь и поражаюсь, как оно, словно метлой, выметает людей из жизни. Смотрю я на всё происходящее, как в кино. Причём, кажется, крутят его всё быстрее и быстрее. События и судьбы проносятся перед глазами со скоростью почти что звука. Люди живут, старятся, умирают. А я – всё такой же.

Это вносит в мою душу постоянное смятение, и даже страх. Вспоминаю своего соседа снизу. Когда я несколько лет назад поселился в квартире, где живу и сейчас, то слышал, как у соседа вечерами работал телевизор. К десяти часам он затихал. Значит, сосед с женой ложились спать. Людьями они были пожилыми,

и вскоре соседка умерла. Старик остался один. Телевизор включался всё реже и реже. Через какое-то время вообще ничего не стало слышно. Через пару месяцев управляющий домом сказал, что старик вконец ослабел, и его перевели в дом для престарелых. А я – всё такой же. Без изменений. Вскоре в ту же квартиру въехал молодой человек лет двадцати. Пригласил меня на новоселье. Гости – одна молодёжь. Я подумал с радостью – этот сосед надолго. Будет мне веселей. Однако, опять пришлось столкнуться с ситуацией, когда охватывает смятение от факта, что время неумолимо, и люди быстро стареют и уходят. А я – всё такой же.

Или ещё пример. Был я недавно в Питере. Встретил на улице двух своих родственников, которых не видел много лет. Господи, как они постарели! Один даже воскликнул: «Как время летит, как быстро мы стареем!» Уж точно. А я – всё такой же... В другой свой приезд разы-

скал подружку по институту, с которой когда-то имел романтические отношения в студенчестве. Хорошенькой была тогда. Думаю, созвонюсь, договорюсь о встрече. Но когда мы встретились, жалость к ней резанула, словно тупым ножом по сердцу: её шея, лицо, руки – дряблые, в морщинах. Она всего на год старше меня. Обидно. Как она постарела. А я – всё такой же. Так же – холост, так же – в поисках подруги. Смотрю в зеркало: «Каким был, таким и остался. Морщинки те же, седина уж давно. Но седина ещё не признак старости».

Возвратившись из Питера, пошёл в религиозное общество, куда изредка заглядываю. Опять те же мысли. Вспоминаю, как лет пятнадцать назад, старейшина выступал. Всегда – бодрый, весёлый, несмотря на свой преклонный возраст. Прошло время. Умерла жена. Старик оправился от потери, и опять стал выступать на собраниях. Потом исчез. Живёт в доме для престарелых. А я – всё такой же. Почему? Не может такого быть. Другие, вероятно, думают, что и они не стареют в потоке каждодневных забот. Иногда остановимся кого-нибудь помянуть и спешим дальше. Ведь у каждого большие планы, важные дела...

Семён Златин (Гольдберг)

ИЕРУСАЛИМУ

Йерусалим – столица мироздания,
второе многим ты открыл дыханье.

От стен твоих святой исходит дух,
хоть здесь он напряжён, и воздух сух.

Народ еврейский под щитом Давида –
что крепче мрамора, сильней гранита.

В истории другого нет народа,
который так сражался за свободу.

И дышат стариной твои кварталы,
отсюда жизнь берёт своё начало.

Стеною Плача весь увенчан город,
она наш Символ, и надеждам вторит.

В легенду превратился каждый камень –
он может конкурировать с дворцами.

К местам библейским робко припадаю –
в них Истина. Я точно это знаю.

Ничто с Йерусалимом не сравнится, –
с моим народом, меркнут прочих лица.

Зовёт, трубит призывно звук шофара –
он раздаётся по земному шару.

Как Бога глас – повсюду слышен он,
мы с ним восходим на гору Сион...

Йерусалим – столица мирозданья.
С тобой всегда мне радостно свиданье.

ПАМЯТИ ХОЛОКОСТА

Забыть нельзя.
Мир помнит и поныне
загубленных евреев миллионы –
потомков тех, которых по пустыне
водил Мойсей –
голодных, утомлённых.

Увы, у нас врагов ещё немало,
они грозят, оружием бряцают,
антисемиты,
с каменным забралом,
костры из ненависти разжигают.

О, Холокост!
За кровь людей безвинных
молились праведники и раввины.
Рассеянность по всей большой планете.
Чтоб был «ШАЛОМ» –
войны не знали б дети.

Горят, рыдая, в синагогах свечи,
и остаются только пепла горсти.
Нет, погасить уж нашу память нечем.
Она живёт в сердцах –
о Холокосте.

ОБЩЕНИЕ С ПОЭТАМИ

Поэтов книги выстроились в ряд.
Они – не занимательное чтение.
В них мысли философские горят –
в собраньи слов, подобранных на диво.

Размеров много: дактиль, ямб, хорей,
и жанры – от сонета до записок.
И дневники – превратность многих дней,
пейзажи и любовные приписки.

Мне жаль того, кто, глядя корешки,
считает: «Это хватит для знакомства»,
грусть упустив и едкие смешки,
признания и лести вероломство.

Я часто к полкам обращаю взгляд,
К закладкам, где остановило слово.
Снимаю с полки – им всегда я рад,
их перечитываю всё я снова.

Поэтов книги выстроились в ряд.
О, Господи! Они, как прежде, манят,
и в душу мне доверчиво глядят, –
вот вечный праздник чувств
и кладезь знаний.

Белла Якубова

СОН

Ей приснился сон с виденьем:
кто-то рядом был так нежен,
будто это продолженье
той, ушедшей, жизни прежней.

Для неё был сон немыслим,
стал похожим на измену.
Там, в сознании, зависли
слёзы, боль и потрясенье.

Пробужденье было горьким,
сновиденье стало явью.
Тот, кто снился, потихоньку
одеяло ей поправил.

Потому и был он нежным,
что и он увидел сон.
Отголоском жизни прежней,
увлечён был, явно, он.

АУДИТОРИЯ

Наша здесь аудитория,
В ней мы, словно острова.
И на эту территорию
Есть у каждого права.

Остров твой – экран и кресло.
Мой – всегда на кухне есть...
Словом, всем доступно место,
Где присесть, и что поесть.

Чтобы сбоев не случилось
В отношеньях и делах,
Поменяться б, хоть на малость –
Так: на совесть, не на страх.

Чтоб логично, не со скуки,
И друг другу не во вред:
Ты берёшь кастрюлю в руки,
Я включаю интернет.

Если ж в личные устои
Заползёт сомнений змей –
Кувыркком всё перестроит
На дорогах наших дней.

Разберётся, перероет,
Бросит острова на дно.
И цунами нам закроет,
В мир открытое окно.

Кухня ни к чему и кресло,
Как тут справиться с судьбой?
Нам найдут другое место,
Где всегда царит покой.

ПРИЗНАНИЕ

Я люблю тебя очень.
А теперь всё сильней.
Всё, что будет – короче,
Всё, что было – длинней.

Марк Тверской

* * *

В оковах творческого плена,
Пока душа ещё жива,
«Искать иголку в стоге сена» –
Незаменимые слова.

Низать их бусами на строчки,
Чтоб освежали, как родник.
А тот, кто их прочтёт до точки,
Задумался хотя б на миг.

В БУДУЩЕМ ГОДУ В ИЕРУСАЛИМЕ

«Я открою гробы ваши и выведу
вас, народ Мой, из гробов ваших,
и введу вас в землю Израилеву»
Иезекииль, 37:12

Нас поднимет Господь
из гробов и вернёт нам дыхание,
обновит нашу плоть
и простит, что от древа познания
мы отведали плод
вопреки стержневому Запрету.
За грехи наш народ

был рассеян по белому свету.
Тит в Святая Святых
ввёл блудниц для прелюбодеяний,
нас лишили родных,
нив и кровель, но не верований.
На две тысячи лет
разбрелись мы по чудным долинам,
лишь Священный Завет
сохранил нас народом единым.
Мы познали, что суть
не в похлёбке горшков фараона.
Завершается путь
в восстановленном Храме Сиона.
Замыкается круг –
круг скитаний, гонений, злоречий.
И не будет разлук –
Только встречи.

* * *

Я еврейство получил в наследство.
Сколько это?
Много или мало?
Немцы у меня украли детство,
А Россия в душу наплевала.

Поместила в пятую колонну –
Место ссылки проклятых иуд.
Будто это я во время оно
На Голгофе правил самосуд.

Мстя за то, что без щита Давида
В судьбоносный для России час
Мой отец вернулся инвалидом
С той войны, где Сталин дал приказ.

Без вины меня всю жизнь костили,
Словно я и есть извечный враг.
Оторвал себя я от России.
Изменила мне она. Вот так.

Помянуть совсем не будет лишним,
Что теперь я на своей земле
Той, что мне завещана Всевышним.
Я живу в достатке и тепле.

И никто не видит и не верит,
Что гнетут мне душу боль и крах:
Со своими внуками теперь я
Говорю на разных языках.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Мой неродной родной язык
Живёт в моей строке.
Я с детства говорить привык
на русском языке.

И букву «р» произношу,
Как подобает ей,
И даже грамотно пишу,
При том, что я еврей.

Пусть «рвёт и мечет» юдофоб,
Не обернусь на крик.
Со мной останется по гроб
Мой друг, мой враг – язык.

КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ДЛЯ СЕБЯ

*«Своим происхождением, не скрою,
Горжусь и я, родителей любя.
Но если Слово разойдётся с кровью,
Я Слово выбираю для себя»*

А. Городницкий

Веща первым криком свой приход,
Родителей себе не выбирают.
Родство по Крови создаёт народ,
Родство по Слову образует стаю.

Народ – он тыл, он дом и он опора,
Не выйдешь из народа за порог.
А стая – это дьявольская свора,
Где, кто сильнее, у того пирог.

В бараках гетто не остыли нары,
ещё дрожит прощальная струна,
Стенает Бабий Яр, звонят Понары...
Там было много Слов, а Кровь – одна.

Во все века действительность сурова.
Кровь или Слово? Выбрать надлежит.
Еврей, который выбирает Слово,
Забыл, что в стае это слово – жид.

* * *

*«Время разбрасывать камни и
время собирать камни»*

Книга Екклезиаста 3:5

Я под чужую дудку не отплясывал,
Не лебезил и не склонялся ниц.
Лишь камни легкомысленно разбрасывал,
С неласковой судьбой играя блиц.

Без лишних слов и скидки на усталость
Спешил давать и не стремился брать.
Настало время камни собирать,
Но времени на это не осталось.

Вениамин Палагашвили

* * *

*«Когда б вы знали,
Из какого сора растут стихи,
Не ведая стыда...»*

А. Ахматова

Глуп один, умён другой,
Тот силён, а тот ненужен –
Каждый для чего – то нужен,
Знать бы только, для чего.

Я бы каждому нашёл
Место нужное по-свойски,
Если б знал, как Маяковский,
Что такое хорошо.

Может тот хорош, кто тих,
Уступает всем дорогу,
Или кто живёт в угоду
Сам себе, не для других.

Хорошо ль шагать в строю,
Прославлять лихое время,
Быть в согласии со всеми,
Лишь с собою не в ладу?

Видно мне не дорасти
До высот могучей мысли
Ни одной из вечных истин
Для себя не прояснить.

Я запутался совсем,
Не отвлечься ли работой? –
Хорошо б, да неохота,
Хорошо, однако, лень.

Можно было б подмести
Пол в дому, с женой не споря,
Если б именно из сора
Не росли мои стихи.

* * *

Когда закончилось застолье
и перемыт посуды ворох,
в тиши остались только двое,
им на двоих почти сто сорок.

На смену шумным разговорам,
словам натужным и трескучим
пришло безмолвное созвучье –
их неделимая опора.

Без ссор, укоров и условий
живут в единстве, а не рядом;
им не заменит многословье
того, что говорится взглядом.

Благословен порядок мудрый:
день вновь последует за утром,
и вечер их согреет снова
теплом несказанного слова.

НА СМЕРТЬ АКТЁРА

Он выходил из-за кулис
в обличье Яго или Сократа,
но слышать зрительское «бис»
артисту было маловато.

Его герой вещал о том,
что Яго жив и Клавдий рядом
слова пропитывает ядом
и зельем потчует с вином.

Всыпает гению в бокал
завистник тайный незаметно
смертельный яд, однако, тщетно
скрывать злодейство – зритель знал,

кем исполнялось отравленье,
но и Сальери, глядя в зал,
казалось, молча обвинял
толпу в похожих преступленьях.

А Дон Кихот и Дон Жуан
не мельницам, не Командору
бросали вызов и не впору
равняться с ними нам – ханжам.

Печальный клоун по рядам
кружа, заглядывает в лица.
Хохочет зал над ним – не там
найти сочувствие он тщится.

В тот день, когда платил король
своей судьбой за козни мира,
артист сквитался ролью Лира
за все грехи своей ценой.

Звенела в зале тишина
и длилась пауза бессрочно,
а зритель ждал артиста молча,
чья роль была завершена.

* * *

Не делим время на мгновенья
и не следим, как навсегда
они в известном направлении
от нас уходят – в никуда.

Летят листки календаря,
уносят вдаль мои печали,
шурша: «Надейся, генацвале,
что завтра лучше, чем вчера».

Но вспоминая про вчера,
не обольщайся днём грядущим.
ты день сегодняшней, насущный
встречай, его благодаря.

за то, что с кем-то дорогим
ты от восхода до заката
живёшь сейчас, а не когда-то,
под этим небом голубым!

Что ты дожил до седины,
кому-то для чего-то нужен,
что нынче утром был разбужен
прохладной свежестью весны.

А прошлому не изменяй
в своём прозренья запоздалом:
оно – твоё в большом и малом,
но, вспомняв, не оживляй.

СТРАХ

Неразделимы меж собой
Желание и Страх.
Куда б ни шёл, они за мной
несутся второпях.

Зовёт желаемое ввысь
лететь на всех парах,
– ты на краю, остановись!
приказывает Страх, –
я охраню тебя, живи
соблазнам вопреки.

– Помрёшь с тоски
иль, чёрт возьми,
свой страх превозмоги!
Знавал ли ты кого-то, кто
со страху счастлив был,
кто с перепугу полюбил –
иль пожалел кого?

– Не верь ему! Всем правит страх.
От страха проиграть
ты будешь в силах первым стать
и не потерпишь крах.

Обвил меня двуглавый змей
и жалит с двух сторон,
хоть я не грешник, не злодей
и не Лаокоон.

Не мне терпеть такой напор
на радость палачу –
я по привычке с давних пор
немногого хочу.

Одно желанье у меня –
своё испытать сполна,
вкусить без горечи, до дна,
без опасения!

А если мне не суждено
иль не успею я,
пусть продолжение моё
сумеет без меня
прожить без страха и вранья
и, не исключено,
однажды вспомнит про меня:
«Он жил давным-давно,
слыл чудаком в краю родном –
не каждый в тех местах
мог называть дерьмо дерьмом
превозмогая страх».

Мина Полянская

**КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ**

Инне Йохвидович

Три рассказа оказались неожиданно судьбоносно связанными между собой. Инна Йохвидович посвятила Мине Полянской рассказ: «Девочка и дворник», вызвавший в памяти Полянской самым неожиданным образом далеко не безмятежный эпизод из раннего детства, дремавший как будто бы в глубинах подсознания. Эпизод и способствовал созданию рассказа: «Колыбель над бездной».

По странному стечению обстоятельств место действия рассказа: «Запах моего детства» – воспоминания Марка Фукса – о том же дворе (Шевченко 86), что и у Мины Полянской. Авторы, не зная ничего друг о друге, не сговариваясь, написали рассказы о конкретном черновицком дворе, причем, если у Полянской только упоминается эпизод радостного варения повидла во дворе под каштаном, то Марк волшебству варения уникального повидла, символа открытости, толерантности, братства послевоенного двора посвятил весь свой рассказ.

Пауль Анчель случайно мог повстречаться с «нашими», допустим, где-нибудь у светофора на углу Русской и Садовского. После концлагеря он был плохо одет, но и лохмотья не могли скрыть его замечательной красоты и вечной печали в глазах. Ещё в сорок втором он трагически разминулся с родителями и сестрой в черновицком гетто – их депортировали в концлагерь «Михайловка», где все погибли, а Пауль, впоследствии один из самых значительных поэтов двадцатого века Пауль Целан, уцелел в лагере «Табарешты».

Итак, готовый к побегу из ада, поэт мог стоять на перекрёстке и вдруг увидеть моего недавно прибывшего из эвакуации отца, облачённого, как я полагаю, в великолепный самостоятельно сшитый байковый блузон.

После бегства оккупантов в Черновцах пустовали квартиры, и поселиться в городе, обладавшем некогда легендарной еврейской ат-

мосферой, с европейской архитектурой – такая перспектива казалась сказочно-невообразимой! Иосиф Полянский был, вероятно, в приподнятом настроении, поскольку только что вселился с семьёй (трое детей!) в пустующую – впрочем, не совсем, а с двумя венскими стульями – квартиру и, разумеется, не был охвачен идеей предстоящих катастроф.

Тогда как Пауль, наоборот, покидая разорённую румынскими мародёрами родительскую квартиру, готовился к побегу через ближайшую границу. Считая своим долгом предупредить соплеменника, поэт сказал моему отцу – на идише, румынском или русском: куда ты приехал, наивный оптимист? Здесь только что кипел такой адский котёл, какой в кошмарном сне и Данте не мог привидеться!

Знали ли мои родители о трагической судьбе местных евреев? Знали далеко не всё, меж тем как ужасы черновицкого разбоя висели над городом строгим библейским напоминанием. Напротив нас, через дорогу, жил профессор, переживший оккупацию благодаря выданному мэром города Траяном Поповичем сертификатом, свидетельствующему о его квалификации, как в «списке Шиндлера». Я взирала на него с почтением, когда он в своем чёрном беретике подходил к дому, а затем исчезал за таинственными тяжелыми, чугунными, узорными воротами. Никто из «наших» с ним заговаривать не решался.

В прошлом – австрийско-венгерские Черновицы, затем румынские Черноуты, затем советско-украинские Черновцы. Пятиязычный – немецкий, венгерский, румынский, украинский, а потом и русскоговорящий город.

Мне исполнился всего лишь месяц, когда привезли меня в немыслимо красивый город с разнообразно выложенными плиткой тротуарами. Я помню мою тихую улицу Прикарпатья, поднимающуюся в гору, по которой из-за крутизны не ездили машины, с нарядными особняками, напоминающими помещичьи усадьбы, и прилегающими к ним садами, что придавало улице патриархальный вид. Старинная, мощёная крупным булыжником улица, сплошь застроенная одноэтажными и двухэтажными особняками с черепичными крышами. Иные – и наш дом, в том числе – были даже с дымовыми трубами. «Я калитку толкну, будет дворик мощёный», – вспомнила я стихи одного из литературных гигантов, мучительно тоскующего в Европе по Аргентине. – «Я калитку толкну, будет дворик мощёный, и окно, за которым ждёт моя нареченная. И дома, словно ангелы... и дома, словно ангелы...»

На нашей улице Шевченко (она и сейчас так называется, номер дома – 86) всю красовались особняки стиля модерн, известные под названием «венская сецессия» (в центре города позировали дома, построенные учениками австрийского зодчего Отто Вагнера). Эти дома с

тяжелыми резными дверями с затейливыми ручками были украшены цветочками, ангелочками, а у некоторых сверкали крыши, выложенные мозаикой, и, чем выше в гору, тем они были красивей и загадочней.

Улица казалась слепком некоей типичной улочки провинциального европейского города где-нибудь в предгорьях Альп или Карпат Австро-Венгрии двадцатых годов. Не то Триест, не то уголок старой Праги. Нам досталась квартира не в центре с соответствующими роскошными удобствами, а ближе к окраине. Бельэтажная квартира состояла из одной большой квадратной комнаты с большими окнами во двор с кустами пахучих чайных роз и сирени, от которых в восторге был мой отец, с паркетным полом и квадратной же кухни с деревянным полом. Крышу нашего дома тоже украшал весёлый дымоход – в углу на кухне, ближе к двери стояла пузатая печь, и мама пекла в ней роскошные круглые белые хлебы. Другие жители улицы вовсю растапливали свои печи, и над сказочными домами поднимались ввысь тонкие струи дыма.

Существенным украшением нашей кухни, кроме печи, служил кран с округлой чугунной раковиной, под которой я долго просиживала, изучая её затейливые узоры, как я теперь понимаю, узоры «модерна». Печь и кран создавали ощущение незыблемости существования и сделались символами домашнего очага.

Поскольку детей было трое и спальных мест не хватало, меня бережно, обложив подушками и чем-то ещё, чтобы не упала, укладывали спать на большом дубовом столе, стоявшем у стены на кухне напротив той самой двери, выходящей в коридор, которая сыграла некую роль в судьбе моей семьи.

Вход в квартиру осуществлялся через длинный узкий коридор, выходявший во двор у самых уличных ворот. Коридор справа (с нашей стороны) обрывался извилистой лестницей наверх – там, на втором этаже по обе стороны круглого вестибюля располагались две квартиры. Одна принадлежала Шульке, сверстнику моей старшей сестры, с родителями, а другая Борьке-малому (он был младше многих из нас – «дворян») с родителями. Отец Борьки-малого Моисей Дарис был одним из уцелевших евреев черновицкого гетто. Он был всегда угрюм и молчалив и не рассказывал даже в кругу своей семьи (как я узнала впоследствии от Бори), о страданиях и унижениях гетто. Борька-малый, а на самом деле Борис Исаков, умудрился запомнить меня, несмотря на то, что я с незапамятных времён выбыла из магнетического, волшебного дворика.

Наглость вождельний румынского диктатора Антонеску превосходила даже и большую фантазию союзника Гитлера, ибо «древнерим-

ская» кровь в румынском варианте почиталась им «голубее» арийской, и чистоту её следовало отстаивать и отстаивать. Ион Антонеску, захвативший военным переворотом власть, призвал румынский народ беспощадно и безнаказанно убивать евреев, знакомых и незнакомых, соседей и даже друзей. Он объявил, что настал священный час – наконец-то! И такой прекрасный шанс – убивать безнаказанно – ещё раз может представиться разве что через 100 лет. В начале июля сорок первого румыны бодро вошли в «самый еврейский город Европы» Черновцы, и занялись бойней. Евреев из черновицкого гетто, так же как ясских и бессарабских, в товарных вагонах, где большинство, как и было задумано, задохнулось от жары и удушья, увезли в концлагеря в Транснистрию – земли между Днестром и Одессой, отваленные щедрой рукой Гитлера Антонеску: на, бери, для такого дела не жалко.

Отец Бори Исакова находился в одном гетто с Розой Ауслендер, тогда Розалией Шерцер и Паулем Целаном, который каким-то невыслышим образом ухитрился писать там стихи и переводить сонеты Шекспира. Многие узники черновицкого гетто, помеченные шестиконечными жёлтыми звёздами – врачи, музыканты, юристы, поэты, а также спинозисты, кантоницы, марксисты, фрейдисты – говорили о Гельдерлине, Рильке, Тракле, Гессе под наблюдением грубых усатых солдат и полицейских. Скажем так: уникальный выдался литературный, интеллектуальный уголок в Черновцах, поэтический Олимп за колючей проволокой. Ни Пауль Целан, ни Роза Ауслендер не посвятили – во Франции и Германии – родному городу ни строчки. Я полагаю, что, в отличие от «плохого» Гамельна (который – слова не сдержал, обманул Крысолова и был жестоко наказан!), всё же удостоенного пера Зимрока, Гейне, Браунинга и Цветаевой, Черновцы, город без покаяния, ещё долго не сможет найти своего певца, ибо в этом уникальном очаге культуры, совершился ещё и «мор на поэтов». Что может быть хуже этого?

Я мысленно возвращаюсь к судьбоносному коридору. Так вот, по коридору слева, окнами на улицу, располагались ещё две квартиры. В одной из них, той, что напротив нашей, жила украинская сурово-молчаливая супружеская пара, до подозрительности благополучно пережившая оккупацию. Они – муж и жена – были, на мой детский взгляд, похожи друг на друга, сутулые, одного роста, сухощавые, тоскливо, в чернильных тонах одетые.

Надо сказать, что условия моего раннего детства были абсолютно привольными. Меня нельзя было обижать, поскольку, как разъясняя мой папа, мне нельзя было почему-то плакать. Мне позволялось выносить из дому во двор все, что вздумается. Я – пятилетка – надевала мамнины выходные шелковые платья, туфли на каблучках, но в ответ

получала лишь улыбки умиления. Папа улыбался радостно, когда я просила у него очередной рубль для «своего хозяйства». Я на эти бумажные жёлтые рубли – у меня были запасы именно рублией – покупала ёлочные игрушки в жаркую летнюю пору и вешала их у зеркала, вареную кукурузу, какие-то трещотки, ваньку-встаньку и прочую ерунду.

Единственным для меня запретом были соседи напротив. Мне велено было как можно скорее проходить мимо них, не вступать в разговоры, которые я очень любила. Предостережение было необычным и потому, что в нашем замечательном дворе со всеми другими соседями можно было сколько угодно разговаривать даже на идише, веселиться, смеяться и танцевать, а здесь, в коридоре – следовало быстро и молча пройти мимо. Между тем, наша дверь (это же надо!) – была напрямую – напротив вражеской двери, исполняющей «дозорную» службу».

И я стала бояться! Я пробегала, вобрав голову в свои плечики, мимо угрюмых соседей – они глядели злобно и во дворе никогда не появлялись. Однако мне и в голову не приходило рассказать кому-нибудь о моих страхах и, подозреваю, что многие дети без наводящих вопросов не в состоянии о своих страхах рассказывать в силу своей, я бы сказала, чрезмерной детскости. Я боялась до такой степени, что однажды мне приснился самый жуткий сон моей жизни.

Я сплю на своём столе, а плохие соседи – я почему-то знаю, что это они – пытаются вытолкнуть наш ключ входной двери, чтобы вставить свой, другой ключ там, снаружи, и открыть дверь. Это действие свершается при слабом желтоватом свечении. А за дверью слышен женский хор. Ключ с моей стороны поворачивается, раскачивается мучительно долго в сопровождении непрерывного и, как я теперь понимаю, слаженного, профессионального, оперного пения, отзывавшегося пронзительной болью в моём детском сердце. Но он, ключ, не выпал, и дверь не открылась. И толпившиеся за дверью соседи остались без добычи, то есть без меня, маленькой девочки, неотрывно, зачарованно смотревшей на ключ и считавшей, что в нём – спасенье. Впоследствии я вспомнила об этом хоре, причем, мгновенно вспомнила, когда увидела фильм Феллини про гибнущий корабль. Сражённый выстрелом из нарисованной детской рукой черным карандашом пушки, он медленно и неумолимо уходит под воду в сопровождении трагедии-плача – женского пения, напоминавшего пение в моем сне, словно режиссер заглянул в мой сон.

А между тем, события вокруг нашей семьи сгущались – собирались уже грозные тучи, и ход событий ускорялся, словно невидимые кочегары подбрасывали в топку уголь. О происшедшем «внутридворовые» жители будут ещё некоторое время рассказывать охотно, и по

истечении времени, по мере повторения, предание станет красочнее, приобретая вкус старого вина.

Иосиф Полянский являл собой тип абсолютно не замороженого властью человека, сказывалась поздняя интеграция из боярской Румынии в сталинскую послевоенную диктатуру. Тёзку (Сталина) Иосиф Полянский для конспирации от подслушивающего доносителя в дискуссиях называл «Ёсалы» – его самого на идишский манер тоже называли уменьшительно-ласкательно «Ёсалы». Вокруг Полянского (гимназия боярской Румынии – в среде «неместных» это уважалось) сформировалась целая группа политических единомышленников, и наша квартира с медным, начищенным до блеска самоваром в центре стола и красивым янтарным чаем в прозрачных тонких стаканах кипела антисталинскими страстями.

И вот однажды сосед-дворник со странной фамилией Шут, живший в доме с деревянной длинной верандой-балконом справа во дворе «рассекретил» «Ёсалы» – Иосифа Полянского. Шут, якобы, подтвердил органам НКВД на допросе, что тот слушает иностранные «голоса». Вздурораженный двор только и говорил о том, что дворник сам к НИМ не приходил, его вызвали, спросили, а он со страху – подтвердил. Было очень важно, что по своей инициативе дворник доноса не совершил, ибо донос в нашей среде был страшнее смерти.

Его спросили (так рассказывали во дворе, а я всё слышала): «Правда ли, что Иосиф Полянский слушает иностранные голоса?» Он ответил: «Да».

Предавший Шут, подобно евангельскому Иуде, осознав, что совершил, повесился на чердаке, где как шут висел, согласно знаменитому пушкинскому (на полях рукописи «Евгения Онегина»): «как шут висеть».

Запоздалая мысль-догадка о соседях напротив завладела мной. Если «иностранные голоса» мешали мне, девочке, спать – можете себе представить старые приёмники с визгами и тресками? – то неужели те, что напротив, злобные, с заведомо дурными намерениями, не слышали, или же не подслушивали, тем более, что для этого не нужно было напрягаться: информация сама, легко приплывала в их грязные, алчные лапы. В моём сне соседи стояли за дверью, однако, где сон, и где реалии? А может быть, они и в самом деле там стояли? Ребёнок должен был рассказать о ночном видении и громко заявить о том, что боится соседей, стерегущих за дверью. Но девочка промолчала. Увы, дети иной раз оказываются в опасности, о которой любящие родители не подозревают, и колыбель качается над бездной. Образ замечательный, но, увы, не мой. Он принадлежит Владимиру Набокову. Этим трагическим образом писатель осенил начало романа-автобиографии: «Па-

мать, говори». Детство предлагает немало загадок, которых не разрешит ни теодицея, ни психоанализ, ни литература.

Моего отца арестовали. Впрочем, арест был не сталинско-классический, московско-ленинградский с неизбежным ГУЛАГ-ом или расстрелом. Иосифа Полянского через некоторое время выпустили согласно устному договору: мы тебе – свободу, а ты нам – квартиру. Договор одной стороной был нарушен: через полгода за отцом, как тогда говорили, «пришли», но его уже не было в живых. Отпустили, стало быть, согласно «джентльменскому» договору с местным НКВД, в котором процветала коррупция, и под залог такой замечательной квартиры.

В 1952 году мы, изгнанная семья, сняли комнату в другом городе (это уже – другая история) напротив еврейского кладбища, на котором отца вскоре и похоронили. Он угас в возрасте сорока трёх лет в первую очередь от горя, поскольку ценой своей свободы оставил детей без крова, в чужом углу. Полянский умер в январе пятьдесят третьего, а Сталин – спустя два месяца, так что, если бы... Если бы те события – с доносом – стартовали на несколько месяцев позже, то семья не сделалась бы бездомной, фантазирую я, возникли бы, возможно, и прекрасные даже перспективы и прочее в сослагательном наклонении. Я иногда задаю себе риторический вопрос: «Иль я – бездомный человеческий «продукт» эпохи?» Пишу слово эпоха с большой осторожностью, потому что не исключено, что на самом деле являюсь очередным персонажем некоей трансэпохальной «драмы судьбы», в которой участвуем мы все. Вот Пауль Целан, которого называют поэтом Холокоста, выходец из того же локального пространства, что и я – вот он кажется мне настоящей жертвой судьбы неумолимой. «А мы все смеялись и уходили в чужие долины. Нам все равно: все шатры сожгли».

В сорок пятом Целан зафиксировал смену одной диктатуры другой, предугадал высокий градус доносов, подслушиваний, круговой поруки, насилия, осознал, что после одного концентрационного лагеря может оказаться в другом. Он умчался в Бухарест, через два года проник в Австрию, затем в Париж, но бегство не спасло – его шатры ещё в Черновцах были окончательно сожжены. Тени прошлого догнали, преследовали, и он покончил с собой. Кого винить – время, жестокий век, войну, сталинский режим? Или же предположить некую предопределенность? Но, согласитесь: если жизнью правит слепой случай, она тогда теряет нравственную ценность. Разве нет?

Угас солнечный летний двор, безлюден и беззвучен он, как будто замерло пространство, остановилось время. Разлетевшись по всему миру, в Израиль, Канаду, США, Германию, ибо в Черновцах процветал антисемитизм, приобретший небывалую в мире известность, а Хо-

локост замалчивался, дворовые ребяташки (Боря Исаков утверждает, что нас там было тридцать два ребёнка, мыслимо ли такое?) – «дворяне» остались преданы романтическому культу дружбы, образовав тесный круг, «отечество нам Царское село».

Затих двор, тот единственный под синим небом, с могучим каштановым деревом, с ветвями, усыпанными ярко-зелёными листьями. Под которым соседи дружно в большом котле варили уникальное сливовое повидло, помешивая огромными ложками-вёслами. Варили в таком количестве, чтобы всем жителям двора хватило на всю зиму, в то время как мы, малышня, радостно бегали и прыгали вокруг священнодействия сливоварения, и щёки у нас были вымазаны повидлом, которым нас щедро угощали. «Не слышно шума дворового, над крышей дома тишина, над бутафорским дымоходом висит полночная луна».

Времена открытости, толерантности послевоенного двора с его особой атмосферой давно ушли в прошлое, выдрав безжалостно из книги его жизни лучшие листы. В одном старом романе некий замок заявлял о себе жутковатой записью на фронтоне: «Я не принадлежу никому и принадлежу всем; вы бывали здесь прежде, чем вошли, и останетесь после того, как уйдете».

Я не вижу улицу, а как будто бы некогда видела её – то ли во сне, то ли на картине, то ли на ковре. Застывший слепок, как в «Марсианских хрониках», меж тем как ему следовало бы со временем зарастить лебедой и прочей сорной земной травой, но, поскольку этого не случилось, то, возможно, я когда-нибудь всё же доберусь до тех мест, где прошло раннее счастливое детство, и увижу, наконец, этот дом с дымоходом, двор с кустами роз и сад с фруктовыми деревьями. Но если, вследствие каких-нибудь причин – перестройки, застройки, вырубки, – не увижу ни того, ни другого, а всё-таки кое-что разгляжу, то тогда, наверное, и я испытаю, по выражению Набокова, «удовлетворённость страдания». Одного я точно не застану: моего детства.

Ах, да! Расчувствовавшись воспоминаниями, я чуть было не забыла сообщить самое главное. Боря Исаков рассказал мне, что мрачная супружеская пара – дверь напротив нашей (какой ужас!) – таинственно исчезла вскоре после нашего отъезда. Я спросила Бору: «Как там наш коридор?» Он ответил: «Та половина, в которой жили Полянские напротив полицаев, отгорожена деревянной перегородкой наглухо, до потолка».

Куда и почему исчезли соседи? Засветились ли органам НКВД в пору своих активных доносов, или некто донес на доносителей? Сталинский молох политических репрессий варил в одном котле и полицаев, и людей, оказавшихся под оккупантами, и жертв Катастрофы.

Марк Фукс

ЗАПАХИ МОЕГО ДЕТСТВА

Вначале был огромный, литров на сто восемьдесят-двести, медный казан. Как он попал в наше семейное хозяйство? Не знаю.

Возможно, папа – любитель разного рода диковинок и антиквариата – подобрал его или приобрел за бесценок, трудно сейчас сказать, и подсказки ждать не от кого. Казан периодически отдавали на лужение цыганам – известным мастерам ковки и пайки. Возвращался он помоловшим, готовым к дальнейшим подвигам.

В казане варили сливовое повидло.

Варили в складчину, сразу на несколько семей, и по окончании этого действия, длившегося целый день, делили пропорционально вкладу.

За день-два до намеченного срока закупали сливу – венгерку. Это потом я узнал, что существуют десятки сортов слив, всех цветов радуги и самых разных вкусов. А тогда, в детстве, для меня слива ассоциировалась только с венгеркой: среднего размера, фиолетово-синей, матовой от покрывавшей её пыльцы, с легко отделяющейся косточкой. Последнее обстоятельство и определяло её использование на повидло.

Ящики со сливой привозили на подводах, сгружали у кого-нибудь и приступали к чистке, мойке и сушке на солнце. Затем садились отделять косточки. Мякоть укладывалась в тазы и засыпалась сахаром. На следующий день, еще до восхода солнца начинался сам «процесс».

В относительно спокойном месте нашего необъятного двора выкапывали небольшую лунку и обкладывали её кирпичом.

Кирпич был старый румынский, с надписью «PATRIA» в овальной рамке и отличался необычной крепостью и огнеупорностью. Об обломок его можно было заточить нож, а при перекладывании печей, ста-

рались найти пару старых румынских кирпичей и заложить их в самые ответственные места.

На возвышающиеся над землёй кирпичи устанавливали казан и разводили огонь, из старых досок и сухих веток.

Затем следовала закладка заготовленной сливы, уже к тому времени пустившей сок, и варка, при непрерывном помешивании деревянной мешалкой-веслом.

Где-то на этом этапе мы, дети, уже просыпались и принимали активное участие, поднося ветки и дрова, поглощая сладкую пенку, снимаемую шумовкой, и выполняя мелкие поручения старших.

Ветер разносил по двору сначала едкий дым с запахом горящего дерева, а позднее, уже после полудня, начинало пахнуть повидлом. В повидло добавляли лавровый лист, и его благородный запах, смешиваясь с запахом непрерывно кипящего сливового месива, окутывал все вокруг. Уже затемно, в почти готовое повидло клали огромный кусок сливочного масла и приступали к дележу. Вёдра с ещё тёплым повидлом накрывались бумагой, обвязывались и устраивались в подвале до зимы. Опустошались они нами постепенно, удовольствие растягивалось вплоть до начала следующего лета.

В холодные и тоскливые зимние вечера, намазав на кусок белого хлеба толстый слой повидла, удобно устроившись у печи и медленно поглощая его, мы погружались в бесконечные школьные домашние задания, в интересные книги или просто в прекрасную болтовню, в воспоминания о прошедшем лете, его удивительных днях, звуках и запахах.

Прошло много лет, неизвестно куда делся знаменитый медный казан. Жизнь наполнилась новыми запахами и ощущениями. Я узнал отвлекаящий вкус шотландского виски и опьяняющий запах узбекских лепёшек, волшебный аромат утреннего плова и тонкую смесь запаха и вкуса осенней дыни, затыкающий за пояс любой эротический журнал...

Но запахи кипящего в казане сливового повидла до сих пор живы в памяти и возвращают меня в наш двор, в детство. В детство, в меру сладкое, немного с горчинкой и слезой от дыма, режущего глаза. На исходе лета. Или в начале осени...

Инна Йохвидович

ДЕВОЧКА И ДВОРНИК

Мине Полянской

Двор был большим. А девочке он казался и вовсе огромным. Чего в нём только не было: ряды высаженных дворовыми подростками молодых тополей, качели, небольшая карусель, скамейки в уголках и, конечно, горка.

Двор был хорош во все времена года, особенно зимой, когда мальчишки заливали каток, на котором играли самодельными клюшками, гоняя по льду жестяную коробку из-под ваксы, катались на лыжах и санках с горки, весело и беззлобно играли в снежки.

Весной всходила посевная трава, красили скамейки, качели и старую карусель. Лопались почки молодых тополей и старого каштана, выпускающая клейко-нежные, ещё маленькие листья.

Пригревало солнце, и гремели первые грозы. Летними светлыми вечерами дети долго играли во дворе, а дворовой пёс Шарик упорно не хотел залезать в построенную специально для него будку, и часто лаял среди ночи. А осенью, когда желтели деревья, жухла трава и в воздухе носилась паутина «бабьего лета», и даже, когда лил затяжной осенний дождь, и струйки текли по стеклу медленно и сонно, всё равно было весело: впереди был Новый год, ёлка, праздничная блестящая мишура и конфетти...

Девочка, как и мальчик Митя из прочитанной ею книжки, тоже любила и зиму, и лето, и весну, и осень. Гулять во дворе ей нравилось при любой погоде. Особенно ей нравилось во всём помогать дворни-

ку, дяде Николаю Щербине. Осенью сгребала она граблями пожухлые листья и смотрела, как истлевают они в огромных кострах. Зимой она бы ломом била лёд, как это ловко и споро делал дядя Николай. Но только лом был неподъёмным, а своей лопаткой она только и могла, что откидывать снег. Весной девочка убирала прошлогодний мусор, щепки и ветки, остатки почерневших листьев, заметала маленьким веником дворовый асфальт, но больше всего любила поливать его из длиннущего шланга-змеи. Из своей лейки поливала цветы: кусты колючих роз и высаженные в землю петунии, львиный зев, анютины глазки, душистый табак, обволакивающие своим запахом в сумерках «ночные фиалки – матиолы»...

Из всех ребят больше всего она сдружилась с Колькой Щербиной – сыном дворника. Он был только лишь на год старше её и уже ходил в первый класс мужской школы. С Колькой особенно хорошо было съезжать на санках: с ним санки никогда не переворачивались, даже на крутом повороте.

Единственно, что смущало девочку, так это поросёнок, вернее, поросята. Обычно дворник Щербина покупал очередного поросёнка и даже разрешал немного поиграть с ним. А поросята были смешными, маленькими, на ножках-столбиках, с игриво закрученными хвостиками. Визгливые, бегали они на своих толстеньких ножках, будто ненастоящие, будто из сказки: «Три поросёнка». Потом девочка больше не видела поросят, а только слышала какое-то странное похрюкивание из каморки, устроенной дворником в стене дома.

Девочка жила в квартире над аркой, и иногда среди ночи ей то ли в самом деле слышалось, то ли чудилось боязливое и жалобное похрюкивание очередного взрослеющего поросёнка, почти уже кабанчика. И тогда она плакала тайно, сама не зная о ком – то ли по себе, взрослеющей, то ли по поросёнку, которому, как она узнала, предстояло вскорости погибнуть.

Однажды зимой она спросила у матери: куда же девает своих поросят дворник Щербина? И была сражена открытием: этих кабанчиков специально откармливали ежегодно к Рождеству... Так вот, оказывается, почему исчезали они! И это проделывали с ними люди, которым смешные и весёлые поросята бесконечно доверяли?!

– Мама, – плакала девочка, – это же ужасно!

– А что поделаешь? – мать лишь пожимала плечами.

Девочка чувствовала равнодушие матери. Той многое было безразлично. Правда, мать не одобряла эту «странную дружбу» девочки с дворником Щербиной. И не просто не одобряла, а была категорически против:

– Знай: он страшный человек!

– Почему?

– Я не могу объяснить тебе это сейчас, вот подрастёшь и все поймёшь сама. Слава Богу, что ты родилась после войны и многого не знаешь.

– Почему это не знаю, – обижалась девочка, – знаю про фашистов, про войну.

– Ну что с тобою говорить, несмышлёной, каши ещё мало съела, чтобы понимать.

На том, по обыкновению, разговоры и заканчивались, оставляя её недоумевать: почему же мать так не любит дворника Щербину?

Когда девочка пошла в первый класс женской школы, Колька Щербина перешёл во второй в мужской. Они по-прежнему дружили, но уже не столь много времени проводили вместе, потому что хоть были младшими, но школьниками, и домашние задания не давали возможности вволю нагуляться во дворе. Только вечером в субботу, да в воскресенье дети могли гулять, сколько захочется.

Это произошло субботним вечером. Девочка зашла за Колькой в квартиру дворника Щербины в цокольном, как называла мама, или «полуподвальном», как говорил папа, этаже. Дверь была, как обычно, открыта. Как объяснил ей когда-то Колька, им свежего воздуха мало, спёртый он, потому часто и двери не запирают. Вход в кухню был прикрыт длинной до полу ситцевой занавеской. За ней слышались голоса дворника и его жены Марьи Ивановны. Кольки было не слышать.

«Может, его дома и нету, надо спросить», – решила было девочка, думая кашлянуть, чтобы как-то известить хозяев о своём присутствии, но вдруг так и замерла: дворник говорил жене, и говорил о н е й:

– Какого чёрта она к нам повадилась? Да ко мне всё лезет, всё помогать норовит! Ох, как я ненавижу всё их племя! У-у-у... проклятые, – внезапно переходя на крик, сорвался он.

– Коленька, милоч, успокойся, – запричитала Марья Ивановна плачущим голосом. – Не приведи господи, кто услышит. Вспомни, как после войны тебя хотели упечь за то, что полицаем был, – уже навзрыд плакала она.

– Ух, как же я их, жидов, ненавижу, а девчонку эту особенно. Надоедливые, покою от них нет! Эх, жаль не те времена, попадись мне она во время войны, тогда, при немцах, я бы её башкой об стену дома размазал, чтобы все мозги повывлетали, чтоб стена от них белой стала с кровью. Э-эх, – мечтательно проговорил он, немного успокаиваясь.

Жена продолжала плакать, и он стал грубо-успокаивающе ей что-то говорить...

А девочка стояла на этом страшном месте, приоткрывшем ей часть жуткой правды, и не могла сдвинуться, словно ноги её приросли к этому чистому крашеному полу.

«Почему? За что? За что дворник так сильно меня ненавидит, что даже желал бы, да ещё так, убить? Что же я сделала плохого ему? И каким таким полицаем Щербина был?» – Эти и другие невозможные ещё пятнадцать минут назад вопросы крутились у неё в голове, не глухая ужаса, воцарившегося в душе, а словно подкрепляя его.

– Ладно, твою мать, кончай тут сопли развозить, а мне надо идти кабану жрать давать!

И тогда страх, обуявший девочку, будто пушинку подхватил с заколдовавшего её места, и она побежала, стуча тяжёлыми зимними ботинками.

– Вернись! – кричала ей вослед Марья Ивановна. – Колька скоро придёт, я его в булочную послала.

Но девочка не слушала её, она бежала от дворника-полицая Щербины, который только и мечтал, чтобы ударить её головой о стену дома. Пробегая мимо коморки под аркой, где дворник держал своего кабанчика, она услышала, как визжал он, предчувствуя свою гибель под Рождество.



Публицистика. Мемуары. Эссе

Регина Лихтман

Посмертная публикация

ЧЕРТОВСКИЙ МОЙ СКРИПАЧ

Эта книга – о жизни и о любви. О жизни большого музыканта, прошедшего в чужой стране путь от безвестного иммигранта до создателя уникального музыкального коллектива: «Я-КА-ША», добившегося в своем жанре вершины известности и успеха, и заполнившего собой никем до тех пор не занятую нишу в немецкой музыкальной культуре. О его пробах и ошибках, падениях и взлетах, о его всепобеждающей любви к музыке, к жизни – и к женщине, которая была рядом с ним во всех его начинаниях, и в трудные, и в счастливые времена, от лица которой ведется повествование. Несмотря на биографический жанр, книга полна занимательных живых деталей, юмора и психологизма.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

(Продолжение. Начало см. в альманахах: «До и после» №№14 – 16)

«Я-Ка-Ша» постоянно приглашали в качестве музыкального украшения свадеб, корпоративных вечеринок. Особенно запомнился буйный нетрезвый праздник берлинской полиции во главе с ее высшим начальством и берлинским сенатором внутренних дел. После успеха на этом концерте Яша мог бы до скончания века безнаказанно парковаться в самых непотребных местах, если бы имел водительские права. Он много выступал на семейных торжествах и юбилеях наших новых сограждан из среды местных буржуа, способных выкладывать Яше тысячи за красивые: «Очи черные». Если же у кого-нибудь из заказчиков возникали затруднения с тем, чтобы наскрести нужное количество последних «заработанных непосильным трудом» тысяч для оплаты на своем празднике-шоу, мой «Чертовский скрипач» с ангельской кротостью просто сокращал число задействованных музыкантов, под лозунгом: «сколько заплатишь, столько и получишь». Спрос был таков, что

иногда в день приходилось отрабатывать по два, а то и по три шоу, совсем как во время гастрольного «чёса» на нашей «первой исторической родине». Ну, да Яше было не привыкать...

Случались, однако, интересные, запоминающиеся концерты, как, например, участие в празднике «Канцлерфест». Традиционно раз в год канцлеры ФРГ (тогда это был ещё Шмидт) устраивали в Бонне большие приемы, которые потом «на бис» повторялись из жалости в нашем Богом наказанном, со всех сторон обнесённом некрасивой бетонной стеной Западном Берлине... «Я-Ка-Ша», как местная достопримечательность, был на этот раз ангажирован дарить гостям Шмидта «встречу с прекрасным». Праздник проводился в Тиргартене, на открытом воздухе, на поросшем травой поле перед тогда еще не отреставрированным Рейхстагом, где были расставлены ломившиеся от всевозможных деликатесов и яств столы, между которыми на вертелех жарились целые утки. Поле это в свое время пережило и факельные шествия, и сожжение книг, и парады... То, что произошло после выступления, с необычно сильным электроусилением звука для огромного открытого пространства — как тогда! — и прошедшего с обычным успехом, я никогда не забуду. Под шквал аплодисментов Яша, как безумный, топтал это историческое поле и кричал на своем «фирменном» немецком в микрофон: «Я ЕВРЕЙ, РУССКИЙ ЕВРЕЙ!» Мощные динамики, как тогда, с эхом разносили по парку Тиргартен его крик души — и новые политики только аплодировали ещё истовее!

Начались и гастроли. Как же отличались они от моей памятной поездки по советской Средней Азии, с кипятильниками, пустыми буфетами и «удобствами» в коридоре! Один крупный промышленник решил «преподнести» своему другу Петеру Бёнишу, генеральному советнику канцлера Коля и главному редактору «Шпигеля», концерт «Я-Ка-Ша» в качестве свадебного подарка. Свадьба праздновалась на Зюльте. И вот наша пёстрая цыганская компания впервые летела на этот «остров миллионеров» частным самолетом! По прибытии нас сразу же повезли обедать в отличный ресторан (помню, один из музыкантов, узнав, что всё — «за счет фирмы», начал одно за другим заказывать себе самые дорогие блюда, какие только были в меню, и я никак не могла его уговорить), а потом всех «якашистов» по двое разместили в шикарной гостинице в номерах по восемьсот марок за сутки.

Сам праздник проходил в роскошном ресторане в рустикальном стиле. На столах были расставлены карточки с именами известнейших политиков, предпринимателей, министров, руководителей медиаконцернов... И когда к концу шоу оказалось, что вся эта чопорная публика гремит бубнами, стоя на стульях, чтобы лучше видеть, а «Я-Ка-Ша» играет, танцуя на столах, стало понятно — праздник удался!

Яшу просили играть ещё, но он ответил, что оговорённое время выступления истекло, и сам, без заказчика, он такие вопросы решать не полномочен. Тут же подошел тот самый промышленник, и без звука выписал чек на три тысячи. В графе «цель выплаты» значилось: «свадебный «бис».

После концерта всех музыкантов рассадили за столы, и они могли, ни в чем себе не отказывая, восстанавливать иссякшие силы и праздновать свой заслуженный триумф. Правда, один из скрипачей с празднованием несколько погорячился, и пришел в настолько «одухотворённое» состояние, что Яше пришлось вспомнить свой старый богатый опыт работы директором советского эстрадного оркестра, и ввести в своем ансамбле с этого момента абсолютный «сухой закон» на всё время концертов и поездок...

А приглашения «Я-Ка-Ша» на Зюльт стали с тех пор регулярными, и мы играли там минимум раз в месяц.

Выездных концертов было много, но один из них запомнился особенно — ведь это снова была старая добрая волшебная Вена! Мы к тому времени уже много раз выступали по приглашению мега-концерна «Рургаз» в Германии, но теперь его генеральный директор, приехавший прямо к нам домой, уточнив условия, вручил авиабилеты на весь ансамбль на регулярный рейс «Люфтганзы» с пересадкой во Франкфурте: предстояло обеспечивать культурную программу выездных деловых переговоров руководства концерна.

Без приключений и нервотрепки при перелёте, конечно, не обошлось. В пункте пересадки до вылета в Вену оставалось еще часа полтора, и музыканты, памятуя о «сухом законе», разбрелись по самым дальним буфетам гигантского франкфуртского аэропорта, чтобы спокойно «попить кофе» и не попадаться при этом Яше на глаза, а «после кофе» некоторые из них не могли уже найти свой терминал. Яша с ног сбился, разыскивая заблудившихся, и твердо решил, что отныне все поездки будут совершаться только арендованным автобусом.

Было дано два концерта — один в огромном кафе, где музыканты играли, стоя на внутренних балконах и галереях, другой — в старинном монастыре. И конечно, с ностальгическим чувством мы с Яшей пешком обошли еще раз те места, красотой которых уже восхищались когда-то, в другой жизни, бродя по ним нищими, растерянными советскими эмигрантами, в попытках продать икру, хохломские поварёшки и крымскую «шипучку»...

В свое время, не имея никаких пристойных для проживания на Западе документов, мы подали прошение о предоставлении нашей семье немецкого гражданства. И вот пришло нам время отправлять-

ся в берлинскую городскую ратушу на собеседование. Это была серьёзная и ответственная процедура, целью которой было выяснить, насколько мы интегрировались в общество: знаем ли, сколько в Германии федеральных земель, как называются политические партии, а самое главное – насколько мы овладели немецким языком. Как опытный полководец-стратег, я выстроила своё «войско» следующим образом: первым, как говорящий по-немецки в совершенстве, марширует Боря, за ним в качестве тяжелой артиллерии иду я. Яша же, с его вечным «общимёглих», был назначен в обозники; ему было строго-настрого приказано держаться в тылу, и рот по возможности вообще не открывать.

Однако, как только мы колонной по одному вошли в кабинет, сидевший там чиновник вскочил из-за стола и бросился мимо меня и Бори прямо к Яше. Обняв моего мужа, он воскликнул:

– А, господин Лихтман, очень рад вас видеть! Как ваши дела, как концерты?

На этом собеседование было закончено. Ни одного вопроса нам задано не было, мы просто посидели и поболтали, как старые добрые друзья...

Вскоре мы получили немецкие паспорта, позволявшие без виз свободно передвигаться везде, кроме стран Восточного блока, и решили всей семьей наконец поехать в отпуск. В центре Берлина до сих пор открыт замечательный итальянский ресторан, на всю Европу известный своей отменной кухней, стильным изысканным интерьером, а также регулярными выставками живописи и концертами. Он рекомендован, как гастрономическая достопримечательность многими туристическими путеводителями, витрину его украшают фотографии с автографами именитых гостей – Софи Лорен, Владимира Горовица, Джорджа Клуни, Рикардо Мути... Яша играл в нем много раз, подружился с его владельцем, который содержал также отель в Тоскане, в полутора сотнях метров от моря, и охотно принял его предложение поехать в Италию в «творческий отпуск», сочетая отдых с покорением местной публики – о том, чтобы две недели просто лениться, купаться и загорать, как все нормальные люди, при его непоседливом характере, разумеется, не могло быть и речи. И вот мы погрузили в нашу первую собственную машину, «Гранадуниверсал», багаж: электроконтрабас – нормальной длины, но состоящий практически из одного грифа, без корпуса (обычный инструмент не вмещался), Яшину скрипку, чемоданы – и Боря сел за руль. С нами ехал еще один пассажир, клавишник из ансамбля, взятый Яшей с собой как аккомпаниатор, так что автомобиль был, как говорили в Одессе, «набит битками». Если бы не этот

злополучный контрабас, мы бы, конечно, полетели самолетом, и часа через три были бы на месте. А так нам предстояло проехать по жаре больше тысячи километров, и я опять пожалела, что мой сын не выбрал своим инструментом, например, флейту...

Удивительно, как быстро Яша умел находить общий язык с любыми людьми, так что, сам при этом ни одним иностранным языком не владея и нисколько этим не смущаясь, моментально делал их своими лучшими друзьями! И в Тоскане у него вскоре оказалось множество выступлений – по отелям, элитным ресторанам, на частных виллах. В местной газете появилась о нем статья, название которой на оригинальность не претендовало и переводилось с итальянского, как «Скрипач дьявола». Однажды, во время концерта в зале какой-то фешенебельной дискотеки, где стакан обычной кока-колы стоил добрые двадцать марок, Яше указали на благообразного немолодого человека, шепнув, что это – известнейший итальянский джазовый музыкант и художник. Не надо говорить, что «Чертовский скрипач» употребил все свои годами отработанные эффектные цыганские приёмчики, чтобы «зажечь» зарубежного коллегу, включая и виртуозную игру, стоя перед ним на коленях, и что это ему полностью удалось. Однако, когда после концерта их познакомили, Яша несколько опешил. Оказалось, что нового поклонника его таланта зовут Романо Муссолини, и это младший сын одиозного дуче...

– Ну, надо же, когда я буду рассказывать, что играл самому Муссолини, никто ведь не поверит! – как ребенок, искренне радовался мой муж. Можно сказать, что его «итальянский поход» окончился посуворовски – Тоскана была покорена. Предстоял обратный «переход через Альпы».

По дороге домой нам случилось заночевать в маленькой австрийской деревушке недалеко от границы с Восточной Германией. Когда рано утром пришло время двигаться дальше, оказалось, что Яша куда-то исчез, и у меня сразу шевельнулось какое-то смутное предчувствие недоброго. Через несколько минут оно полностью оправдалось – почти в точности как когда-то во время наших среднеазиатских гастролей, мой супруг с видом триумфатора вернулся, как выяснилось, с местного базарчика, торжественно неся в руках курицу. Отличие заключалось лишь в том, что на этот раз курица была живая!

Всю оставшуюся до границы дорогу я грызла и пилила мужа, на кой черт ему сдалась эта птица в Западном Берлине, этом райском оазисе ФРГ, где без проблем за копейки можно купить всё, что душе угодно?! И даже обычно невозмутимый и флегматичный Боря ворчал на папу, что он читал о свирепости восточногерманской таможни, что ввозить в ГДР

животных без специального на то разрешения нельзя, что покупку всё равно отберут, а вот неприятностей уж точно не оберёшься. В поисках ещё чего-нибудь запрещённого могут по винтику разобрать всю машину, перевероршить чемоданы, а то и в попытке контрабанды обвинить... Все умоляли Яшу свернуть, пока не поздно, к первой попавшейся деревне, и подарить опасную курицу какому-нибудь крестьянину, а то и просто там отпустить на волю, от греха подальше – авось прибудётся к своим... Яша же пытался разжалобить нас красочными описаниями ужасов своих мук и лишений в эмиграции, где он за все эти годы ни разу не пробовал настоящей ароматной, парной, душистой деревенской курятины, и был вынужден с отвращением довольствоваться безвкусными, возвращенными на комбикорме и гормонах бройлерами. По художественной силе это было сильнее, чем «Фауст» Гёте, а со знаменитым панегириком гусю Паниковского и вовсе не шло ни в какое сравнение. Уговорить его было невозможно, он оставался непреклонен.

Тем временем выяснилась истинная половая принадлежность Яшиного приобретения – это оказался молоденький петух, с выступающими бугорками растущих шпор. Мы поместили его сзади, рядом с Бориным контрабасом, в картонную коробку, где он шумно возился и хлопал крыльями, усердно учился кукарекать, а в редких паузах со стуком клевал корм, хлопотливо вхохтал и гадил. И его, и Яшу я готова была убить; к громкой суете милой пташки добавлялись теперь насмешки мужчин, что Яша, дескать, не в состоянии отличить мальчика от девочки, которые тот выносил стоически.

Так, под вялые препирательства, наша компания в растрёпанных чувствах подъехала наконец к границе ГДР. Нашего пернатого друга мы благоговременно накрыли куском какой-то ткани, в надежде, что он подумает, что наступила ночь, и будет вести себя прилично.

Как только мы въехали на контрольно-пропускной пункт, нам сразу же было приказано поставить машину на специальную площадку для детального досмотра. Дородная служащая таможи подошла к задней дверце, открыла ее, и грозным голосом спросила:

– Это у вас что?

– Ну что, доигрался? Говорили ведь тебе, – в панике зашипела я на Яшу. Сидевший за рулем побледневший Боря решил смягчить вину чистосердечным признанием, и трясущимися губами пролепетал:

– Это курица, курица...

– Какая еще курица? А ну, откройте ящик, – еще более грозно потребовала таможенница.

Выйдя из машины, Боря увидел, что она показывает на футляр с его контрабасом. Её бдительность можно было понять. Действительно,

это был длинный деревянный прямоугольный ящик какого-то неопределённого защитного цвета, с откидными, того же цвета, защелками. По габаритам он примерно соответствовал размерам противотанкового ружья или реактивного гранатомета, идеально годился бы и для перевозки «стингера», и имел вполне милитаристский вид...

Продемонстрировав, что содержимое подозрительного контейнера носит вполне мирный характер и никоим образом не угрожает обороноспособности стран Варшавского договора, мы были с миром отпущены, и всю дорогу до Берлина петушиное кудахтание сопровождалось взрывами нашего истерического хохота.

На следующее утро мы с сыном разошлись улаживать накопившиеся за время нашего отсутствия дела. А когда вернулись, оказалось, что яблоко нашего дорожного раздора уже сварено и без остатка съедено главой семьи.

Вскорости мы получили ангажемент на еще один «Канцлерфест», на этот раз в самую временной столице. Канцлером был уже Гельмут Коль. Как и в Берлине, праздник проводился на открытом воздухе, только с гораздо большим размахом. Было пять тысяч гостей из всех федеральных земель Германии; были расставлены огромные столы, на одних из которых красовались всевозможные алкогольные и прохладительные напитки, другие ломились от рыбных и мясных закусок, сыров, к третьим нужно было подходить за овощами и салатами... Самым аппетитным выглядел стол, на котором было разложено, наверное, не менее ста разнообразных сортов вкуснейшего хлеба, которые лучшие пекари каждой немецкой земли, соревнуясь друг с другом в искусности, испекли специально для этого случая. А между столами крутились на вертелах утки и гуси, жарились на гриле колбаски, стейки и ребрышки...

Участвовать в празднике было приглашено много разных музыкальных групп, каждой из которых была выделена отдельная открытая сцена. Начинать играть они по очереди, когда, согласно распорядку, регламенту и протоколу, к одной из них подходил канцлер Коль с многочисленной свитой, а с ними и пара сотен жующих гостей. Прослушав два-три-четыре номера, Коль благодарил музыкантов, и дежурно пожимал им руки. Было видно, что от разнообразия музыкальных стилей и направлений музыкальной культуры недавно вверенного ему избирателями государства он уже начинает уставать.

«Я-Ка-Ша» изготовился к триумфу на своём подиуме, и я, с громоздким тяжеленным фотоаппаратом гэдээровского производства, болтавшимся у меня на шее, стала ждать появления хозяина праздника, чтобы запечатлеть исторический момент. Аппарат этот был

только что приобретен Яшей на барахолке у поляков, которые рекомендовали его как последнее достижение восточногерманской фототехники, с оптикой народного предприятия «Карл Цейсс Йена». Было жарко, чудо техники оттягивало шею и пригибало к земле, а канцлер все не появлялся. Я было совсем уже отчаялась и начала было думать, что шоу «Я-Ка-Ша» вовсе не состоится, когда к нам подошел менеджер праздника, и пригласил всю группу в большой крытый пивной сад, где с бокалами национального немецкого напитка сидели все ведущие политики во главе с Колем.

Звуками сырбы, заполняя гигантскую палатку традиционно с двух сторон, музыканты начали выступление. Яша сразу заметил здесь старого знакомого, генерального советника Петера Бёниша, со свадьбы которого на Зюльте и начались, собственно, его престижные «правительственные концерты», и поиграл немного для приличия «лично для него», после чего полностью переключился на его непосредственного начальника. Склонившись над канцлером, он наяривал ему на скрипке прямо в самое ухо, зажигательно выкрикивая по-русски:

– Ну, давай, Коль, давай!

От такого темперамента и напора канцлер несколько опешил. Было видно, что такого музыкального подарка он от сотрудников своей протокольной службы никак не ожидал. Сверкали вспышки фотоаппаратов корреспондентов, и я тоже наконец сделала много хороших снимков...

Перебирая теперь все эти старые фотографии, поблекшие от времени концертные приглашения и программки, ломающиеся на сгибах пожелтелые газетные вырезки, я вспоминаю и много других интересных, запоминающихся событий, поездок и выступлений, о которых речь еще будет впереди. А на тот момент – при перенасыщенном западном музыкальном рынке Яше удалось создать свой ансамбль буквально из ничего, как Адама из праха, и вывести его на самый высший уровень успеха, не только творческого, но и коммерческого (достаточно сказать, что мы платили налог с годового оборота в полмиллиона марок!) – и при этом не оказаться испорченным славой, оставшись таким же открытым для всего и всех, простым и лёгким в общении, как и в далёкие времена нашего знакомства. И я всё время думаю о том, как же мне теперь не хватает рядом этого бурного, неуёмного человека, с его оптимизмом и неизменной весёлостью, со всеми его причудами, странностями и сумасбродствами. Как же не хватает мне его заразительной кипучей энергии и безмерной любви...

С самого первого дня нашего знакомства, когда Яша заложил в ломбарде свой концертный инструмент только ради моих развлечений и увеселений, чтобы покорить сердце такой легкомысленной особы, каковой я являлась, и на протяжении всех долгих лет нашей совместной жизни, он осыпал меня подарками. Сказать, что я ни в чем не знала отказа, и что он предугадывал все мои желания и дамские капризы — значит не сказать ничего. Казалось, единственной целью его жизни было ещё чем-нибудь меня ублажить, удивить, преподнести ещё какой-нибудь приятный сюрприз. Когда это ему удавалось, он радовался как мальчишка; а удавалось это далеко не всегда. Как человек практичный, я считала, что, украшая и наряжая меня буквально как ёлку игрушками, он растраниживает кучу денег, а мне было бы приятнее, если бы эти деньги просто копились спокойно в банке... Он же всегда говорил: «Ну что тебе эти деньги? Они придут автоматически!»

Конечно, он меня очень избаловал. Тогда я не понимала, какой счастливый билет я вытащила, какой это редчайший случай, что мой муж меня не просто любит, а остаётся страстно влюблённым со всей силой и свежестью первого чувства. И не только воспринимала всё это, как должное, неблагодарно считая, что мне всё само собой «полагается», но и иногда даже раздражалась от чрезмерного обилия его знаков внимания. Стоило мне из чисто женского любопытства задержаться перед какой-нибудь витриной, Яша тут же начинал уговаривать:

– Ну давай купим еще эти туфельки! А вот смотри, какая сумочка!

И когда я чуть ли не силком его оттуда оттаскивала, обиженно бормотал:

– Не понимаю... В первый раз вижу женщину, которая не хочет подарков...

У меня были старинные русские серёжки с нешлифованными алмазами по четыре карата. И вот однажды одну серьгу я ухитрилась где-то потерять. Разумеется, я была огорчена до слез. Яша же, узнав, в чем дело, тут же на час куда-то исчез, а вернувшись, преподнес мне сразу две пары бриллиантовых серёг!

Если же, по неосторожности, мне случалось вскользь упомянуть, что мне что-то нравится, последствия могли быть самыми непредсказуемыми. Как-то раз один крупный предприниматель пригласил нас на приём для деловых переговоров на свою виллу. Официанты подавали угощение на огромных тарелках из тонкого белого фарфора. Все это выглядело изящно и изысканно, стол не был заставлен горой

посуды с разными закусками, и, поскольку к тому времени нам тоже приходилось принимать у себя «важных людей», по дороге домой я сказала Яше, что было бы неплохо и нам занять себе пару таких тарелок... С этой моей, вскользь брошенной неосторожной, фразы началось новое страстное увлечение моего мужа – коллекционирование изделий берлинской «Королевской фарфоровой мануфактуры» – КРМ.

По совпадению буквально через пару дней Яша отправился на антикварный блошиный рынок, и я пошла вместе с ним. И вот, как по заказу, там продавался набор из двадцати четырех тарелок КРМ – двенадцать больших и столько же поменьше. Я, по обыкновению, начала было отговаривать Яшу от покупки, но, как всегда, безуспешно. Он только сказал: «Ты же такие хотела – так вот они есть!», и тут же их купил. До сих пор не представляю, как ему удалось дотащить такую тяжесть до дома...

С тех пор Яша выискивал и скупал всевозможную посуду из белого фарфора КРМ, которая подходила к тем тарелкам: салатники, супник, соусники, горчичницы, солонки и перечницы, селечницы, кольца для салфеток, кофейный сервиз... Кроме того, он покупал вазы, включая огромные, напольные, метровой высоты, и, конечно, свои любимые статуэтки танцоров и музыкантов. Это превратилось прямо в какую-то манию. И каждый раз, принося домой очередное приобретение, он ждал от меня проявлений восторга и восхищения его добычливостью. Всё это было, конечно, очень красиво, однако бескорыстно восторгаться, памятуя о том, сколько он опять ухлопал денег на очередную фарфоровую безделушку, я все-таки не могла...

Однако надо признать, что всей этой посуде постоянно находилось достойное применение, и не только во время проходивших у нас дома деловых переговоров: Яша отличался радушием, хлебосольством и обожал гостей. Ещё в Одессе, при дефиците продуктов, мы постоянно устраивали в совершенно для этого не приспособленной комнате коммунальной квартиры «приёмы» для его бесчисленных друзей. И ладно бы, если бы это были только люди, которых я знала. Так нет, будучи человеком чрезвычайно общительным, он ментально располагал к себе всех, с кем знакомился, так что порой к нему заявлялись такие личности, при одном виде которых меня бросало в дрожь. Так, незадолго до нашего знакомства Яша почти месяц добирался домой из Хабаровска каким-то «пятьсот веселым» поездом, и это совпало с амнистией двадцати пяти тысяч уголовников, так что в том поезде чуть ли не каждый второй возвращался из сибирских «мест не столь отдалённых». Так он всю дорогу играл с ними в карты,

общался как с родными, рассказывал байки и анекдоты, и так подругился, что раздавал направо и налево свой одесский адрес, с приглашением заглядывать при случае на огонёк! И теперь, время от времени, к нам в гости как снег на голову сваливался очередной Яшин кореш-попутчик с железными зубами, держащий папироску под козырьком, ладони рук с наколками. Я холодела от страха, Яше же было всё равно, что это зэк, и он принимал его по высшему разряду, как будто пришел друг его юности. «Гость в доме – король...»

Здесь же, в Берлине, где не существовало никаких проблем с продуктами, а наша гостиная оказалась достаточно просторна, я каждый день шла с работы домой с мыслью – что же еще сегодня удумал мой муж? И действительно, он сообщал мне, что придут такие-то и такие-то – но он все сам закупит, да и готовить поможет... Иногда за нашим столом умещались до двадцати и более человек! Яша обожал вкусно поесть, и делал это с таким удовольствием и смаком, что рядом с ним у всех разыгрывался волчий аппетит, так что я только и успевала менять блюда. На работе я уставала, но была на него не в обиде – все эти застолья были такими веселыми!

В ознаменование наступившего материального благополучия, достатка и успеха Яша решил обзавестись «голливудской улыбкой», чтобы при виде его зубов каждому сразу было ясно – вот не иначе как звезда шоу-бизнеса... Метод зубного имплантирования тогда ещё только-только входил в широкую врачебную практику. Возможность приживания инородных тел в костных и мягких тканях выглядела неправдоподобной и лично у меня никакого доверия не вызывала. Когда же я услышала, сколько всё это удовольствие будет стоить, то и вовсе пришла в неописуемый ужас, и принялась всячески отговаривать мужа – что, дескать, зря он только промучается, протезы могут ещё и не прижиться, а денежки-то уж не вернешь! Денег, как всегда, было жалко.

Но Яша, никогда и ничего не боявшийся – вечный первопроходец, всё же отдал себя в руки передовой медицины. По рекомендации знакомого зубного техника он пошел к хорошему стоматологу, специалисту в области имплантации, у которого оказался тысячным пациентом, получив поэтому небольшую скидку, и начался длительный мучительный период страданий за красоту, продлившийся почти полгода. Зато, когда всё благополучно завершилось, Яшины новые зубы выглядели просто потрясающе. Он действительно стал обладателем знаменитой «голливудской улыбки», так что гостивший у нас Яшин старинный друг из Киева, тот самый, у которого перед отъез-

дом была куплена скрипка «Пика», то и дело завистливо приговаривал: «Яша, дай мне хоть свои старые зубы поносить, зачем они теперь тебе!» Счастливый, мой супруг решил продемонстрировать мне обновку еще и в действии. Для начала он на моих глазах откусил и с хрустом разжевал огромный кусок жёсткого яблока вместе с толстой кожурой, а потом, видимо, от полноты переполнявшего его чувства радости, которым спешил со мною поделиться, вдруг внезапно укусил меня своими драгоценными челюстями за ногу! От неожиданности, испуга и боли я аж взвизгнула: силу презентационного укуса он явно не рассчитал – так, наверное, кусаются лошади... Ну да поделом мне, видно, Бог за неверие наказал – нечего было его отговаривать!

В то время в Германии было модно устраивать ежегодные отраслевые корпоративные балы: бал прессы, балы ювелиров, работников водоснабжения, общества автомобилистов, и даже бал гомосексуалистов и трансвеститов. Эти мероприятия проводились весьма помпезно, с привлечением лучших артистов, и проходили не только в Берлине, но и в других крупных городах. Очень часто на них приглашали и «Я-Ка-Ша». Запомнился, например, «оперный бал» в старинном здании франкфуртского оперного театра. Ансамбль в количестве двадцати одного человека был доставлен туда комфортабельным автобусом, в котором были и туалет, и телевизоры, и даже бар, впрочем, возле бара бдительно сидел Яша, так что музыканты только облизывались... Известнейшие на весь мир артисты, такие, как Мильва, выступали в большом и малом залах Оперы, а «правил бал» популярная телезвезда Томас Готтшалк. «Я-Ка-Ша» же, помимо запланированного сольного выступления, обеспечивал музыкальный приём публики в огромном фойе.

Билеты на бал были очень дорогими; сюда съехался весь немецкий бомонд. Когда мужчины в безукоризненных фраках и дамы в изысканных бальных платьях прибывали в фойе, они не просто проходили мимо «Я-Ка-Ша», а останавливались и подолгу слушали Яшину музыку, и поднимались по мраморной лестнице в зал уже в хорошем, праздничном настроении...

А однажды произошел забавный случай, когда Яша перехитрил одного из самых хитрых и прижимистых воротил немецкого бизнеса. В Берлине широко праздновалось 750-летие основания города. В течение нескольких дней повсюду проводились посвященные этому событию мероприятия, которые щедро финансировал берлинский Сенат. В театре оперетты Theater des Westens по этому случаю был устроен грандиозный бал, куда был приглашен ансамбль «Я-Ка-Ша». Он открывался Яшиной песней о Берлине, которую трогательно исполнила девятилетняя девочка в умопомрачительном платье стоимо-

стью в десять тысяч марок, пожертвованным знаменитым берлинским дизайнером.

Организация бала была отдана на откуп кинопродюсеру и бизнесмену Артуру Браунеру. Он не только финансировал развлекательные фильмы и все популярные в свое время югославские вестерны про индейцев с Гойко Митичем, но и работал с крупнейшими режиссерами мирового кино, такими, как, например, Клод Шаброль или Иштван Сабо, и голливудскими актерами. Еще в 1946 году он основал в Берлине собственную кинокомпанию, и на его счету десятки кассовых фильмов.

О скупости этого человека ходили легенды. Он запросто мог пригласить для съёмок известного американского актера, по ходу дела уговорить его сняться параллельно во втором фильме, продолжении, но заплатить только за один, так что тому приходилось чуть ли не год летать в Берлин в суд, чтобы наконец получить недостающие сто тысяч долларов своего гонорара. Но и это еще не предел: в газеты попала анекдотическая история о том, как в деревне для съёмок какого-то эпизода была взята напрокат корова. Когда эпизод был отснят, продюсер распорядился: «Я заплатил за целый день. Подоите ее!»

Цены на билеты на бал он назначил астрономические – по тысяче марок, поместив в «Моргенпост» анонс о приглашенных якобы к участию в концертной программе крупных звездах Голливуда... Так вот, когда Яша подписывал с ним контракт, хорошо зная, с кем имеет дело, он настоял на выплате гонорара заранее – под благовидным предлогом, что музыкантам по такому случаю надо бы пошить новые костюмы. И – как в воду глядел: из Голливуда, конечно, никто не приехал, выступали какие-то артисты, которых теперь и не вспомнить, и никто из них своих денег так и не получил. Так что деловое чутье не подвело Яшу и на этот раз!

Однажды к нам в гости пришел молодой телережиссер из Саарбрюкена, снимавший цикл коротких получасовых познавательных документальных фильмов о разных городах мира, весьма популярных среди домохозяек. Для съёмок своего нового проекта он собирался на этот раз на мою родину, и попросил «Чертовского скрипача» из Одессы поподробнее рассказать ему о нашем любимом городе. Мы с Яшей, перебивая друг друга, взалхб рассказывали об истории, о знаменитых архитектурных памятниках и прочих достопримечательностях, подарили ему несколько альбомов и иллюстрированных книг. Но оказалось, что, не один день просидев в библиотеке, он знал всё это лучше нашего, и хочет понять, что же такое живая душа города, тот неповторимый одесский колорит и юмор, о котором он везде читал. И тогда

Яша сказал, что по работе в филармонии он хорошо знаком с кореным одесситом, известным писателем-сатириком Михаилом Жванецким, который сейчас живет в Москве. Если только удастся с ним встретиться, об одесском юморе и колорите лучше никто не расскажет...

Через некоторое время режиссер этот позвонил нам из Одессы. Он сказал, что встречался в Москве со Жванецким и включил фрагменты разговора с ним, а также Яшину музыку, в свой фильм, благодаря чему тот получился цельным и именно таким, как был задуман. Ещё он сообщил, что пригласил Жванецкого к себе в Саарбрюкен для участия в премьерном показе, и даже уже согласовал его выезд в ФРГ, и очень Яшу благодарил.

Жванецкий приехал и остановился у этого режиссера. С Яшей они часто перезванивались, и уже через несколько дней, писатель начал жаловаться, что показ прошел, режиссер всё время бегаёт по своим телевизионным делам, а он от тоски совсем уж скис – сидит в квартире один. Что ему непонятно, что, как и куда включается, где что стоит, города не знает, языка не понимает, общаться не с кем... Яша тут же сказал:

– Миша, так в чем дело – бери билет и приезжай к нам, мы тебя примем, всё покажем. Здесь куча одесситов, общаешься!

– Но ведь у меня нет визы в Западный Берлин, из ГДР не пропустят, – засомневался тот.

– А ты лети самолетом! А чтобы окупить билет, я тебе концерт устрою, тут же тебя все знают, – ответил мой муж.

– Концерт? Ну, разве что человек на сто... – согласился, наконец, Жванецкий.

Яша пошел в Еврейскую общину и договорился о выступлении модного сатирика, считавшегося тогда несколько оппозиционным советским властям. Но нам в тот же день позвонили и сообщили, что высшее руководство Общины по только ему известным причинам посчитало проведение такого концерта в своём зале нецелесообразным. Яшу это ничуть не обескуражило. На следующий день он поехал в роскошный отель «Кемпински», расположенный прямо напротив здания Общины, и арендовал в нем зал. Цены за вход он установил весьма умеренные, и поэтому буквально за пару дней продал целых шестьсот (!) билетов, собрав наличными сумму, многократно превышавшую обычный концертный гонорар Жванецкого, который тот назвал ему по телефону. Из этих денег он снял для Миши номер в том же отеле, так что необходимость ютиться в нашей квартире на диванчике для него отпала. Уверена, что в такой комфортабельной гостинице он до этого ещё никогда не жил.

Так Жванецкий впервые приехал с концертом в Берлин. Мы встретили его в аэропорту, отвезли в гостиницу. Концерт прошел «на ура», Яша выплатил ему весь сбор, не оставив себе ни пфеннига, и устроил для него ещё пару частных выступлений. Мы приняли его у себя, и несколько дней возили по Берлину, показывая достопримечательности и помогая тратить деньги. Я устраивала ему по цене производства покупку каких-то дублёнок в своей фирме, Яша помогал выбирать аппаратуру, Боря работал персональным шофером – короче, все носились с ним, как с писаной торбой...

У Яши как раз был намечен ответственный концерт в Международном Конгресс-центре, том самом, где когда-то состоялось первое выступление «Я-Ка-Ша», и он пригласил туда Жванецкого: «Приходи, Миша, увидишь теперь и ты, чем я занимаюсь!» Он заказал для него лучший столик с отличным меню. Но Жванецкий, увлечённый, как поговаривали, соблазнами ночной жизни Берлина, на Яшином концерте не появился, даже не соизволив хотя бы для приличия предупредить по телефону! Такой чёрной неблагодарностью Яша был возмущен до предела, и смертельно обиделся, да так, что больше и слышать о нём не хотел. Когда Жванецкий звонил, Яша отвечал сухо и односложно, так что тот сразу почувствовал полное охлаждение. Однако, когда через несколько дней пришла пора лететь назад в Саарбрюкен, чтобы возвращаться оттуда в Москву, оказалось, что его новые знакомые уже потеряли к нему интерес, и он снова остался один. И Яша, несмотря ни на что, всё-таки проводил его в аэропорт.

«Яша, когда я в следующий раз приеду в Берлин, я обязательно буду ходить на все твои концерты!» – прочувствованно пообещал великий литератор.

...Так случилось, что через несколько месяцев нам суждено было поехать в Одессу, и там мы пошли в Дом актера на «капустник». Все, кто знал Яшу, радостно бросались к нему, обнимали, расспрашивали... В зале оказался и Михаил Михайлович Жванецкий. С самодовольно-скучающим видом уставшего от славы общепризнанного гения он издалека равнодушно помахал Яше вялой пухлой ручкой, как человеку, лицо которого вроде знакомо, да вот имени-то и не припомнить... Грустно и жалко – хороший ведь писатель...

Карл Абрагам

**ДРАМА
ДОКТОРА ДЁБЛИНА**



А. Дёблин

В июньском номере «Еврейской газеты» за 2007 год была опубликована статья Марка Шейнбаума «Открытие нации», посвящённая литературной деятельности писателя-экспрессиониста Альфреда Дёблина. Статья знакомит читателя с краткой биографией писателя и переводом на русский язык фрагментов из его книги «Путешествие по Польше». Кроме этого в статье есть упоминание о том, что Дёблин по образованию был врачом и имел свою практику в берлинском районе Lichtenberg.

В кратком немецком энциклопедическом словаре за 1932 год о Дёблине сказано буквально следующее: «Дёблин, Альфред, *10.08.1878, врач и писатель (именно, в таком порядке – К.А.); роман «Берлин, Александерплац».

В доступной литературе на русском языке мне не удалось обнаружить каких-либо материалов о врачебной деятельности Дёблина. Мне казалось, что русскоязычному читателю было бы интересно ознакомиться с этой стороной жизни писателя, оставившего заметный след в немецкой литературе первой половины двадцатого столетия..

Альфред Бруно Дёблин родился в Штеттине 10 августа 1878 года в еврейской семье. Отец его был владельцем портновской мастерской. Когда мальчику исполнилось 10 лет, семья переехала в Берлин. К

тому времени отец бросил семью и уехал с молодой белошвейкой в Америку, оставив на попечение матери четверых детей. Альфред рос застенчивым, впечатлительным ребёнком. Не во всех детских играх он принимал участие. Неприятные переживания возникали у него при игре в «Доктора». Он находил в этом нечто постыдное.

Писать Дёблин начал ещё в школе, но ничего из написанного им в те годы не сохранилось. К литературе и ее авторам будущий писатель относился более чем прохладно. После окончания гимназии Альфред поступил на медицинский факультет Берлинского университета. Студент-первокурсник наряду с другими предметами изучал, как и положено, анатомию. Каково же было удивление молодого человека, когда он, посещая анатомический музей, впервые в жизни обнаружил половые различия между мужчиной и женщиной!

В 1905 году он стал врачом и в том же году защитил диссертацию на тему «Нарушения памяти при синдроме Корсакова»¹. Не трудно догадаться, что Дёблин решил стать врачом по нервным болезням и психиатрии. Его врачебная карьера началась в психиатрической больнице Регенсбурга. Это была огромная лечебница на 650 кроватей. Однако отношения с коллегами почему-то не заладились, и Дёблин перевёлся в психиатрическое отделение Берлин – Бух.

Позднее он с большой теплотой вспоминал годы, проведённые им среди душевнобольных. «Среди моих пациентов я чувствовал себя весьма комфортно, – писал Дёблин в одной из своих биографий. – Наряду с растениями, животными и камнями, я переносу только две категории людей: детей и умалишённых. И если вы меня спросите, какой я национальности, то я причисляю себя не к немцам и не к евреям, а к детям и сумасшедшим».

Пытаясь проникнуть в суть психических заболеваний, Дёблин обращается к психоанализу, но не находит там ответа на волнующие его вопросы. И тогда он приходит к мысли, что причина душевных расстройств кроется в телесных заболеваниях человека. В 1908 году он становится врачом терапевтического отделения одной из больниц Берлина и целиком погружается в лабораторную диагностику. Тогда, в начале XX-го века это было новомодно. Не следует забывать, что ещё в середине XIX-го века врач-терапевт, обследуя больного, располагал только термометром, шпателем и деревянным стетоскопом. Результаты клинических наблюдений и лабораторных исследований Дёблин публиковал в солидных медицинских журналах. Он автор 19-и научных печатных работ. Здесь, в больнице «Am Urban», Дёблин встретил «девушку своей мечты» – Эрну Райс – студентку медфака, бывшую на 10 лет моложе его. Не отягощая себя проблемами контрацепции,

Дёблин в дальнейшем произвёл на свет четырёх мальчиков. Ну, а если быть документально точным – пять. Дело в том, что у него был ещё и внебрачный сын от медсестры, которая работала в той же больнице, что и он. Рождение этого ребёнка произошло тогда, когда Альфред и Эрнэ были уже помолвлены. И хотя Бодо Кункель – внебрачный ребёнок Дёблина – рано ушёл из жизни, Эрнэ до конца дней своих не могла простить мужу «супружеской измены».

В 1911 году Эрнэ Райс вышла замуж за Альфреда. После заключения брака Дёблин должен был уволиться с работы. Таковы были условия трудового соглашения. Вначале молодой доктор открыл практику по внутренним болезням на Вльcherstr., что неподалёку от Hallesches Tor, а чуть позднее – по неврологии и психиатрии на Frankfurter Allee, в районе Lichtenberg. Это была рабочая окраина Берлина, где жили малообеспеченные люди. Посещая больных на дому, доктор Дёблин нередко сталкивался с чудовищной нищетой борющихся с нуждой пациентов. Практика просуществовала до 1933 года. Кассовые врачи в те годы оплачивались куда скромнее, чем сегодня. Для того, чтобы прокормить семью, приходилось, как бы сейчас сказали, «крутиться»: Дёблин писал научно-популярные статьи по медицине, имел свою колонку театрального критика в «Пражском листке», выступал на радио, одним словом, не чурался никакой работы.

Всю Первую мировую войну доктор Дёблин служил врачом в лазарете для заразных больных.

В большую литературу Дёблин вошёл довольно поздно, в 1915-ом году сборником рассказов «Убийство одуванчика». В том же году вышел его первый экспрессионистский роман «Три прыжка Ван-Луны», рассказывающий о восстании китайских кули на ленских золотых приисках в XVIII-ом веке (не путать с Ленским расстрелом на тех же приисках 1912-го года). Дёблин пробует себя во многих жанрах: кроме романов, он публикует рассказы, эссе, публицистику, пьесы, статьи по философии и религии. Таким образом, сочетая литературную деятельность с врачебной практикой, ему удаётся кое-как свести концы с концами. Что было для Дёблина важнее, литература или медицина? Об этом сказал сам писатель в одном из интервью: «Если бы мне пришлось выбирать между врачеванием и сочинительством, я бы выбрал медицину». К себе, как к литератору он относился довольно иронично. Но об этом чуть ниже.

В 1929-ом году в издательстве С. Фишера вышел в свет роман Дёблина «Берлин, Александерплац», сразу сделавший автора знаменитым не только среди литераторов, но и широкой публики. Не вдаваясь в содержание романа, заметим, что он избобилует

медицинскими терминами. Например, рассказывается о влиянии алкоголя на средний мозг, описываются, так называемые, фантомные боли, зрительные и слуховые галлюцинации, подробно излагается физиология пищеварения, обстановка в ординаторской психиатрической больницы, наконец, приводится подробнейший анализ смертности в Берлине за 1927-ой год. Книга тут же была переведена большими тиражами на другие языки. На Дёблина посыпались немислимые гонорары. Он перестал нуждаться, переехал в восьмикомнатную квартиру в западной части города и отказался от изнурительной работы кассового врача. Он решил остаться частнопрактикующим невропатологом. Очень скоро Дёблин понял, что совершил ошибку: теперь к нему приходили только обеспеченные пациенты. У бедных такой возможности не было. И он решил «отработать назад» и обратился в страховую кассу, чтобы его восстановили в статусе кассового врача. Однако в этом ему было отказано. Уже в 1932-ом году, ещё до прихода Гитлера к власти, врачи-евреи подвергались дискриминации.

Годы с 1929-го по 1931-й Дёблин считал самыми счастливыми в своей жизни. Этой фразой я мог бы закончить статью, так как врачебная деятельность Дёблина с приходом Гитлера к власти раз и навсегда закончилась. Но мне захотелось рассказать, как сложилась судьба доктора Дёблина после Второй мировой войны.

Буквально на следующий день после поджога Рейхстага семья Дёблина покидает Германию и поселяется во Франции. В 1936-ом году он и все члены его семьи получают французское гражданство. В 1940-ом году, с началом гитлеровской экспансии, семья бежит в Америку. В Европе остаётся сын Вольфганг. В специальной литературе



Скульптурный портрет
А. Дёблина. Установлен в фойе
центральной библиотеки района
Friedrichshain-Kreuzberg.
Скульптор – Siegfried Wehrmeister

об этом молодом человеке (1915-1940) иначе как о математическом гении не пишут. Заметим в скобках, что его отец дважды сдавал экзамен на аттестат зрелости из-за неудовлетворительных знаний по математике. Вольфганг проходил службу во французской армии. Страшась попасть в руки нацистов, он при приближении немецких частей, покончил с собой. Отец тяжело пережил потерю сына.

Находясь в изгнании, Дёблин жил в основном литературным трудом и на пожертвования меценатов.

В 1946-ом году Дёблин одним из первых деятелей культуры возвращается в Германию. Было ему в то время 68 лет, и о какой-либо врачебной практике и речи быть не могло. Да и там, в эмиграции, опыт врача-невропатолога востребован не был. Когда он вернулся, то обнаружил, что в этой стране он чужой, что Дёблина-писателя мало кто знает. «Я вернулся, – пишет он в газете «Badische Zeitung», – но вернулся не в ту страну, из которой уехал. Да и я уже стал не тем, кем был». Феномен общественного беспамятства можно объяснить, как мне кажется, следующим образом: стремительный взлёт писателя в конце двадцатых годов и исключительная популярность его в течение весьма короткого отрезка времени с последующим провалом в небытие на долгие двенадцать лет, привели к тому, что имя писателя было практически забыто. Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что за годы изгнания в Германии (да и не только Германии) выросло новое поколение. И это поколение книг Дёблина не читало.

Дёблин продолжает писать романы, статьи, воспоминания. Но жить на одни гонорары трудно. И он устраивается в администрацию французских оккупационных войск литературным редактором. В его задачу входит чтение рукописей, поступающих из различных издательств, с целью возможного обнаружения в них какой-либо крамолы. Рукописи самого Дёблина также подвергались проверке. Некоторые его произведения, такие как роман: «Валленштейн» и сборник рассказов: «Ноябрь 1918», по понятным причинам не были рекомендованы к печати. И это несмотря на то, что Дёблин имел французское гражданство. Все эти жизненные обстоятельства вызвали у доктора Дёблина тяжелую депрессию, за которой вскоре последовала целая череда болезней. В 1952 году он перенёс инфаркт миокарда, в следующем году у него диагностируют деформирующий полиартрит, чуть позже – болезнь Паркинсона. Совокупность этих заболеваний приводит к полной обездвиженности больного. Вначале у него откалывают ноги, затем – руки: он уже не может держать книгу в руках, его приходится кормить с ложки. С 1954-го года – это лежачий больной, нуждающийся в круглосуточном уходе. Последние годы он проводит

в клиниках и санаториях. Такого тяжёлого больного неохотно берут в стационар. Он ищет помощи во Франции, но там лечение и уход стоят дороже, чем в Германии. Дёблину это не по карману. Руку помощи протягивает ему Иоганнес Бехер – в прошлом поэт-экспрессионист, живущий в столице ГДР и занимающий там высокий пост министра культуры. Он приглашает Дёблина в одну из закрытых лечебниц Берлина, где ему будут созданы условия, о которых в Федеративной Республике можно только мечтать. Дёблин отклоняет предложение своего давнего приятеля. Что-то не хочется ему ехать в страну «победившего социализма»

Мотаясь из одной больницы в другую, он, наконец, остановил свой выбор на одной из окружных лечебниц Баден-Вюртемберга, в Эммендингене, что неподалёку от Фрайбурга. Университет Фрайбурга – его «alma mater», здесь он сдавал выпускные экзамены, здесь защитил диссертацию. В 1955-ом году исполнилось 50 лет со дня этого события. В связи с этим декан медицинского факультета вручил прикованному к постели Дёблину обновлённый докторский диплом, утерянный им во время войны.

Итак, Эммендинген – последнее пристанище доктора Дёблина на пути в небытие. Это было то, что он хотел. Больница располагала отделением для душевнобольных и тяжёлых инвалидов, нуждавшихся в постоянном уходе: «Я начинал с больницы для душевнобольных, – скажет умирающий врач, – и этим заканчиваю свой жизненный путь». Он умер 26 июня 1957 года от воспаления лёгких. Спустя три месяца Эрна Дёблин последовала за ним, покончив жизнь самоубийством. Супружеская пара похоронена в небольшой французской деревушке Усера, в Вогезах рядом с могилой сына.

Совершенно необходимое дополнение. В 2006 году, спустя 100 лет после защиты, диссертация Альфреда Дёблина: «Нарушение памяти при синдроме Корсакова» была издана отдельной книгой. Случай беспрецедентный в истории медицины! Некая Сузанна Малер, написала к ней послесловие, которое она озаглавила: «Поэзия забвения». Малер анализирует диссертацию Дёблина с точки зрения филолога, и вот к какому выводу она приходит:

«Диссертация доктора Дёблина является литературным открытием. Она предоставляет читателю возможность глубже заглянуть в поэтическое мышление автора, который обогатил современный роман знанием человеческой психики, как никакой другой немецкий писатель. О том, что Дёблина часто занимали медицинские вопросы, свидетельствуют его многочисленные литературные и философские тексты. В диссертации, написанной в 1905-ом году и посвящённой

нарушениям памяти при «Корсаковском» психозе, Малер обнаруживает связь между работой писателя и так называемыми конфабуляциями.² Дёблин неоднократно обращался к романистам и их критикам с рекомендацией «учиться у психиатрии». В этом смысле его диссертация со всей очевидностью показала, что в основе творческого процесса лежат хорошо забытые события. Другими словами, «забытое», находясь на уровне подсознательного, выступает как творческое начало». За эту работу Малер была удостоена учёной степени доктора филологии...

В заключение предлагаю перевод двух статей Дёблина, опубликованных в книге «Dцblin Patienten-Bibliothek», в которых автор оценивает работу Дёблина-врача и Дёблина-писателя, в форме монологов, обращённых к воображаемому редактору.

ДЁБЛИН – ПИСАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ ДЁБЛИНА – ВРАЧА

«Мне как врачу писатель Дёблин мало знаком. Если быть честным, то он мне вовсе не знаком. В восточной части Берлина я содержу средних размеров практику по нервным болезням и целый день занимаюсь обследованием и лечением больных. Мои литературные предпочтения довольно скромны. Книги напрягают меня невероятно, особенно те, которые написаны, как Вы заметили, писателем, который носит ту же фамилию, что и я. При случае я знакомлюсь с его книгами, когда бываю у своих приятелей. То, что я обнаружил, мне абсолютно чуждо, и безразлично. У этого господина, как мне кажется, неуёмная фантазия, постичь которую я не в силах. Мой заработок не позволяет мне отправиться ни в Индию, ни в Китай.³ Поэтому у меня нет возможности проверить то, что он там пишет. Гораздо интереснее читать об этих странах в оригинале, в описаниях путешественников. Этого господина, т.е. автора, я вообще не понимаю, особенно касаясь его стиля. Он мне просто слишком труден. Нельзя обречь изможденного человека на добровольное чтение такой литературы.

Впрочем, позвольте мне сделать одно общее замечание, имеющее, как мне кажется, политическое и(ли) этическое значение. Гораздо больше, чем книги, мне знакомы его случайные высказывания, публикуемые в газетах, которые я, разумеется, читаю. Должен признаться, что от чтения этих высказываний я не поумнел ни в плане политическом, ни в общем плане. После чтения этих заявлений нет никакого желания знакомиться с ним. Временами мне кажется, что он левых взглядов, весьма левых взглядов, можно сказать, левых в квадрате. Но проходит время, и он

выдаёт такие фразы, которые либо необдуманны, что в его возрасте недопустимо, либо делает вид, будто бы он занимает надпартийную позицию, посмеиваясь при этом с поэтической надменностью. Короче, благодаря случайному совпадению наших фамилий, именно Вы, господин редактор, решили выяснить моё отношение к этому автору, человеку с красной розой.⁴ Я бы никогда не стал это выяснять, равно как и с другими молодыми авторами. Хочу ещё раз подчеркнуть, что с этим господином я едва знаком, он не интересуется мной. Он мне ни свояк, ни, тем более, родственник. Вы предупредили меня, что собираетесь и ему задать несколько вопросов, чтобы выяснить его отношение ко мне. Я спокойно выслушаю его мнение. Его, как кому-то может показаться, забавные, часто несправедливые эскапады, оставят меня равнодушным».

ДЁБЛИН – ВРАЧ ГЛАЗАМИ ДЁБЛИНА – ПИСАТЕЛЯ

«Весьма благодарен Вам, господин редактор, за вопрос, который определённым образом заинтриговал меня. К пасхе, как Вам известно, мне приходится отвечать на всевозможные вопросы, от которых мне часто не по себе.

В настоящее время я занят работой над берлинским романом, который являет собою эпическое полотно, написанное обычным языком. События разворачиваются в восточной части города, в районе Александерплац и Розенталер тор.

Затем Вы обратились ко мне с просьбой высказать своё мнение о врачевропатологе, носящем ту же фамилию, что и я. Интересный вопрос! Я подумал, а что если встретиться с ним... Возможно мне удастся собрать дополнительный материал не только об Армии Спасения, о скотном дворе⁵ и тех фактах, которые я черпал из актов криминальной полиции. Я поехал к нему, и вот что я вам скажу: Господин производит впечатление жизнерадостного, неплохого человека. Я посетил его в часы приёма больных и обнаружил в комнате ожидания людей различных слоёв общества, которых себе только представить можно. Когда подошла моя очередь, я предстал перед ним, и мы усмехнулись, глядя друг на друга. Мы живём и работаем с ним в разных областях человеческой деятельности. Он начал рассказывать мне различные истории, некоторые из них я занёс с его разрешения в свой блокнот. Этим кассовым врачам не позавидуешь. Я наблюдал за напряжённой работой этого господина, к которому шли и шли больные, отмеченные особым недугом. Я убеждён, что он не представляет собой особый экземпляр врача этой специальности. Но именно эта безвестность его деятельности в этой области приглянулась мне особенно по

душе. Я поймал себя на мысли, что он моя полная противоположность. Я обратил внимание, как он разговаривает и как ведёт себя с больными. Как сказал один из моих издателей, я – танцор-одиночка, примадонна, он же – незаметный солдат невоюющей армии. Я убеждён, что не произвёл особого впечатления на моего тёзку. Несколько раз мне было не по себе, когда он смотрел на меня оценивающим взглядом психотерапевта. Я – носитель множества недостатков, возможно даже комплексов, и мой vis-a-vis, видимо, что-то заподозрил. Не сердитесь на меня, но я Вам признаюсь, что у меня достаточно оснований, чтобы особо не углубляться в знакомство с моим однофамильцем. Во время своего визита я ничего не утаил, но чувствовал себя неуютно, сидя напротив него. В это время на ум часто приходят всякие неприятные мысли. Но несмотря ни на что, этот худощавый, небольшого роста мужчина в докторских очках останется надолго в моей памяти. Я был бы Вам, господин редактор, безмерно благодарен, если бы Вы сообщили мне, что рассказал Вам обо мне этот незнакомец, для которого я никакой не «автор», а простой обыватель.

¹ Синдром «Корсакова» – органическое заболевание головного мозга, возникающее чаще всего в результате алкогольной интоксикации и приводящее к расстройству памяти.

² Конфабуляция – нарушение памяти, при котором её пробелы заполняются вымышленными событиями, принимающими форму воспоминаний.

³ Имеется ввиду роман Дёблина «Три прыжка Ван-Луна».

⁴ Здесь намёк на членство Дёблина в СДПГ.

⁵ Упоминаются факты из романа «Берлин, Александерплац».

Литература:

1. Альфред Дёблин «Берлин, Александерплац», ГИХЛ, Москва, 1961, 533 Стр.

2. Alfred Döblin «Arzt und Dichter» Газ. «Die literarische Welt» 28.10.1927

3. «Döblin Patienten-Bibliothek». Ausgeber Krankenhaus Am Urban, 1987, S. 32

4. Lüth, Paul «Alfred Döblin als Arzt und Patient», Hypokrates Verlag, 1985, S. 132

5. Mahler, Susanne, Nachwort zu Alfred Döblins Dissertation «Gedächtnisstörungen bei der Korsakoffschen Psychose» 2006, S. 91-106

Бронислава Фурманова

ЭВА

1994 год. Конец октября, тёплый, украшенный золотом листопада. В Германии мы три месяца. Живём в общежитии Арнсфельда. Ежедневно, после языковых курсов, ездим в Штеглитц, где муж работает смотрителем жилого здания. Работа скромная, но даёт возможность получить квартиру через два месяца. В один из дней муж сгребал опавшие листья у «нашего» дома. Мимо, опираясь на палочку, проходила пожилая, седая дама. Улыбнувшись, она что-то сказала. В ту пору наш немецкий был ещё ограничен, хотя благодаря знанию идиш, муж немного понимал немецкий. Не разобрав из сказанного дамой ни слова, он ответил: «Да, да».

– Sind Sie Russe?! – воскликнула она, продолжая о чём-то рассказывать. Начался небольшой дождь, но дама, раскрыв зонтик, увлечённо говорила. Потом удивлённо спросила, откуда он так хорошо знает немецкий. Путая немецкие и еврейские слова, он ответил, что почти ничего не понял. Эти встречи повторялись ещё несколько раз – дама жила в соседнем доме и часто выходила на прогулку. Мужу с трудом удалось объяснить, что мы пока не живём в доме, но к Новому году переедем. Дама записала на листке бумаги номер своего телефона, и отдала мужу, добавив, что мы непременно должны созвониться. В её доме скоро освободится квартира, и можно будет взять себе кое-что из мебели и некоторые необходимые вещи. Больше до Нового года муж её не встречал. Оказалось – она болела. Отгремели праздничные салюты и фейерверки, приведя нас в состояние лёгкого шока: Германия, немцы, стрельба. Обживая новую квартиру, из скромности, мы ей не звонили. Муж, человек ответственный, трудолюбивый, несмотря на праздничный день, вышел убрать следы ночного ликования. Я осталась дома – накрывать праздничный стол к обеду. Вскоре услышала его голос, и чей-то чужой. Муж вернулся не один – в сопровождении незнакомой дамы...

Когда она вошла, произошло нечто странное. Увидев меня, остановилась, её серо-голубые глаза округлились, из них полились слёзы. Длилось это минут пять, затем она быстро и эмоционально стала о чём-то рассказывать. Мы не знали, что предпринять. Единственное, что разобрали – лишь слово «Вера», многократно ею повторяемое. Оказалось, что я невероятно похожа на её любимую школьную подругу, еврейку Веру, которая в 16 лет в годы войны вместе с семьёй погибла в концлагере. Эва (так звали новую знакомую) многие годы искала её. Через еврейскую общину узнала, где и когда Вера погибла. (Позже, увидев впервые висевшую на стене у Эвы фотографию Веры, я убедилась, сколь велико было наше сходство). С этого дня Эва Лампе уже не расставалась с нами до конца своей жизни, повторяя, что Бог вернул ей её Веру. Она часто приходила к нам, но ещё чаще звонила. Запомнился курьёзный случай. Однажды, во время телефонного разговора, Эва о чём-то долго говорила, всякий раз задавая один вопрос: «Bin ich blöd?»² на что я вежливо отвечала: «Ja, ja». Проверив в словаре значение этого слова, я обнаружила, что Эва спрашивала, глупа ли она. По прошествии времени, когда я уже смогла ей это объяснить, мы долго смеялись, и при любом удобном случае она задавала мне тот же вопрос, на который неизменно получала тот же ответ. Эва была одинока, жаждала общения. Она любила долго говорить, делала это виртуозно, без пауз, найдя в нас внимательных слушателей. Благодаря ей, я быстро стала понимать, а затем и довольно сносно говорить по-немецки. С годами она открывалась мне всё больше, и я убеждалась в том, что она – необыкновенная женщина. Вот всего несколько эпизодов из её, богатой событиями, жизни. Она была незаконнорождённой, что в Германии в то время, в 1927 году, считалось почти таким же грехом, как быть евреем. Родители матери практически отказались от них, и первой колыбелью для младенца стала коробка из-под апельсин. В школе, с первых же дней, она подружилась с Верой. Эва не отказалась от этой дружбы и позже, когда дружба с евреями была под запретом, Она до конца осталась ей преданной подругой. Мать Эвы многие годы работала секретарём у доктора Ульмана, адвоката, еврея по происхождению, который нежно относился к любознательной девочке. Ему с семьёй пришлось бежать от нацистов. Они жили далеко от Германии, но связь с Эвой и её матерью не прервалась, и только благодаря его посылкам с продуктами и сигаретами, которые можно было обменять на хлеб, они пережили голод во время, да и после войны. Через всю жизнь Эва пронесла признательность к этому человеку и особое отношение к евреям. После войны семья доктора Ульмана возвратилась в Берлин. Обладая обширными связями, он помог Эве устроиться в Berliner

Bank,³ где она работала много лет. У Эвы сохранились письма доктора Ульмана. После его смерти она хотела передать их Еврейской Общине вместе со своими воспоминаниями об этой семье. К сожалению, при пересылке всё затерялось и не дошло до адресата.

Её первая любовь, мальчик из параллельного класса, не вернулся с войны. Пережила Эва и насилие над собой со стороны и русских солдат, и немецких. На долгие годы это потрясение лишило её желаний даже смотреть в сторону мужчин, и послужило причиной тому, что её мечте – иметь детей, не суждено было сбыться. Наверное, поэтому она привязалась к двум соседским детям, считала их своими внуками. Отъезд этой семьи из её дома стал для Эвы ещё одной потерей, хотя она и поддерживала с ними отношения. Своей она считала и нашу внучку, дав ей прозвище: Трикси. Потому что маленькая Лика, часто разыгрывая нас, звонила, и подражая голосу Эвы, долго говорила. «Моя немецкая бабушка» – так Лика называла Эву.

В юности, Эва мечтала о карьере оперной певицы, обладая прекрасным слухом и голосом. Чтобы оплачивать уроки вокала, разносила по домам тяжёлые пачки книг по заказам из книжных магазинов. Но что-то случилось с её голосовыми связками. После последовавшей операции голос не восстановился. Однако любовь к музыке осталась у Эвы навсегда. Случилась в её жизни и любовь, закончившаяся предательством. Потом – смерть отца, неизлечимая болезнь матери. Три года Эва ухаживала за ней, пока не дала согласие на отключение аппарата, поддерживавшего лишь видимость жизни. Угрызения совести не покидали её до конца жизни. Тогда-то и наступило полное одиночество. Но в сорок пять лет к ней пришла последняя, самая главная любовь. Он – талантливый художник, переехал в Австралию, куда Эва несколько лет летала, чтобы побыть с любимым. И он прилетал к ней. Наконец, он принял решение вернуться в Берлин, соединить их судьбы. Шли приготовления, заканчивался ремонт квартиры, составлялось меню праздничного обеда, строились планы совместной, счастливой жизни. До долгожданного момента оставалось два дня .. И вдруг... Сообщение о его скоропостижной смерти от инсульта. Её мечты и надежды умерли вместе с ним.

У Эвы была сводная сестра по отцу, которому она не простила предательства по отношению к матери, хотя и общалась с ним, безумно его любила, мечтая носить его фамилию. Но лишь к 18-летию он принёс документ о её удочерении. В ответ, разорвав его на мелкие кусочки, Эва объявила, что фамилия матери, Лампэ, для неё более почётна. Отношения Эвы со сводной сестрой никогда не складывались. После того, как Эве стало известно, что её муж служит в Штази,⁴ а его отец в прошлом – эсэсовец,

она стала и вовсе её избегать. Много раз между ними происходили ссоры. Сестра была яркой антисемиткой, нелестно отзывалась о докторе Ульмане, о других Эвиных друзьях и приятелях еврейского происхождения. Моральные принципы Эвы характеризует и такой факт: после смерти сводной сестры, оказалось, что та внесла Эву в список наследников, оставив ей 50 тысяч марок и бриллиантовое кольцо. Эва, при весьма скромной пенсии, ответила отказом на письмо о наследстве из адвокатской конторы, аргументируя его тем, что с антисемитами и нацистами никогда не имела ничего общего, не станет делать этого и впредь.

После возведения Берлинской стены Эва оказалась в его западной части, её родня – в восточной. Все годы, Эва посылала им посылки, в ответ не получая ни слова благодарности. Она была добрым, отзывчивым человеком, готовым по первому зову прийти на помощь. Мы часто шутили, что при переливании крови, которое когда-то ей сделали, несомненно, была влита «еврейская».

Много раз за свою жизнь Эва сталкивалась с nepopядочностью и предательством даже со стороны близких когда-то людей. Её доверчивость часто использовали. Был момент, когда она потеряла веру в человеческую порядочность. Узнав об этом, мне стало понятно, почему у неё на входной двери висела, обрамлённая в рамку, надпись: «Lieber Gott! Beschütze mich vor meinen Freunden; mit meinen Feinden werde ich selbst fertig».⁵

Однажды, накануне 8-го марта, когда я была у Эвы в гостях, она сказала мне, что не спала ночь из-за подушки, которую пора сменить. Я купила и принесла ей новую. Реакция Эвы меня потрясла! Уткнувшись в неё лицом, она долго и громко рыдала. Сквозь рыдания я смогла разобрать, что за всю жизнь никто из родных не сделал ничего подобного, не проявив о ней такой заботы. Она ценила любой акт внимания. То, что нам казалось само собой разумеющимся, у неё вызывало бурю эмоций. Эва любила книги, в том числе по еврейской тематике. Особенно те, где можно было от души посмеяться. Собирала еврейские анекдоты и с удовольствием их рассказывала.

К Рождеству она готовилась задолго, почти весь год. Покупала для подарков всякие милье мелочи, и никто из нашей семьи не оставался ею забытым. Когда всё было куплено, она аккуратно заворачивала пакетики своими скрюченными от подагры пальцами в красивую бумагу, получая от этого колоссальное удовольствие. Подписывая открытки, вкладывала в каждое слово частичку души, складывала всё в коробку, и с нетерпением ждала момента, когда подарки можно будет положить под ёлочку. Не меньшее удовольствие она получала, медленно разворачивая подарки от нашей семьи, иногда растягивая удовольствие на несколько дней. В такие моменты она чувствовала себя нужной, счастливой.

Множество ласковых имен она придумывала для меня. Когда узнала, что я родилась в Комсомольске на Амуре, окрестила: «Mein Sibirisches Bärchen».⁶ После трёх лет, прожитых в районе Штеглиц, мы переехали в район Тиргартен, где жили мои родители. Когда Эва узнала о нашем предполагаемом переезде, то впала в депрессию. С трудом удалось её убедить, что расстояние нашей дружбе не помеха. Так и произошло. С тех пор у нас появилась традиция – каждую среду многие годы я навещала её, иногда с мужем, привозила вкусные блюда еврейской кухни, которые она особенно любила. Мы вместе обедали, и Эва говорила, говорила, говорила.... В те дни, когда слушала концерты в филармонии, она задолго до начала приезжала к нам. А бывала она там часто, имея годовой абонемент. Мы вместе обедали, беседовали, а потом провожали её до филармонии, которая находится недалеко от нашего дома. Когда здоровье уже не позволило ей бывать в филармонии, она передала абонемент племяннику своего возлюбленного, навсегда оставшегося в Австралии. В память о своей любви, она долгие годы поддерживала с ним тёплые отношения. И он в свою очередь, когда Эвы не стало, в память о ней продолжает продлевать абонемент до сих пор. Недавно мы получили от него в подарок два билета в филармонию. На программке, приложенной к билетам, его приписка, о том, что зная о нашем отношении к Эве, он хотел бы, чтобы мы посетили филармонию. Мы сидели на местах, одно из которых, долгие годы занимала она, слушали симфоническую музыку, виртуозно исполняемую великолепным оркестром, и с грустью вспоминали то время, когда в нашей жизни была Эва. Ещё одна традиция была заведена ею в своё время. Ежедневно, ровно в семь вечера, она звонила, чтобы пожелать нам спокойной ночи. Волновалась, если нас не было дома, а мы её не предупредили. Автоответчик взрывался от отчаяния, звучавшего в её голосе. Мысль, что с нами может случиться что-то плохое, приводила её в ужас. Ещё долгое время после её ухода, когда часы показывали семь, а телефон молчал, мои глаза наполнялись слезами. В самом начале нашего знакомства она показала нам картину, висевшую на самой большой стене её крохотной квартирki. Копия работы немецкого художника Клауса Майера была единственной дорогой для неё реликвией – памятью от деда, единственного родственника, который хорошо к ней относился. По прошествии многих лет нашего с нею общения она попросила, чтобы мы забрали картину к себе и сохранили. Так картина оказалась у нас. По мере того, как Эва стала больше болеть, наши посещения участились, мы помогали, чем могли. Сила воли у неё была огромная. Преодолевая сильные боли, каждый день она спускалась с четвёртого этажа без лифта, отсчитывая 68 ступеней, каждая из которых доставляла ей неимоверные страдания. Взяв почту, либо сделав маленькие покупки, проделывала тот

же путь обратно наверх, повторяя, как заклинание: «Ich schaffe es. Ich muss».⁷ Порой подъём занимал минут сорок.

Часто раздавался звонок и Эва говорила: «Ich brauche dich».⁸ Это случалось, если ей особенно бывало плохо морально. Я всё бросала и мчалась к ней. Она включала классическую музыку, и мы слушали её молча. А потом Эва говорила, говорила, говорила... В начале февраля 2011 года, в результате неудачного падения, она оказалась в больнице с переломом плечевого сустава. После сложной операции пошла на поправку. Перед переводом в реабилитационную клинику Эва заразилась каким-то вирусом. 6-го марта я перевезла её в эту клинику и устроила там. Перед своим уходом пообещала, что завтра непременно буду. Взяв меня за руку, Эва крепко сжала её и сказала: «Ich bin so glücklich, das ich dich habe, mein Sibirisches Bärchen!».⁹ По дороге домой, как когда-то накануне 8-го марта, я купила ей маленькую подушечку, чтобы ей было удобнее спать в больнице. Но, рано утром следующего дня нам позвонили и сообщили, что ночью у неё поднялась высокая температура. Приняв лекарство, она уснула. Во время сна сердце её остановилось. Именно о такой смерти она мечтала – хоть одной её мечте суждено было сбыться.

За несколько лет до этого, она сказала нам, что заключила договор с фирмой обрядовых услуг, оплатив все расходы, и завещала, что когда придёт час – захоронить её урну анонимно. На наш удивлённый вопрос: «Почему?», ответила, что не хочет после своего ухода доставлять нам хлопоты, так как знает, что кроме нас за могилой ухаживать никто не будет. Что не хочет цветов – раз в год – от оставшихся родственников, ведь при жизни они никогда ей их не дарили. Приезжая на кладбище, мы отсчитываем шесть шагов от одного, примеченного нами места, восемь от другого, и находим заросший травой кусочек земли, где покоится урна с прахом Эвы Лампэ, немки с еврейской душой. Мы, конечно же, приносим цветы, потому что дарили ей их и при жизни. Эва часто говорила, что Бог вознаградил её на старости, и в нашем лице она обрела семью, которой у неё никогда не было. Я не знаю, кого Бог вознаградил больше. Думаю – нас. Взглянув в очередной раз на картину, которой так дорожила Эва, я подумала, что сюжет, изображённый на ней, очень напоминает наш Клуб «Литературы и искусства». И поняла, что лучшего места для неё, чем в Клубе нет. Уверена – Эва была бы довольна и горда этим.

ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ 53-го

Дальний Восток. Комсомольск на Амуре. Осень 1953-го. В очередной раз, приехав к месту нового назначения мужа – майора Дальневосточного Военного Округа, мама, измученная долгой и тяжёлой дорогой с Украины,

ночью, прямо с вокзала поехала в ближайшую больницу. Моему старшему десятилетнему брату Лёне в дороге стало плохо. Он плакал, жалуясь на боли в боку.

Дежурный врач, осмотрев брата, успокоила маму, сказав, что никакого повода для беспокойства нет – возможно, воспаление аппендикса. Мальчик должен остаться в больнице. Утром придёт хирург и решит, что делать дальше.

С трудом добравшись до служебной квартиры (отец из-за военных учений не смог встретить семью на вокзале), мама уложила спать мою сестру и второго брата и, наскоро разложив вещи, с тревогой стала ожидать наступления утра. С первыми лучами солнца она поспешила в больницу.

Назвав дежурной сестре фамилию, мама, по её выражению лица, поняла – что-то случилось. Всё было, как в тумане: маму куда-то вели, о чём-то говорили, давали выпить лекарство. Её сердце как будто остановилось. В голове стучало: «Моего мальчика больше нет».

Диагноз, озвученный врачами: «Перитонит. Всё, что могли, они сделали. Но, увы...»

Старший сын. Красивый, голубоглазый, жизнерадостный мальчик. Он мечтал о новых друзьях, хотел увидеть невероятно красивую природу Дальнего Востока. Его больше не было...

На самом деле его звали Иосифом. Но маме очень нравилось имя «Лёня» и она называла его только так. И вскоре он для всех стал Лёней.

Нет смысла описывать горе родителей. Это – незаживающая рана. Возможно, только моё рождение (через несколько месяцев) чуть-чуть притупило горечь утраты. Нужно было держаться, найти в себе силы жить ради остальных детей. Жизнь есть жизнь. Она стала входить в свою колею.

Однако, судьба преподнесла родителям новое испытание – заболела моя сестра, теперь старшая из детей. Диагноз, поставленный врачами, их напугал: «Симптомы астмы. Нарушение функции щитовидной железы из-за нехватки йода в регионе». Врачебный совет – перемена климата.

Рисковать здоровьем дочери родители не могли. И отец, прослужив в армии около двадцати лет, подал рапорт о переводе в другой округ. Несмотря на столь вескую причину, его просьба была отклонена. Прекрасно понимая, что в дальнейшем он не сможет получать военную пенсию, отец уволился в «Запас». И наша семья переехала в окружённый горами, солнечный Пятигорск, климат которого был так необходим моей сестре.

Содержать семью с тремя детьми отцу было тяжело – наступили трудные времена. Выделенное в подвальном помещении временное жильё было сырым, в углах сочилась вода. Маме приходилось прилагать невероятные усилия, чтобы как-то обустроить жилище.

И, вдруг, очередной удар. Самый страшный – письмо из прокуратуры Комсомольска на Амуре. В нём сообщалось, что смерть Лёни была «организована» тем самым дежурным врачом – женщиной, возможно, тоже матерью, которая оставила его в больнице, и приветливо улыбаясь, уверяла маму, что причин для волнений нет. Она намеренно, при приступе аппендицита положила ему горячую грелку, вызвав тем самым перитонит, от которого Лёня умер. А ведь когда-то она давала клятву Гиппократа, и действительно «сделала всё, что смогла», убив десятилетнего мальчика.

Лёня оказался семнадцатым в списке ею «убиенных» лишь потому, что по происхождению был евреем. Таков был итог пятнадцатилетней деятельности этой убийцы, представителя самой гуманной профессии на земле. Родители не смогли поехать в Комсомольск на Амуре для дачи показаний в суде. Мне было тогда шесть месяцев, брату – около пяти лет, старшая сестра болела. У отца, на нервной почве, открылась язва желудка.

Известие, что «лжеврач» осуждена на двадцать пять лет тюремного заключения, не принесло облегчения ни моим родителям, ни родным шестнадцати загубленных детей. Мой старший брат, не успев ещё осознать, что означает быть евреем, погиб только потому, что был им.

На протяжении всей жизни мы часто слышали эту трагическую историю о судьбе брата, портрет которого всегда висел над постелью родителей. Всмотриваясь в портрет, в большие голубые глаза брата, которого никогда не видела, я, казалось, читала застывший в его глазах вопрос: «За что?»

В память о потерянном сыне, родители всегда в день его гибели зажигали свечу.

Прошли годы... Пятигорское лето в разгаре, и со двора доносится весёлый гомон детворы. Мама, выходит на балкон и ласково зовёт: «Лёня, Лёничка! Обедать». В дверях появляется мальчик с большими чёрными глазами – внук. Когда родился мой сын, сомнений в выборе для него имени не было, и у моих родителей вновь появилась возможность с любовью произносить это дорогое им имя.

¹ «Вы русский?»

² «Я глупа?»

³ Берлинский банк;

⁴ Аналог КГБ;

⁵ «Дорогой Бог! Защити меня от моих друзей. С моими врагами я справлюсь сама»;

⁶ «Мой сибирский медвежонок»;

⁷ «Я сделаю это. Я должна»;

⁸ «Я нуждаюсь в тебе»;

⁹ «Я так счастлива, что ты у меня есть, мой сибирский медвежонок!»

Борис Э. Альтшулер

**РУССКАЯ «БЛАТНАЯ ФЕНЯ»
И НЕМЕЦКАЯ «КРАСНАЯ РЕЧЬ»**

*«Но к сожалению — старинной словесности у нас не существует.
За нами темная степь — и на ней возвышается
единственный памятник: Песнь о Полку Иг.<ореве>
Словесность наша явилась вдруг в 18 столетии, подобно
русскому дворянству, без предков и родословной». А.С. Пушкин о
русском языке, 1830 (1) «Межь воровъ во множестве употребляются
слова еврейскаго происхождения».
«Наставление по полицейскому делу». СПб 1892*

Идиш и иврит-арамейский — языки ашкеназим, европейских, как полагают исследователи, большей частью немецких или из Германии и Западной Европы происходящих евреев, которые после их изгнаний в высоком и позднем средневековье широко распространились в еврейской среде. Евреи — народ консервативный, сохраняющий свои языки и свою социологическую характеристику — язык, одежду, музыку и т. п. Если уж они что-нибудь перенимают у другого народа как, например, ортодоксальные евреи — одежду польских магнатов и шляхты давно прошедшего начала Нового времени, то придерживаются заимствований очень долго. Идиш на 70% состоит из германских, в основном немецких слов; приблизительно 20% приходится на иврит, оставшиеся 10% делят между собой славянские и тюркские заимствования, хотя имеются незначительные включения других языков, например, цыганских(2). Грамматика сохранила черты

средневысоконемецкого правописания, тогда как сам современный высоконемецкий значительно усложнился, особенно под влиянием творчества Иоганна Вольфганга фон Гёте.

Ивритские и арамейские слова русской «*блатной фени*» и немецкой «*красной речи*» не сохранили своего оригинального древнего, семитского произношения и звучат странно для знатоков современного иврита. На это указывает Дан Михаэль: в языках евреев Центральной и Восточной Европы – иврит-арамейском и идиш – не сохранилось оригинального произношения священного языка, на идиш *лойшенкойдеи*. Уже в Талмуде мудрецы жаловались на то, что многие искажают произношение священных текстов. В разделе Ирувин (лист нун гимел–аин бет) содержится рассказ о жителе Галилеи не произносящем гортанных звуков (ларингалов), что плохо удаётся и сегодня новым репатриантам-ашкеназам, особенно из Восточной Европы и США в Израиле. Талмуд рассказывает, как этот галилеянин путает произношение ивритских звуков *аин* и *алеф*, а также неправильно произносит фонему *ħet*. Похожий рассказ содержится в трактате Брахот (лист ламед бет–алеф аин). Ученики мудреца рабби Элизера обвиняются в том, что не умеют произносить гортанные семитские звуки правильно «לִיְיִנֵּעַ וְנִפְלֵא לִירוּק אֶל» «*Не читать (ученикам мудреца) алеф вместо аин и аин вместо алеф*». Более того, Талмуд сообщает, что в некоторых местах жителей Бейт Шеана, Хайфы и некоторых других городов не допускали к молитве в синагоге, поскольку они неправильно выговаривали звуки/фонемы:

Не допускать молиться перед ковчегом Завета (Торой) ни людей из Бейт-Шеана, ни людей из Хайфы, ни людей из Тивона, поскольку они читают вместо алеф – аин, а вместо аин – алеф : הביתה ינפל וידרום ויא ייניעלו ויפלא לירווק אלו הפיה תיב ישנא אלו ושא תיב ישמא אלו ויפלא (Раздел Мегила, лист каф далет–аин бет).

Другими словами, в Талмуде сообщается о том, что израильтяне из Галилеи сохранили своё оригинальное произношение иврита Северного Царства, Израила/Самарии, несмотря на то, что его разгром и последовавший за ним экзодус на Кавказ и в Великую Степь к моменту написания этих пассажей лежал как минимум тысячу лет назад, в 722-710 гг. до н.э.(3). Самарийское произношение было сохранено европейскими евреями в арамейско-ивритской артикуляции языка молитв и в языке идиш. Кирилл и Мефодий приезжали в конце IX в. в Крым, в Хазарию, учить этот язык, где между делом нашли для себя еврейскую книгу на созданном местными евреями, «самарянами», новом языке с новым незнакомым шрифтом. Так что

слишком надрываться над созданием славянских шрифтов, глаголицы и кириллицы, «солунским братьям» не пришлось. Всё уже было давно готово для создания новой славянской азбуки...

Традиционное положение о влиянии германских древнескандинавских языков на язык русский в этом отношении не исключение. Так, например, упомянутое в литературе «скандинавское» заимствование титулатуры князь, царь и т.д. оказывается на проверку арамео-ивритским. Ивритская титулатура *Һеназ/кеназ* появляется в русском языке, как князь/принц, а в немецком, возможно, как Гнезен (Gnesen), – в названии населенного пункта, где располагался двор польской королевской династии Пиастов, – в антропонимике, возможно, как фамилия и топоним Гнаузенauer (Gnausenauer) и т.д. Несмотря на многочисленные этимологические примеры, проблема влияния семитских языков, иврита и арамейского, на славянские языки большинством русских лингвистов в настоящее время игнорируется. Интересно, что даже по Льву Гумилёву эти семиты жили там в первом тысячелетии н.э., вначале в составе тюркской империи Великого Эля (Западнотюркского Каганата), а затем как иудейское государство Великая Хазария. Эта предшественница поздней Киевской Руси с государственной религией иудаизма просуществовала до 1016 г., года последнего неудачного восстания хазар под предводительством Георга Цул(о) против иноземных захватчиков, Поэтому утверждение, что такое влияние незначительно, попросту не выдерживает критики. Ещё в XII-XV вв. в источниках «Росией» называли побережье Азовского моря, долгое время бывшего под контролем итальянских колонистов, очевидно маранов, создавших там «остаточную Хазарию» – Газарию.

Как отмечают историки, древние племена славян, конечно, должны были ругаться, однако их ругань была по сравнению с тем, что произошло позже, сплошной невинностью, а сами ругательства заключались скорее в сравнении с домашними животными (корова, козел, кобыла и т.д.). Хан Батый (1208-1255) вёл в 1237 г. успешный завоевательный поход на Восточную и Центральную Европу. Его воины вышли тогда к Балтийскому морю, совершали опустошительные набеги на Австрию, Хорватию и Далмацию и дошли почти до Венеции. Золотая Орда «*татаро-монголов*» Великой Степи, сменившая Хазарский каганат, сумела в течение 300 лет (точнее 240 лет – 1238/1240-1480 гг.) создать новое политическое и культурное объединение народов Великой Степи, долгое время определявшее лицо Восточной Европы. Эти столетия не прошли для культуры России и развития русского языка бесследно. В странах Восточной Европы ругаются русским матом ещё и сегодня. Упрощённые представления о монгольско-татарском происхождении

русского мата(4), актуально не считаются научными. В Англии XII-го в., за столетие до похода Батгья оставил о себе память ученый р. Ица (Ицхак, Исаак) из Чернигова. О нём сообщают два источника: еврейский Сефер haШохам и английские Pipe-Rolls (1180-1182). Авраам Гаркави цитирует из еврейских источников:

Сказал мне р. Ица из Сригоб (Чернигова), что в Тирасе, т.е. в Руси, соитие называется ябум(5).

На этом примере он хотел объяснить значение вышеуказанного ивритского глагола *ябам/ябум* (Быт. 38:8 и Второзаконие 25:5-9 – Б.А.). В указанной цитате интересно упоминание топонима Русия, сегодня юга России и Украины, которое связано с другим ивритским определением региона – Тирас. По принятой этимологии Тирас – греческое название Днестра, второго по своей величине и значению гидронима. Тирас – сын Яфета и внук Ноя. Ашкеназ ТАНАХа (Быт. 10:3) – имя одного из сыновей Гомера, брата Тогармы и внука Иафета. Яфет (распространение) и Ашкеназ считаются предками всех народов диаспоры и тюркских племён. Учтём, что ивритский турх – аналог этнонима всем известного тюрка, но в значении всадник, наездник. Поэтому цитата из книги Абрахама Гаркави о р. Ица из Сригоб/Чернигова, что в Тирасе, может говорить о том, что так были названы река и древние десятиколенные владения сарматов (Тирас) вдоль Днестра. В этой связи логично предположить, что ивритский Тирас явился оригиналом для греческой кальки древнего еврейского топонима и гидронима Украины, а не наоборот.

Синонимы производимых в русском языке матерных слов, сопровождающие обычно язык простонародья и маргиналов, встречаются в западнославянском польском; в румынском, относящимся к романской макросемье, и даже в венгерском языках — последний далекий от славянских язык финно-угорской макросемьи. До нас дошли сочинения Пушкина, Некрасова, Гоголя и Маяковского, которые были не прочь ввернуть матерное слово. Все они так или иначе учились правильно излагать непристойные мысли у основателя этой специальной русской поэзии Ивана Семеновича Баркова (1732-1768) – классика русской эротической и матерной словесности. Известный русско-польский лингвист И.А. Бодуэн де Куртэнэ писал, что матерные термины, хотя формально являются существительными и глаголами, выполняют в языке функцию местоимений и местоглаголий.

Индосемитская теория и т.н. неомарризм – одни из наименее развитых и наиболее политизированных областей лингвистики.

Они практически игнорируются сегодня большинством российских учёных, несмотря, например, на то, что значительный страт русской ненормативной, обсценной лексики, *мата*, является ивритско-арамейским(6), как и само понятие тайного воровского языка — «*блатной фени*». Эта феня, которую удаётся проследить до XV века, была принесена на Русь загадочными «истинно русскими торговцами – офенями». А уж *офен* / אָפֶן на иврите – это порядок, способ. Некоторые исследователи считают, что на Руси проживал даже «офенский народ», исчезнувший почти бесследно и оставивший о себе память в русских былинах(7). Российские археологи не отрицают эту версию, но и «прямых подтверждений» пока не найдено(?). И это при том, что исчезнувший гипотетический «офенский народ» был наверняка народом хазарским, где средневековый иврит и древнетюркские языки служили для общения, а иврит был ещё и языком государственным. Офеням посвящена поэма Некрасова «Коробейники», а отрывок из первой главы поэмы положен на музыку и широко известен как песня «Коробушка» («Ой, полным полна моя коробушка»).

Новгородский архиепископ *Геннадий* (1484-1504), в миру Гонозов или Гонзов, был первым противником «*ереси жидовствующих*» позднего русского средневековья. Геннадий, точнее монахи под его руководством, впервые выделили библейские книги из хаотической письменной массы сборников, собрали их в один кодекс и тем самым заложили основу русской (Геннадиевской) Библии (1499). Кодекс, впрочем, не отличался со стороны языка даже единством текста. Примечательно, что один из фрагментов Геннадиевской Библии был переведен с иврита.

Итак, в XV веке „Росией“ в источниках называли побережье Азовского моря, долгое время бывшее под контролем итальянских колонистов, маранов, воссоздавших там «остаточную» Хазарию — Газарию. С началом конца Византийской империи и возвышением Венеции Константинополь перестал быть преградой на пути прохода итальянских судов через Босфорский пролив(8). Марко Поло, дядя и тёзка известного средневекового путешественника и автора, приобрёл около 1250 г. дом в Судее (Судаке). Позже здесь высадились его родственники и сам Марко Поло по пути в ставку татарского хана(9). В поселении Азака (на иврите *тревога, сигнал тревоги*) Азовской области существовал во времена итальянской колонизации Крыма еврейский квартал, называвшийся по итальянскому обычаю Гвидекка (Guidessa). Большая часть евреев, упоминавшихся в генуэзских источниках времён итальянской колонизации Крыма тех лет, носили адаптированные мусульманские или христианские имена: *Юсуф, Исмаил, Иоани, сын*

Андрея и т. д., а также итальянские имена(10). 1453 г. стал роковым в истории итальянских колоний: турки захватили столицу Византии Константинополь, установили контроль над Босфором – и путь из факторий в Геную был отрезан. Колонии, экономика которых переживала не лучшие времена, перешли под управление генуэзского Банка Сан-Джорджо. В 1475 г. итальянцы не сумели оказать должное сопротивление, и колонии были захвачены турками и татарами. Итальянские поселения просуществовали на территории Крыма и Приазовья как минимум более 200 лет, и всё это время развивались еврейские общины. Именно в этот период генуэзские мараны предприняли попытку реконструкции остаточного Хазарского каганата в Крыму, который они называли *Газарией*(11). Государством под топонимом «Россия» страна впервые начинает называться во времена Ивана Грозного.

Князь Захария/Схария, который согласно источникам принёс «ересь жидовствующих» на Русь и вёл во второй половине XV века, после поражения итальянцев и утери теми колоний в Крыму, переговоры с «князем Мускови» (Москвы), получил предложение включиться в состав Московского княжества. Захария от этого отказался, но, например, такой серьёзный израильский историк как Абрахам Поляк, которого непрестанно цитирует Артур Кёстлер, обоснованно считает, что приток «хазарско-еврейских элементов» на высоких постах Московского княжества мог быть одним из факторов, приведших к формированию еврейской ереси, «ереси жидовствующих», особенно среди дворянства и духовенства России конца XV – начала XVI веков, вначале в Новгороде, а затем даже каким-то еврейским влиянием на более поздний «раскол» (середина XVII в.), на русских раскольников и казаков, сохранивших иврит-ханаанскую составляющую церковнославянского и более позднего великорусского языков. А это в свою очередь сыграло роль в появлении секты «субботников», широко распространённой в XIX веке среди казаков и крестьян. История семьи Нарышкиных и некоторых уже ранее упомянутых в различных дискуссиях семей русских дворян иллюстрирует этот процесс.

Археологические исследования старых православных кладбищ из XVI-го в. на Украине выявили могилы многих еврейских конвертитов, получивших после крещения имена, практикуемые у неопитов и сегодня, например, *Иван Перекрестов*(12). Остатки и осколки движения *жидовствующих* известны в России Нового времени в XVI-ом в. и документированы особенно в конце XVIII-го и в XIX-ом вв. Во времена царствования Екатерины II секты и движение *жидовствующих* начали развивать собственную, необыкновенно высокую динамику и

массовость. Они появились в губерниях, городах и селениях, где до того зарегистрированы не были, например, в Москве, Туле, Орле, Рязани, Екатеринославе, Тамбове, Воронеже, Архангельске, Пензе, Саратове, Ставрополе и во многих других — вплоть до дальних казачьих станиц на Дону и Кубани(13).

Первый словарный материал об условном языке бродячих торговцев-офеней в России был зафиксирован в «Словаре Академии Российской» (1789–1794). В 1820-е годы в журнале «Московский телеграф» появились первые работы, посвященные условному языку волжских разбойников. В 1850-е годы В.И. Даль составил словарь «Условный язык петербургских мошенников». Граф Л.А. Перовский из Особого секретного комитета при Министерстве внутренних дел попросил Владимира Ивановича Даля в 1850-е годы составить словарь тайных языков, т. к. в России были найдены области, где отдельные слои населения говорили на языках, совершенно на великорусский не похожих. Это были не воры и не шпионы, а офени – торговцы-разносчики, которых еще называли коробейниками. Происходили они в основном из Владимирской губернии. Правительство усмотрело в языке офеней сходство с языком раскольников, который те употребляли в переписке. Даль с охотой взялся за дело и за год с небольшим завершил работу над офенско-русским словарем. Еще через несколько месяцев был готов обратный русско-офенский словарь, в который добавили лексикон костромских и нижегородских шерстобитов. В поздних языках офеней было, очевидно, велико влияние финно-угорских языков, что как предположение требует проверки лингвистов и филологов. Даль дает на этот вопрос однозначный ответ:

Офенский язык изобретен ходябичиками, разносчиками, чтобы свободнее изъясняться им при других о торговых делах, чтобы удобнее было обманывать простолюдинов. Примеры такого языка не редки.

Так говоря, Даль имел в виду и жаргоны мазуриков (воров), барышников и конокрадов в России, похожие по смыслу на арго в Германии, Франции и других странах. Тем не менее эти арго не приобрели той всенародной известности какую получила еврейская «блатная феня» маргиналов и присоединившихся к ним в конце XIX – начале XX вв. в тюрьмах и на каторге еврейских революционеров. В 1859 г. появился словник «Собрание выражений и фраз, употребляемых Санкт-Петербургскими мошенниками», в 1903 г. – «Босяцкий словарь» Ваньки Беца, в 1908 – словарь В.Ф. Трахтенберга «Блатная музыка. Жаргон тюрьмы».

Для нас, да и вообще для филологов и лингвистов, важнейшим из тайных языков является современная *блатная феня*, сохранившая большое присутствие ивритизмов и идишизмов. В этом отношении показательны статьи Марьяна Беленького о русской фене с великолепным, правда, требующим доработки глоссарием. Некоторые очевидные ошибки и опiski автора в немецкой лексике были мною корригированы.

Например, ботать – *בטא* - выражаться (наст. боте); *ביטוי* – битуй – выражение; феня – *פניה* – офен – способ. Ивритское *битуй беофен* стало в русском тайном языке «ботать по фене» – выражаться особым способом, непонятным для непосвящённых окружающих, «фраеров». *Frei* означает на идиш или немецком – свободен/-дна, фраер – свободный, вольный – тот, кто не сидит в тюрьме. Для блатного мир делится на своих – блатных, воров, – и на фраеров – цивилизных, не принадлежащих к воровскому миру. Последних дозволено обворовывать и обманывать. В этом значении слово фраер – простак, тот, кого можно обмануть, вернулось в современный иврит. *Ма ани, фраер?* – Что меня так просто обвести вокруг пальца?(14).

В отличие от этимологий М.Беленького надо указать, что *der Freier* в немецком языковом пространстве происходит из древневысокогерманского и означает жених, глагол *freien* – жениться. Немецкая идиома *auf Freiernfüßen* характеризует и сегодня человека, ищущего себе невесту или жену. Последние пару столетий понятием *der Freier* обозначают по-воровски и клиента проститутки. Через идиш этот калькированный смысл пришёл в русский язык и стал популярным среди блатных. Уже во времена царской России, а затем в советское время, с её гигантской пенитенциарной машинерией Гулага, в жернова которой мог угодить каждый, завершилось победное шествие еврейской блатной фени.

Блатной – *das/der Blatt* (немецкий, идиш) – лист, бумажка, записочка. *Das Tageblatt* – газета, буквально «дневной листок», сегодня частое наименование многих ежедневных газет Германии(15), в том числе и *Berliner Tageblatt*, – а также в Швейцарии. Сюда же относятся многочисленные *Dagbladet* скандинавских стран. Газета сатмарских хасидов в Нью Йорке зовётся на идиш «Дер блат» – *דער בלאט*. Кроме того *блат* – это ещё и карта, особенно та удачная, которая даётся партнёром в игре и должна помочь выиграть партию. В широком смысле блат означает записочку или рекомендательное письмо, а в сегодняшнем понимании – просто протекцию.

Об ивритских корнях воровского арго говорил ещё Мартин Лютер, знавший иврит ТАНАХа и переводивший из него. Многие

индогерманисты Германии как, например, профессор Роземари Люр из университета Йены, индогерманист и англист из университета Гамбург, профессор Кристоф Гуткнехт (Christoph Gutknecht)(16), исследователи языков вагантов Клаус Зиверт (Klaus Siewert), Рудольф Гланц (Rudolf Glanz) или профессор Роберт Ютте (Robert Jütte) в серьёзных публикациях о языках и социологиях средневековых маргиналов показывают интеракцию средневерхненемецкого языка с его выраженной иврит-арамейской компонентой. Похожую информацию можно найти в моей статье в 7 искусствах(17). Немецкая «красная речь» вагантов, Rote Rede или Rotwelsch, использует свои семитские лексемы в не меньшей степени, чем это делали русские офени, а также блатные и приблатнённые. При этом возникли композитные новообразованные слова из иврит-арамейских существительных (Substantiv) и немецких глаголов (Verb). К моменту возникновения «красной речи» евреев Германии, особенно среди неимущих во время и после Крестовых походов около 1250 года, власти стали изгонять бедняков из городов, и те были вынуждены несколько столетий, многими поколениями, прятаться в лесах вместе с христианскими маргиналами. Очень успешное в европейской и мировой культуре Нового времени немецкое еврейство было в основном потомками этих коллективов(18). Похожая ситуация сложилась в степях Украины и Южной России, особенно в итальянских колониях в Крыму и Приазовье, в «остаточной Хазарии» – Газарии после окончательного разгрома Хазарского Каганата в 1016 году и изгнания евреев из Киева веком позже, в 1113 году, киевским князем Владимиром Мономахом. Многие из них ушли тогда на черноморское побережье и в Крым, где нашли покровительство и защиту итальянских колонистов-маранов, а позже нишу существования у крымских татар.

Начало развития европейской еврейской национальной культуры и, возможно, языка идиш приходится на 801 г., когда в документах в первый раз упоминается некто *«Ицхок Абину из Ашкеназ»*, очевидно из германских стран времён побед Карла Великого над Аварией. Эти и другие свидетельства дали некоторым идишистам основания полагать, что язык идиш родился, как минимум, до 1100–1200 гг. на относительно небольшой территории земель Гессен и Рейнланд-Пфальц, при впадении реки Майн в Рейн. До Второй мировой войны, до Холокоста *Encyclopaedia Britannica* называла язык идиш седьмым языком мировой культуры(19). Имеются основания считать что развитие обоих германских языков, немецкого и идиш, шло параллельно с массивной интеракцией, особенно в период высокого средневековья и развития средневерхненемецкого языка. К примеру, версия близости баварского языка/диалекта с еврейскими языками Европы принята сегодня, не в последнюю очередь

благодаря немецкоязычным публикациям в самой Баварии, и вызывает интерес лингвистов и энтузиастов истории немецкого языка

Немецкий язык, особенно средневерхненемецкий, включает в себя кроме региональных разновидностей ещё и собрание диалектов «красной речи» – «Rotwelsch», которое где-то с 1250 г. служило для коммуникации евреев, нищих, воров, мошенников, разбойников и сутенёров в немецкоязычном пространстве. Он был тайным языком, однако согласно последним интерпретациям относится к специальным языкам, потому что создал основу идентификации для маргинальных групп.

Возможности кредитования сделок, которые имели финансовые элиты евреев средневековья среди географически отдаленных единоверцев, банкиров и купцов, сыграли решающую роль в развитии банковского дела и средневекового капиталистического, народного хозяйства. Короли и епископы высоко ценили значение элит образованных еврейских общин для экономики стран и городов. Им предоставляли привилегии, обеспечивали защиту жизни и имущества, гарантировали через охранные грамоты определенную свободу передвижения, как и свободу их коммерческой деятельности. В соответствии с каноническим правом было даже запрещено принудительное крещение. Сегрегация евреев в гетто была осуществлена в Германии после начала Крестовых походов, в XIII-XIV вв., после третьего и четвертого концилов (синодов) Латерана (1179 и 1215 гг.). С тех пор еврейские кварталы западноевропейских городов были отделены от остальных стенами и закрытыми воротами (за некоторыми исключениями, например, в Фюрте).

Михаил Носоновский пишет:

Автор фундаментальной «Истории языка идиш» Макс Вайнрайх, посвятивший целую главу внутреннему еврейскому билингвизму, различает Whole Hebrew (цитаты и фразы на иврите в идишской речи) и Merged Hebrew (гебраизмы, интегрированные в идише и изменяющиеся по правилам идиша). Вайнрайх отмечает, что функциональное различие между древнееврейским и идишем не было связано с предметом речи или личностью говорящих (оба языка могли использоваться для коммуникации на любую тему, как образованным человеком, так и простолюдином), но с тем, происходило ли общение в устной или же письменной форме. Он отмечает, что идиш, язык преимущественно женской литературы, именовался маме-лошн, в то время как иврит иногда называли фатершпрах. Противопоставление и единство мужского и женского начала – фундаментальная концепция иудаизма. Одним из первых о традиционном характере двуязычия у евреев заявил публицист на идише Шмуэль Нигер в книге: «Двуязычие в истории еврейской литературы» (1941 г.), в которой он призвал прекратить войну между «идишистами» и «гебраистами»(20).

О происхождении названия немецкого арго ясно высказалась профессор индогерманистики из Йены Роземари Люр (Rosemarie Lühr) в 1995 г. Определение Rotwelsch – «красный» для нищих – само по себе не является словом из Rotwelsch. Оно основано на средненидерландском, где rot – «красный» является обозначением для «ленивых». В нидерландско-французском (германо-романском) языковом конфликте «rot» средненидерландского стоял уничижительно в сочетании и стыковке «rot waalsch» для «грязного французского», что в свою очередь придало в коннотации с рифмой «valsch» специальный оттенок «мошенническим словам». Диахронически «rot waalsch» проник из Фландрии, где он был определением для франкоязычных валлонов, в верхненемецкий и средневысоконемецкий и как вокабуляр языка поэтов и трубадуров, что подчёркивает влияние нидерландского на развитие средневысоконемецкого языка. Одним из таких первых средневековых миннезингеров был выдающийся немецкий поэт и врач высокого средневековья, еврей Зюскинд из Тримберга (Süsskind von Trimberg). Так как в случаях влияния языков Нидерландов в Германии не было оснований для романо-германского языкового конфликта, то добавление возбужденной через «valsch» этимологии было бесппроблемно использовано в лексике. Определение «rot» – грязный в родительном субъективном падеже (Genetivus subjectivus) переместилось в начало действия, перед составной «нищий», для того, чтобы придать смысл определению «мошеннический язык нищих».

Интерес к деклассированным элементам общества чётко проявился в Европе в XV веке. К этому времени относится первый закон против нищих (Вена, 1443). С начала XV века появляется ряд материалов о нищих, бродягах, разбойниках и их тайном языке в Германии. Во Франции, где влияние иврита и идиш на язык преступного мира было намного слабее, чем на территории Германии, первый словарь воровского жаргона появляется в XV веке. Тогда же Франсуа Вийон стал писать баллады на «цветном (воровском) жаргоне», которые стали первым циклом художественных произведений, описывающих уголовный мир «изнутри». Во французских воровских языках еврейские заимствования или словообразования не играют той громадной роли, которая им выпала в немецком языковом пространстве. Интересно, что Карл Орфф (Carl Orff) в 1937 г. впервые представил публике свою сценическую кантату «Carmina Burana», либретто которой было написано на основе текстов на среднелатинском, средневерхненемецком и древнефранцузском языках вагантов.

Самый старый изученный немецкий арго можно найти в «Заметках» Дитмара из Мекенбаха («Notatenbuche» Dithmar von Meckenbach) во

времена правления императора Карла IV (1347-1378)(21). Фактически литература о преступности (das Gaunerthum) начинается с мандатом Совета ратуши Базеля из первой четверти XV-го в. На этой основе появилось издание *Basler Betrüggnissen der Gyler* (1433/40). Для высокой оценки, которую нашла книга о деяниях вагантов и разбойников, говорит тот факт, что в 1510-1529 гг. она выдержала не менее восьми различных изданий и была переведена на низконемецкий. Издание было анонимно опубликовано в 1510 г. и содержит важный словарь сленга. Преступность и её жаргон отражены в сатирической поэме Себастиана Бранта «Корабль дураков» (Sebastiana Brant: *Narrenschiff*, Basel 1494) (22), а изображения преступников как и самого «корабля дураков» – на картинах нидерландца Иеронима Босха (1450-1516).

Между 1494-1499 гг. в Базеле появились первые издания *Liber vagatorum* о социологии нищенствующих орденов, которые обрабатывали собранную информацию в словарях, а также изучали лексический строй *Rothwelsch*. Во времена императора Карла V (1500-1558) появились систематизированные словари воровского арго. Термин «*rotwalsch*» впервые отмечен в мартирологе (*Passional*), собрании рифмованных историй святых из середины XIII в., позже известных как т. наз. каталоги Гилер, *Gyler-Verzeichnisse* (*Gyler* = нищий), а также из буклетов, посвящённых этим нищим. В книжках в порядке пропаганды выявляли, показывали и объясняли населению преступные приёмы мошенников. Первое полное издание этого словаря в Германии было осуществлено в 1515 г. «мейстером госпиталя» (*Hospitalmeister*), ответственным руководителем больницы монахов-госпиталитер (*Hospitaliter*) из Пфюрцхайма, Матиасом Хютлиным (*Mathias Hütlin*) под заголовком *Liber Vagatorum*. Это издание в свою очередь часто переиздавалось вплоть до 1755 г. и постоянно дополнялось актуальной информацией об изгоях и их вождях в соответствии с социально-политическими интересами общества. В книге Хютлина приведен глоссарий языка нищих, в которой иврит составляет 22%. Любой словарь немецкого воровского жаргона содержит большое количество ивритских слов. В глоссарии *Liber Vagatorum* их количество впечатляет: 65 ивритских или арамейских слов против 53 немецких, по 19 латинских и голландских, 5 – французских, 4 – цыганских, одно – испанское и 29 слов не выясненного или спорного происхождения. Не кто иной, как Мартин Лютер написал предисловие к изданиям этой книги в 1523, 1528 и 1529 гг. Вот что пишет об этом явлении Дан Михаэль:

В Средние века, в Новое время в Германии на тайном языке «лашон хохма» или Kokumloschen общались между собой воры, нищие и бродяги. Еврейский лошенкойдеш (священный язык), языковый слой

идиш, состоящий из ивритских и арамейских слов священных текстов, проник в воровское аргю чуть ли не раньше, чем возник сам идиш(23).

По оценкам лингвиста Клауса Зиверта (Klaus Siewert)(24), к известным около 50 немецким тайным языкам относится среди прочего «шлаусмен» (Schlausmen – в переводе со средневысоконемецкого что-то вроде «язык башковитых, хитрых, лукавых, ловких, умных и т.д. мужей») – с идишитскими и нижненемецкими элементами как в нижеследующем примере, где два торговца косами переговариваются между собой на виду у проходящего мимо священника:

Nu komm! Awer stäikum, Schäiz! Ment Schlausmen gedibbert! Denn roigel! Do kümmet de Gallak un de Gauzegallak hiär; dei briuket usem Schmius nitte vernuppen Эта тирада, вряд ли нам сегодня понятная, переводится так:

Тихо, парень! Говори только на шлаусмен! Ибо смотри! Сюда приближается священник и «половина священника» (= der Küster – пономарь); им не следует понимать нашу речь.

Rotwelsch следует правилам немецкой грамматики, – в самой лексике, в дополнение к немецкому, велика доля еврейского и арамейского компонентов. В Liber Vagatorum это соответствие составляет 52 к 22 процентам в пользу немецкого, а в упомянутом выше Schlausmen из Зауерланд (Sauerland) в Вестфалии даже преобладает иврит: соответственно 48 к 32 процентам. Роберт Ютте подчёркивает: это не язык еврейских торговцев и ростовщиков-банкиров, а перенятый христианскими жуликами и нищими разговорный язык так называемых «повреждённых, отмеченных» евреев (die Schalanzjuden) из низших слоёв еврейского общества, которые в отличие от преуспевающей элиты были опущены и занимались попрошайничеством. Кроме того, было достаточно крестившихся евреев, не забывавших своего языка даже в нескольких поколениях. Другими словами, в этом историческом периоде по парадоксальной логике своего времени, кроме евреев, было значительное количество носителей «испорченного» иврит-арамейского языка. К преступному миру из христиан и иудеев принадлежал, например, упомянутый в Liber Vagatorum крещёный еврей Ганс фон Страсбург (Hans von Straßburg). Похожие лексические заимствования великолепно освещены в работах Рудольфа Гланца о нижних слоях евреев Германии (1968)(25), лингвистический аспект проблемы детально разработан в книге профессора Роберта Ютте (Robert Jütte) (26) об имидже и социальной реальности нищих и мошенников (1988).

Немецкий филолог фон Трайн (Joseph Karl von Train, 1833) определяет язык уголовного мира, «хохемер-лошен», как смесь немецкого и еврейского языков, распространенный у воров, нищих и цыган(27). Похожий арготический язык был описан немецким писателем и криминалистом Фридрихом-Кристианом Авé-Лаллеман (Friedrich Christian Benedikt Avé-Lallemant, 1809–1892), которого Дан Михаэль почему-то считает женщиной. После долгой подготовки в 1858 г. вышла в свет его наиболее известная книга «Немецкая преступность» (Das deutsche Gaunertum)(28). В качестве приложения Авé-Лаллеман предложил резюме по проблеме языка преступного мира, которое, однако, нарвалось на критику современных ему филологов. Исследователь описывает там язык под названием Kokumloschen, от древнееврейского словосочетания *хахам-лашон*/לשון חכמה – язык мудрости, который немецкие рецензенты не комментируют. При возникновении этого языка его носителями были изначально евреи или крестившиеся евреи, знакомые с Талмудом, что следует из приведенного объяснения автора.

Язык Kokumloschen составлен из еврейских и воровских слов и их сочетаний..., которые в ходу у воров, мошенников, как еврейского, так и христианского происхождения.

Немецкое слово из воровской «красной речи», Klamonis, означает, например, дословно *клэй оманут*, орудия ремесла или искусства, – иными словами, набор воровских отмычек.

В средневековой Германии, именуемой евреями Ашкеназ, существовала судебная практика, по которой обвинитель мог заявить «*Это неприемлемая ссылка*» – est non reference ammissibile. Этот термин был широко в ходу в средние века. Упомянутый выше Авé-Лаллеман полностью посвятил вторую часть своей книги Das deutsche Gaunertum (Leipzig, 1858) описанию Maremokum(29), широко распространенном в воровском арго выражению, на современном иврите *марэ маком* – מַרְאֵה מַקוֹם – «указатель места».

Этот талмудический термин, означает реферативную ссылку, указатель на текст, цитируемый в талмудической дискуссии или в комментариях к каноническим текстам. В немецком воровском арго Maremokum стал обозначать ложное или фальшивое алиби. В немецком тексте он определяется, как лжесвидетельство в пользу вора, находящегося в заключении, что он, якобы, был во время кражи в другом месте. Такая услуга была в обычае в воровской гильдии. Он описывает судебный процесс, где среди 28-и лжесвидетелей был лишь один еврей. Автор довольно критически относится к достоверности

свидетельств в германских христианских судах того времени. Ему казалось, что в еврейском религиозном суде судопроизводство «делалось с честью и уважением»(30).

Аналогичные ивриту глаголы по-разному сохранили в новых корнях языков свои основные согласные: например, диалектальное «acheln» (на иврите-арамейском аахал – «aachal» - русское ел), «jonen» (на иврите хона`а – «honaah» – по-русски мошенничество), «kimmern» (относится к иврит-арамейскому существительному кния – покупка). Кроме того, сюда же относятся старые идиомы, происходящие из ивритского существительного и немецкого глагола, например: «uff den keimen gehen», что означает выдать себя за крещёного еврея (sich als Taufjude ausgeben). «Keimen» этой «красной речи» происходит от еврейского имени Хаим (Chaim).

К образованным по иврит-арамейскому образцу существительным относится едва изменённый «Adone» – Адонай для Бога, а также иные с новыми, изменёнными значениями словами, например, такие как «galch» – священник («galach» – бритый, в современном идиш во множественном числе *галоћим*), а также ивритские слова с немецкими суффиксами, такими как «ganhart» – дьявол для геином – ада) и несколько необычные для иврита лексемы, такие как «lymdrüschel» – «нищий попрошайка хлеба» (ивр. lehem – хлеб и дараш – требующий). Эти же процессы ощутимы в этимологии немецких авторов: так, слово «sonneboß», – бордель, бардак – опирается не на немецкое «Sonne» – солнце, а на еврейско-арамейские слова «зона» – шляха и «байт» – дом.

Новообразованные существительные Rotwelsch с производным суффиксом часто меняли семантический смысл. Например, «Floßling» – рыба, от средневысоконемецкого «flozze» – плавник или в другом примере «funckhart» – огонь, что соответствует средневысоконемецкой «vunke» – искре. Описания и характеристики Rotwelsch часто основаны на цветистых популярных немецких лексемах, таких как «wetterhahn» для шляпы или «wintfang» – куртка, пальто. Игнорирование преступниками религиозных значений и интерпретаций привело к сатирическим компонентам: так, всем хорошо известная на идиш и иврите «мезуза» для амулета в капсуле на дверном косяке, которую почтительно касаются (целуют) мимоходом верующие евреи, стала в Rotwelsch «mesuse» – проститутка. А почему? Она стоит у двери, и каждый может её потрогать.

Особенно с конца XIX-го века, с расцветом и развитием высококонемецкого, значение Rotwelsch снизилось, но его чёткие следы ещё можно найти в языковых версиях торговцев, солдат и в сленге студентов, в диалектах Айхштетта, Берлина и Вены, в уличных жаргонах

и в разговорных вариантах немецкого языка (например, «Roter Hahn» – «красный петух» – поджог; эта смысловая идиома перекочевала и в русский перевод). Тем не менее такой языковый авторитет как Das Duden-Universalwörterbuch насчитывает как минимум 77 статей-включений по теме.

Сравнительный анализ германского арготического языка, Rotwelsch, на основе германских немецкого и идиш, и русской «блатной фени» с широким использованием «матричной» иврит-арамейской лексики (от 22% до 48%(!) в «шлаусмен») даёт представление о механизмах интеракции, типичных для композитных словообразований в индоевропейских языках, которые могут объяснить индосемитская теория и неомарризм.

¹ Пушкин, А.С. «Наброски статьи о русской литературе», <http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push17/vol11/y11-184-.htm>

² Узланер, Михаил. «Русская «феня», говорящая на идиш», Журнал «Самиздат», 2006, <http://zhurnal.lib.ru/u/alloetokto/russkajafenjagoworjashajanaidish.shtml>

³ Хайнман, Ирма. «Еврейская диаспора и Русь», Иерусалем 1983, <http://zarubezhom.com/Irma/irma/index.htm>

⁴ Сулейменов, Олжас Омарович. «Аз и Я», Алма-Ата, Жазушы, 1975

⁵ Цитир. по: Шнейдер, Владимир. «След десяти», Беер-Шева 1998, с. 13

⁶ Шнейдер, Владимир: «След десяти», Беер-Шева 1998

⁷ Альтшулер, Борис Э. «Ещё раз к ранней истории Киевской Руси, Мастерская», <http://club.berkovich-zametki.com/?p=30>

⁸ Еманов, А.Г. «К вопросу о ранней итальянской колонизации Крыма», <http://elar.usu.ru/bitstream/1234.56789/2380/1/adsv-19-06.pdf>

⁹ Поло, Марко. «Путешествия, М» 1940, с. 5

¹⁰ Волков И. В. «Фрагмент амфоры с еврейской надписью из Анапского музея, Древности Кубани», вып. 18, Краснодар 2002, 42-44

¹¹ Koestler, Arthur. «Der dreizehnte Stamm», Bergisch Gladbach 1989.

¹² Боровой, С.Я. «Еврейские хроники XVII столетия (Эпоха «хмельничины»)», Москва 1997; Wexler, Paul. «The Ashkenazik Jews...», Columbus, Ohio 1993, p. 272

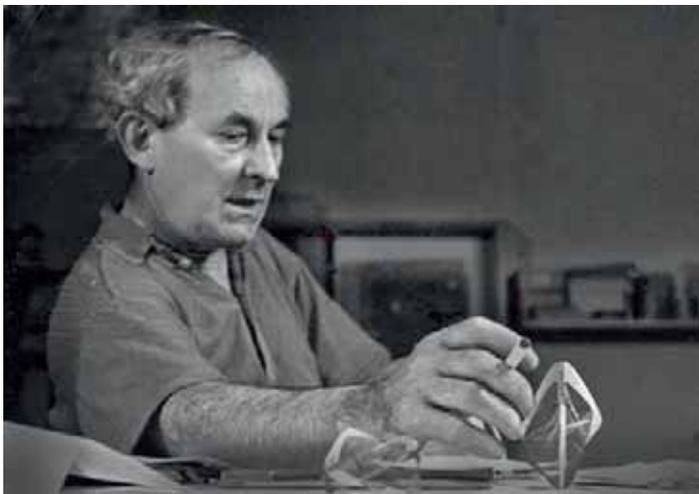
¹³ Еврейская энциклопедия, СПб., 1908–1913, т.7, 582-588

¹⁴ Бельский, Марьян. «Еврейские корни русской «фени»», <http://ru-etymology.livejournal.com/275843.html>, а также в очень удачной и красноречивой публикации 2005 г. <http://berkovich-zametki.com/2005/Zametki/Nomer11/Belenky1.htm>

¹⁵ Там же

¹⁶ Gutknecht, Christoph. «Rote Rede. Linguistik: Jiddisches und Hebräisches in den deutschen Gaunersprachen, Jüdische Allgemeine», Nr. 29/12, 19. Juli 2012

- ¹⁷ Альтшулер, Борис Э. «Неомарризм об истории немецкого языка и этногенезах немцев», <http://7iskusstv.com/2010/Nomer5/BAItshuler1.php>
- ¹⁸ Wexler, Paul. «The Ashkenazic Jews: A Slavo-Turkic People in Search of a Jewish Identity», Columbus, Ohio 1993.
- ¹⁹ Там же
- ²⁰ Носоновский Михаил: «Разделяющий святое и будничное, двуязычие и иудаизм», <http://www.berkovich-zametki.com/Nomer21/MN36.htm>
- ²¹ Gaunersprache, <http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Gaunersprache>
- ²² Брант С. «Корабль дураков», Сакс Г. Избранное. М., 1989
- ²³ Михаэль, Дан. «Язык раввинов и воров хохумлойшен», <http://www.berkovich-zametki.com/Nomer23/Michael1.htm>
- ²⁴ Siewert, Klaus. «Wörterbuch der deutschen Geheimsprachen», 3 Bände, Münster 2008/200
- ²⁵ Glanz, Rudolf. «Geschichte des niederen jüdischen Volkes in Deutschland», 1968
- ²⁶ Jütte, Robert. «Abbild und soziale Wirklichkeit des Bettler- und Gaunertums zu Beginn der Neuzeit - Sozial-, mentalitäts- und sprachgeschichtliche Studien zum Liber Vagatorum (1510)», 1988; auch «Das Buch Der Vaganten: Spieler, Huren, Leutbetrüger», Wien, Köln, Weimar 1998
- ²⁷ von Train, Joseph Karl bearb. «Chochemer Loschen, Wörterbuch der Gauner- und Diebs-, „vulgo“ jenischen Sprache nach Criminalacten und den vorzu glichsten Hufsquellen: für Justitz-, Polizei- und Mautbeamte, Candidaten der Rechte, Gendarmerie, Landgerichtsdienner und Gemeindevorsteher», Meissen 1833
- ²⁸ Avé-Lallemant, Friedrich Christian Benedikt. «Das deutsche Gaunertum in seiner sozialpolitischen, literarischen und linguistischen Ausbildung zu seinem heutigen Bestande. Fourier», Wiesbaden 1998, Nachdruck der Ausgabe Berlin 1914
- ²⁹ Von Julius Friedrich Heinrich Abegg, August Wilhelm Heffter, Carl Georg von Wächter, Johann Michael Franz Birnbaum, Carl Joseph Anton Mittermaier, F.M.B. Birnbaum, Heinrich Albert Zachariä, Karl Ferdinand Theodor Hepp, Emil Herrmann. «Wörterbuch der in Teutschland üblichen Spitzbuben- Sprachen» in 2 Bänden, die ... Bd. 1. Giessen 1822.
- ³⁰ Михаэль, Дан. «Язык раввинов и воров хохумлойшен», <http://www.berkovich-zametki.com/Nomer23/Michael1.htm>



Наум Габо

Леонид Бердичевский

ГАБО

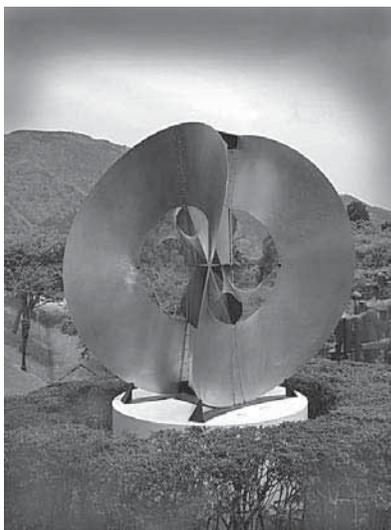
(заметки о художнике)

Рассматривая искусство мирового авангарда XX века, невозможно обойти вниманием гигантскую личность выдающего мастера – Наума Габо. Его имя стоит в одном ряду с В. Татлиным, Эль Лисицким,

А. Архипенко, К. Малевичем, А. Певзнером и другими, заложившими основы и оказавшими огромное влияние на весь процесс развития и совершенствования искусства целого века.

Выдающийся скульптор, архитектор, дизайнер, конструктор, теоретик искусства – он своими работами подчеркнул созревшую необходимость поисков новых форм и нового мышления в искусстве. Прожив долгую творческую жизнь, он никогда не изменял им, лишь углублял и дополнял ранее найденные приёмы и находки.

Наум Габо (Нехамия Беркович Певзнер) родился 5 августа 1890 года в России, в Брянске, небольшом в то время индустриальном городе, в 400-ах км северо-западнее Москвы. Он был

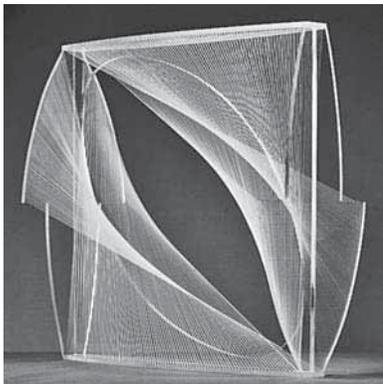
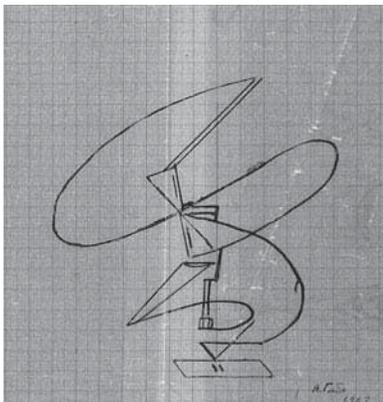
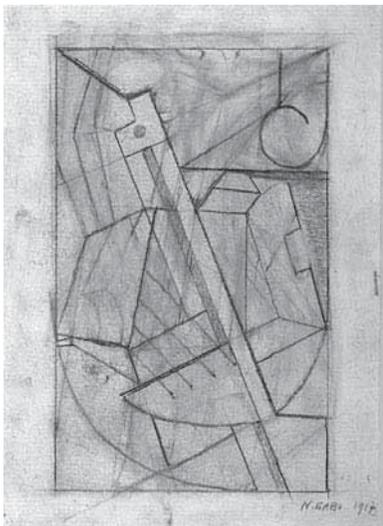


одним из восьми детей в семье Берко (Бориса) и Фанни (урожд. Озерской) Певзнеров. Братья и сёстры Наума были одарёнными людьми. Старший, Натан, – первым оказал большое влияние на развитие вкусов и пристрастий Наума. Он вошёл в историю мирового искусства под именем Антуан Певзнер. Младший, Алексей, стал известным искусствоведом-биографом авангарда и своих братьев.

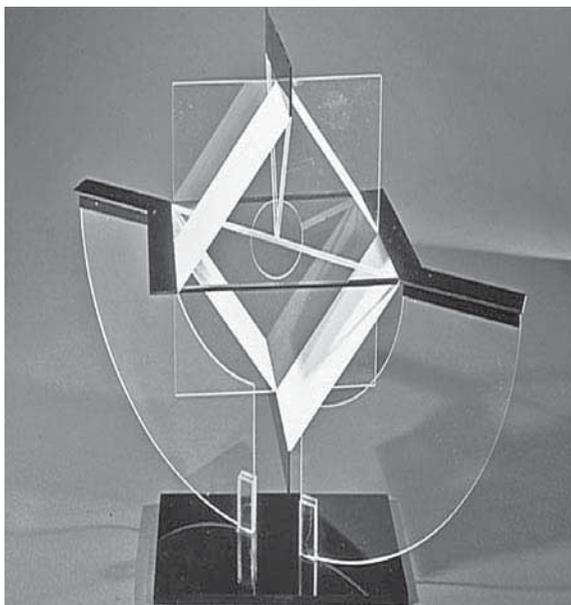
В родительском доме постоянно витал дух искусства. Новости черпались из бесчисленных выходящих в те горы журналов и каталогов выставок. Всё это повлияло на выбор будущей профессии.

Окончив в 1905 году в Брянске начальную школу, Наум продолжил образование в Томске, в технологическом институте, где приобрёл знания в об-

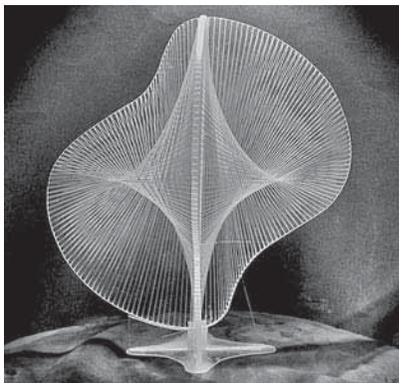




ласти точных наук. Здесь его застало известие о событиях революции 1905 года в России, которое заставило его задуматься о преобразовании устаревших форм искусства и подтолкнуло к поискам новых. В 1907-1910 годах он жил в Курске, экспериментируя в области рисунка и живописи. В 1920 году – уехал в Мюнхен, где изучал медицину и природоведение в университете. Однако вскоре перешёл в высшую техническую школу, и серьёзно занялся современной архитектурой. В эти же годы его брат, Антуан, жил в Париже. Габо к этому времени уже экспериментировал с материалами разного рода, начиная от камня и бронзы до всякого рода пластмасс и стали. Он пришёл к выводу, что скульптура должна быть связана с достижениями науки и её открытиями. Для XX-го века подобная эстетика казалась фантастичной, ибо традиции, сложившиеся веками, совершенно противоречили этому. Именно с таких находок и решений и началась карьера Габо. Его эксперименты превратились в подлинное искусство. Они получили поддержку многих мастеров во всём мире, как в области изобразительного искусства, так и в области техники и науки. Геометрические абстракции отражают современные проблемы, волновавшие многих, работавших в пространственных видениях и



инженерного взаимодействия с ними. Уже учась во ВХУТЕМАС, он предложил рассмотреть взаимодействие между математическими моделями и геометрическим пространством. Многие из мастеров того времени прислушивались и приглядывались к находкам Габо. Это, в первую очередь, А. Певзнер, М. Билл и Моголи-Надь. Динамизм работ Габо – всегда во взаимосвязи с наукой. В фокусе внимания – кинетический компонент. Некоторое время Габо по приглашению А.В. Луначарского работает в Москве и затем уезжает в Германию с выставкой Русского авангарда в Берлине. На ней были представлены работы, близкие к Габо по стилю и находкам, таких худож-



ников, как: Татлин, Завьялов. Родченко, Медунецкий и другие. Выставка оказала большое влияние на художников Запада. Габо остаётся в Берлине, здесь он живёт на Steglitzer Strasse до конца 1923 года.

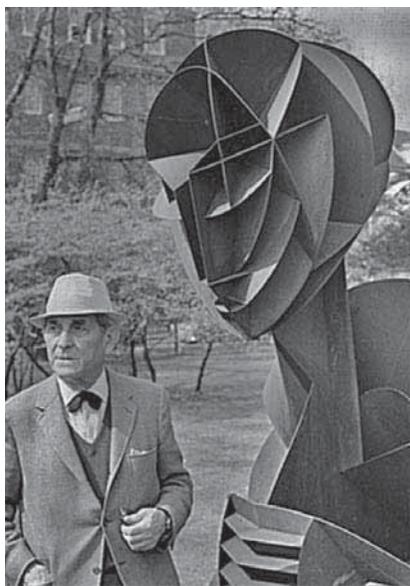
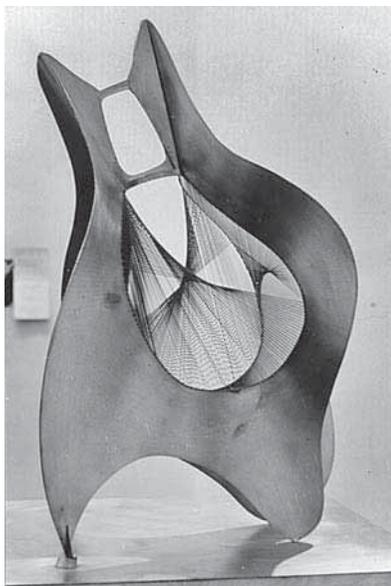
С 1924 года он поселяется с семьёй в Нью-Йорке, где живёт его брат, Антуан Певзнер.

Он посчитал, что в Америке более благоприятная почва для реализации его многочисленных планов и замыслов. Он становится одним из ведущих американских художников и участником многочисленных выставок. Здесь проходит целый ряд его персональных выставок. Он получает много заказов, что даёт средства к существованию его семье. Не хочется останавливаться на всех выставках, ибо это не входит в задачи заметок. Единственное, о чём хочется сказать: в Советском Союзе замалчивалось имя мастера и его работы, он почти незнаком несколькими поколениям советских людей.

Лишь совсем недавно, в 2004 году, была защищена диссертация на соискание звания кандидата искусствоведения Н.З. Сидлиной: о «Взаимодействии науки и искусства в творчестве Наума Габо».

Умер Габо 23 августа 1977 года, после продолжительной болезни в Коннектикуте, в госпитале Waterbury.

В репродукциях альманаха представлены наиболее типичные из работ Мастера.



Давид Яновский

Когда мы на заседаниях клуба разбираем стихи друг друга, критика часто бывает излишне придирчива.

Однажды я подумал: а как у нас в Клубе разбирали бы стихи какого-нибудь классика? Так появилось:

«ПИСЬМО ЖУКОВСКОГО ПУШКИНУ».

Любезный друг, Александр Сергеевич!

Прочёл я вчера список твоего стихотворения: «К Чаадаеву» и огорчился.

Бог с ним, с твоим вольнодумством. Молодости свойственно неразумное фрондёрство. Но форма! Начинается стихотворение весьма мелодично:

«Любви, надежды, тихой славы
Недолго тешил нас обман».

Но дальше - то, дальше!

«Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман».

Скажи на милость кто такой этот «Каксон?» Британец? Жид? А «Какутренний туман» звучит и вовсе неприлично!

Опасное это словечко: «как». Употреблять его следует весьма осторожно. Я вообще стараюсь в стихах обходиться без него.

Затем, во второй строфе рифма: «роковой – душой» на мой взгляд нехороша. Тебе подобная небрежность не к лицу.

И, наконец, в последней строфе у тебя написано: «Россия воспрянет ото сна». Конечно, в русском языке имеется глагол: «воспрянуть», но ведь эти четыре согласные подряд на трезвую голову и не выговорить! Я думаю, что употреблять его в речи поэтической не следует.

Мне кажется, Александр Сергеевич, что ты стихи свои, написавши, вовсе не читаешь. А следовало бы! И обязательно вслух. Тогда не было бы у тебя подобных казусов. Так-то...

Извини, брат за критику, но «amicus Plato, sed magis amicus veritas»*.

При всём том остаюсь твой преданный друг и почитатель,
Василий Жуковский

**Платон мне друг, но ещё больший друг – истина. (лат.)*

Светлана Сокольская

**СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
СОЛОМОНА ФИНКЕЛЬШТАЙНА**

Ганноверская новая либеральная община праздновала своё открытие.

«Пойдемте, я познакомлю вас с Финкельштайном», – сказала мне Катарина Зайдлер, крупная рыжеволосая дама, адвокат и по совместительству председатель вновь образованной общины.

«Финкельштайн?!» – пронеслось у меня в голове. Она подвела меня к маленькому, лет семидесяти человечку с живыми чёрными глазами и явно крашеными волосами. После первых фраз знакомства я сказала: «Фамилия моего деда и моей мамы была Финкельштайн». Человечек шутливо выставил вперед ладони, как бы защищаясь, и сказал: «Опять родственники!»

Я обиженно отошла в сторону.

Музыкально-литературный вечер начался. Финкельштайн читал небольшие рассказы Ицхака Лейбуша Переца, Менделе Мойхер-Сфорима, Шолом Алейхема, я в промежутках играла еврейские мелодии на скрипке. Идиш у Финкельштайна звучал так же, как у моей мамы, когда она читала из Шолом-Алейхема. Зал был полон народу, принимали хорошо, я вдохновенно играла.

После концерта Финкельштайн подошел ко мне, поцеловал руку и сказал: «Я дважды чуть не заплакал. Один раз, когда я читал, второй раз – когда Вы играли». Он не знал русского, и мы говорили по-немецки. Финкельштайн дал мне свою визитку и сказал: «Когда вы будете где-то играть, позвоните мне, я приду». К следующему еврейскому празднику мы с пианисткой Стеллой играли еврейскую программу в ортодоксальной общине. Я позвонила Финкельштайну. Вечером из-за кулис я увидела его в первом ряду. Справа от него сидела

молодая дама в большой шляпе, слева – пожилая. «Понятно, что эта еврейка – его жена», – подумала я. Велико же было мое удивление, когда после концерта он пришёл ко мне за кулисы с молодой дамой в шляпе. Поблагодарил за игру, а дама сказала, что ей больше всего понравилось, как у меня пальчики бегают.

Позже, встретившись в зале, в толпе, Финкельштайн предложил подвезти меня домой. Жены его рядом с ним не было. Когда мы отъехали, он смущенно сказал: «Моя жена намного моложе меня». «Das ist modern», – только и «нашлась» я. Он засмеялся: «Это моя вторая жена. Первый раз я женился после войны, когда приехал в Берлин. У нас трое детей: старшая девочка и еще две девочки – близняшки. Моя жена оставила меня с детьми и ушла к другому». Потрясённая, я только и смогла выдохнуть: «Das gibt's doch nicht». – «Das gibt's», – горестно качнул он головой. Взгляд его устремился в одну точку, черты лица отвердели.

Мы были на полпути к моему дому. Мой спутник продолжал: «Потом она пыталась покончить с собой. Детей вырастил я. Старшая уже работает, младшие учатся. Они не хотели ходить к ней, но я настаивал, они неохотно подчинялись. Я женился на молодой польке из тех мест, где жил в Польше до войны. Она любит меня, ухаживает за мной. Только боится, что я умру раньше, и она потеряется в этой жизни». Я молча слушала его рассказ. Прощаясь, он сказал: «Ты мне, как сестра».

Однажды я списала с кассеты Ицхака Перльмана замечательные клезмерские инструментальные мелодии, которые отец сопровождал шуточными текстами на идиш. Слов почти не разобрать, а идея мне понравилась. Я подумала, что с текстами, Финкельштайн, знающий идиш, может мне помочь. Я пришла к нему с мужем. Мы были поражены богатством, как нам тогда казалось, убранством его квартиры. Мне запомнились мраморные бюсты на маленьких круглых столиках. В гостиной старинное пианино, картины в тёмных рамах. С его женой, стройной и миловидной, мы обменялись парой дружелюбных фраз. Финкельштайн не смог мне помочь: он уже плохо слышал с кассеты. Угостил нас мороженым с горячим малиновым сиропом и рассказом о себе. Звали его Соломоном, друзья называют его Солеком. Оказалось, что он совладелец фирмы «Gebrudereinigung in Frankfurt-am Main», она даёт ему неплохие средства к существованию. Вскоре в гостиную вошла молоденькая темноволосая девушка в строгом костюме, напоминающая стюардессу или секретаршу. Она принесла чай на подносе. Это была старшая дочь Финкельштайна. Она и на самом деле работала секретаршей в офисе. Очаровательная, безупречно воспитанная – Финкельштайн явно гордился дочерью. Она спешила на работу и попрощалась с нами.

Офицерская школа Ганновера организовала поездку молодых офицеров по бесславным местам последней войны. Военные обратились в еврейскую общину, мне с мужем и несколькими активистам предложили поехать. Я решила – поеду, и взяла с собой скрипку. Где-нибудь да найдется часок, чтобы позаниматься в течение недели.

В назначенное время мы припарковались внутри военного городка, пришли в большой зал, в котором уже собралась группа офицеров. Нам объяснили, что ожидается приход генерала. Возникли какие-то странные ассоциации. Генерал оказался небольшого роста, встретили его с огромным почтением. После основательного инструктажа всё было готово к отъезду.

Стояло лето, уже не дождливое и не жаркое. Автобус неспешно катил по гладким лентам сельских дорог. Двухэтажные кирпичные домики с нарядными окошками и ниспадающей с балконов геранью отвлекали мои мысли о цели поездки.

Автобус был полон молодых офицеров в форме, с ними немолодой человек в штатском с тонким лицом, похожий скорее на учёного, чем на военного. Муж шепнул мне, что это полковник. Среди военных выделялся один плотный мужичок, который всех собирал и всем распоряжался. Я окрестила его «старшиной». Кроме меня и моего мужа, от еврейской общины были две дамы: знакомая мне Катарина Зайдлер и художавшая брюнетка Ингрид. Я тогда о ней ничего не знала. Тут же был и Финкельштайн. Здесь я узнала, что он – бывший узник Бухенвальда.

Наш путь лежал через Ваймар. Привлёк внимание оперный театр Вагнера, в котором билеты распродавались на полтора года вперед, где сам Вагнер распорядился сделать простые деревянные кресла, чтобы их скрип будил людей, засыпающих во время его бесконечных опер. К моему мрачному удивлению добавилось то, что рядом с храмом музыки находился ад Бухенвальда.

Распорядок дня был такой: ночевали мы в небольших пансионатах, после завтрака – экскурсия. По возвращении обедали, потом собирались в семинарском зале, где обсуждалось увиденное за день. В Бухенвальде я увидела железные ворота с надписью: «Arbeit macht frei». И все остальное тоже.

Вечером, во время семинара, все молчали. Первой выступила Катарина. Она говорила о преследовании евреев нацистским режимом. Потом Ингрид энергичным голосом, активно жестикулируя, рассказала о страданиях своей семьи, погибшей в лагерях. За ней заговорил Финкельштайн. Голос его звучал мягко и тихо. Он сказал: «Сейчас я спую оду одному немецкому офицеру. Семнадцатилетним юношей я попал в Бухенвальд. Вскоре пришел приказ о переводе нас в другой

лагерь. Нужно было быстро погрузить пакеты с бельём. У меня была повреждена одна рука. Я брал один пакет в зубы, другой – в руку, и так их носил. После погрузки офицер, который командовал нами, велел выйти из строя тому, кто носил пакеты в зубах. Этот офицер спас меня, – рассказывал Финкельштайн. – Он оставил меня при себе и иногда подкармливал». Голос Финкельштайна звучал почти задумчиво. «Как он так может? Он простил? Наверно, не хочет никого травмировать», – подумала я и тут же поняла – это и есть человечность.

Назавтра нам дали гида – немолодая немка из бывшей ГДР. Невыразительное лицо, простая одежда, видимо, бывшая учительница. Она рассказала, что водит экскурсии несколько раз в неделю: очень много школьников приезжают целыми классами, и работы много. Она всё показывала и рассказывала. По мере того, как длился рассказ, из её глаз сочились слёзы, к концу она уже не сдерживала рыданий. С неё можно было бы писать кающуюся Магдалину. Её лицо больше не казалось мне некрасивым. Я подумала: «Что если она все экскурсии так водит... Может быть, она узнала, что в группе есть евреи».

Вдруг я услышала, что меня возбужденно зовет Катарина, велит взять скрипку, и идти с ней. Мы пришли в высокое кирпичное здание. Это был крематорий. Вдоль стены выстроились офицеры. Головы их были покрыты белыми носовыми платками. Кипа только на Финкельштайне и моём муже.

Меня поставили рядом с дверцами печей, и попросили играть что-то еврейское. Я сыграла первую страницу «Кол Нидрей» М. Бруха. Финкельштайн произнес молитву. Дальше я ничего не помню.

Меня удивлял полковник с интеллигентным лицом, тонкими кистями рук и печальными глазами. Он деликатно говорил офицерам, прощаясь: «Пожалуйста, не опаздывайте завтра». Я подумала, что он не может быть военным с такими аристократичными манерами, по крайней мере, я таких не встречала. «Может быть, он как наш политработник?» – спросила я. «Сравнила! Как небо и земля» – ответил муж. Это меня устроило. Зато «старшина» полностью соответствовал своему званию. Он весь день носился среди всех, и ему подчинялись.

Однажды мы с Финкельштайном стояли в месте, о котором нам что-то рассказывали. В стороне была группа офицеров, рядом – «старшина». Нетерпеливо, недовольными взглядами они оглядывали все вокруг и переговаривались. До меня донеслись обрывки их разговоров: «Да ничего особенного тут не происходило. Ничего такого ужасного». Заметив мой взгляд, они замолчали. «Хорошо, что Финкельштайн уже плохо слышит», – подумала я.

Последним пунктом нашего путешествия был концлагерь «Бер-

ген-Бельзен». Здесь пятнадцатилетняя Анна Франк не дожила двух месяцев до освобождения. В этом лагере было много детей, поэтому тут расположили музей, где выставлены детская одежда и игрушки. Нам рассказали, что после освобождения в лагере умерло много людей из-за того, что американцы, не подумав, стали кормить истощенных до предела людей, галетами, консервами и шоколадом.

Утром, перед экскурсией я, дождавшись пока полковник и «старшина» останутся одни, подошла к ним и сказала: «Пощадите. Я сегодня не поеду». Они недовольно глянули на меня, но промолчали. Все поехали, в том числе и Финкельштайн, я осталась и взялась за скрипку, благо концерт был на «носу».

Вечером, на семинаре, высокий офицер лет тридцати стал делиться сегодняшними впечатлениями. Закончил он с трудом, слезы душили его, и он не скрывал их. «У меня двое детей», – сказал он.

Хорошо, что я не поехала с ними.

Поездка закончилась, я с Финкельштайном рассталась надолго. На рубеже тысячелетия мы с мужем вернулись в Берлин, с которого начиналась наша эмиграция. Пианистка Стелла построила себе в Ганновере большой дом с залом на два рояля, новейшей усилительной аппаратурой и двумя буфетами. Тут же она организовала свою музыкальную Академию, где преподавала и часто устраивала сольные концерты. Приближался день ее тридцатитрёхлетия. Стелла хотела отметить его широко и пригласила меня выступить с ней в концерте. Предполагалось сыграть два отделения – одно классической музыки, другое – клезмер. «А кто будут слушатели?» – «Мои ученики», – ответила Стелла. Тогда я вспомнила о Финкельштайне и попросила его пригласить, зная, что старик, – ценитель еврейской музыки. «У него недавно умерла жена», – сказала мне Стелла. «Бедная, – подумала я о его первой жене. – Себе жизнь испортила и его сделала несчастным».

Финкельштайн явился с двумя букетами. В первом ряду передо мной сидела молодая женщина. Она слушала музыку сосредоточенно, лицо её было неподвижно, руки ни разу не сложились в аплодисменты, хотя слушатели рядом открыто выражали своё удовольствие. Я начала слегка нервничать. Первое отделение завершилось очаровательным концертом Гайдна для фортепиано в сопровождении оркестра, записанного на кассету. Блестящая пианистическая техника, сверкающая люстра, мерцание хрустальных бокалов – всё слилось в праздник музыки и света. В антракте, не отходя от рояля, я спросила Стеллу о женщине из первого ряда. «Она недавно потеряла мужа», – был ответ.

Среди гостей я увидела Финкельштайна. Подойдя к нему, с автоматической любезностью, спросила: «Wie geht's deiner Frau?» Лицо

его сморщилось, из глаз как бусинки, скатились слезы. «Я же вам сказала, что его жена умерла, – сказала неожиданно выросшая за моей спиной Стелла, – Было объявление в газете». «Krebs», – сказал Финкельштайн печально. Дар речи покинул меня. Молодая стройная женщина, опасавшаяся, что он умрет раньше, опередила его.

Во втором отделении мы играли еврейские мелодии – грустные и веселые, песенные и танцевальные. Молодая дама, потерявшая мужа, начала понемногу улыбаться, потом стала аплодировать, а к финалу она уже смеялась и радовалась вместе со всеми гостями. «Слава Богу, ей стало легче», – подумала я.

Финкельштайн вручил нам букеты и распрощался.

Он позвонил через много месяцев. Приезжает в Берлин. С другом. Хочет встретиться. Пригласил в ресторан, безумно фешенебельный и пустынный в дневное время. Еда изысканная и безвкусная. Финкельштайн всё время улыбался. Его друг не уставал развлекать нас. Мой муж упражнялся в немецком языке. Мы расстались, удовлетворённые друг другом.

Следующая встреча состоялась в поместье «Hasperde» в доме графа Зигмунда Адельманна, нашего давнего приятеля и благотворителя. В начале нашей эмиграции он, как положено графу, поддерживал группу музыкантов, обитавших в замке его предков под городом Hameln. Этот замок стоял рядом с его домом, и теперь, проданный, был приспособлен для приёма еврейских беженцев из бывшего Советского Союза. Зигмунд организовал первые концерты группы музыкантов, среди которых было много первоклассных. В это же время я занималась с его младшей дочкой клавиром. Я оставалась в доме на выходные, когда их семья уезжала в гости. Так и пошло. Каждым летом мы с мужем приезжали в их дом, расположенный в большом английском парке. Туда мы пригласили Финкельштайна. Он приехал, веселый и легкий, обошёл весь парк и дом. А вечером, поужинав с нами, улегся спать в отведённой ему комнате. Утром его дочь звонила нам, беспокоясь, как он доберётся до вокзала и преодолет тридцать восемь километров, отдающих графское имение от Ганновера. Добрался.

Этим летом, встретившись со Стеллой, я спросила её о Финкельштайне.

«Хорошо, – сказала она. Он недавно отметил свое девяностолетие, она была приглашена играть на его юбилее. – Такой весь белый, как одуванчик, дочери вели его под руки».

«Жив курилка, – восхитилась я. – Надо будет навестить его в Ганновере. А вдруг, все-таки, он мой родственник?»

Ян Беленький

ПО СТРАНИЦАМ ЖИЗНИ

Написать о своём происхождении показалось необходимым, чтобы сообщить, что я не был потомком богатых или знаменитых евреев, которые в силу своих связей либо богатства «проталкивали» меня всю жизнь и «делали» из меня человека.

Родители моей мамы были польскими евреями, с трудом сводившими «концы с концами». Дед – сапожником высокой квалификации, однако своей мастерской не имел. Бабушка – полуграмотная домохозяйка. Жили они в Люблине, где в 1910 году родилась моя мама.

В 1914 году Российское Правительство насильно их депортировало со многими другими польскими евреями как немецких «шпионов». Поселили в южном районе города Харькова, где проживала «беднота».

За то, что во время НЭПа дед захотел заняться индивидуальной деятельностью, его как буржуя сослали в Красноярский край, где он погиб.

Мой отец – из белорусских крестьян-евреев, родился в Могилёве. В 19 лет приехал в Харьков, где работал кочегаром в нашем дворе, там познакомился с моей мамой.

Я родился в 1932 году, в 1939-м – брат Геннадий. Наша семья из пяти человек жила в 12 метровой комнате в полуподвале. Отец учился на «рабфаке», в 1939 вступил в партию. Закончив «рабфак», он работал в спортивной организации снабженцем до начала финской войны, когда был срочно мобилизован на фронт. Там заболел цингой, потерял все зубы и был отправлен назад в Харьков. Это спасло ему жизнь во время Отечественной войны. – Он занимал должность снабженца химическими материалами в Харьковском военно-химическом училище, в тылу. Мама, окончив курсы бухгалтеров, работала в столовой.

Бабушка рассказывала, что в шесть лет я мог считать до 1 миллиона, во дворе слыл вундеркиндом.

В сентябре 1940-го я пошёл в школу. Первый класс закончил с похвальной грамотой за месяц до начала войны. В конце сентября Харьков бомбили, ситуация в городе стала неуправляемой. В один из дней на полторке приехал отец и сказал, что через полчаса мы должны быть готовы к эвакуации. Упаковав кое-какие вещи в небольшой чемоданчик, мы погрузились. Успели к последнему эшелону, отправляемому в Восточную Сибирь, в город Канск Красноярского края. Добиралась туда более месяца. Приехали в ноябре в 20 градусный мороз.

В Канске я пошёл во второй класс. Учился отлично, но по поведению была тройка из-за «споров» с учителями. Видимо, уже тогда во мне была заложена необходимость не соглашаться с враньём, унижением, предательством.

В начале сентября 1945 мы возвратились в Харьков, в январе 1946 переехали во Львов, куда перевели Химическое училище, где служил отец. В это время Львов покидало польское население и было много пустых квартир, одну из них мы заняли.

В 1950 году я окончил школу с золотой медалью. Моей мечтой было поступление в Московский Университет на физико-технический факультет, где на старших курсах преподавали известные советские академики-физики, в том числе – Л.Д. Ландау, – у него я мечтал учиться.

Со всеми комсомольскими характеристиками, грамотами об участии в областных олимпиадах и золотым аттестатом я поехал в Москву, поступать на физико-технический факультет. Тогда даже медалисты сдавали семь вступительных экзаменов. Получив 34 балла (одна четвёртка), я не был принят.

Это был первый урок государственного антисемитизма, которого прежде я не ощущал. В это время как раз была развёрнута широкая компания борьбы с безродным космополитизмом.

Полное понимание пришло только в 1953 году, когда началась борьба с врачами-евреями. Смерть Сталина спасла евреев от высылки в Восточную Сибирь, на границу с Китаем.

Вернувшись во Львов, я поступил в Политехнический институт на радиотехнический факультет.

Все 5 лет я учился без единой четвёрки, на втором курсе за студенческую научную работу получил почётную грамоту министерства высшего образования СССР. Мне предложили стать председателем студенческого научного общества. Ленинскую стипендию не дали по понятным причинам.

По окончании Института, во время распределения, мне, как от-

личнику, предоставили возможность первым выбрать направление на работу. Я выбрал Подмосковский научно-исследовательский институт. Спустя два дня, когда все места уже были распределены, мне сообщили, что моё место в исследовательском институте не существует. В то время для получения диплома необходимо было подписать направление на работу. Только одно направление осталось не востребованным – в Ростове на Дону, на заводе переработки отходов радиотехнической промышленности. Подписал, и здесь закончилась моя вера в справедливость нашей власти.

Я пошёл «другим путём», получил открепление, и в результате был принят в «Институт машиноведения и автоматики» АН УССР во Львове.

В феврале 1956 года я и мой руководитель получили первое в нашем институте свидетельство, которое было зарегистрировано, как советское авторское свидетельство на принципиально новую импульсную схему. (Спустя почти 20 лет оно позволило создать дискретную развёртку для плоских мониторов).

Созданный прибор, использовавший мою схему, был испытан на скважинах по добыче нефти. За эту работу институт получил первую в его истории премию президиума АН УССР. В число авторов был включён и я.

Осенью 1958 года, т. е. через три года после окончания института, я представил свою кандидатскую работу на тему «Многоканальные коммутаторы» к защите.

Несмотря на положительные отзывы официальных оппонентов, при голосовании я был провален.

Это был не первый, но достаточно жёсткий урок, который объяснил мне, кто я и как нужно вести себя в дальнейшем.

Для продолжения исследований мне не хватало более глубоких знаний математики, и я поступил на заочное отделение механико-математического факультета Львовского Университета.

К тому времени был уже женат. Моя жена – студентка консерватории. Присутствуя на моей первой провальной защите, стала свидетелем этого фарса. Она всё сделала, чтобы поддержать меня, и я не оставил учёбу в Университете, не забросил научную работу. Я стал работать над новой диссертацией.

Два случайных события открыли мне дорогу не только к защите кандидатской работы, но и докторской.

В наш институт с проверкой приехал вице-президент украинской академии наук, академик В.М. Глушков. Он же директор института кибернетики АН УССР. Крупный учёный, внёсший большой вклад в развитие математического обеспечения для компьютеров. Он заин-

тересовался моей работой и пригласил выступить на учёном совете института кибернетики. Через некоторое время я получил от него положительный отзыв.

Другое событие. Во Львов приехал заведующий кафедрой изменений Куйбышевского Политехнического института, председатель совета по защите кандидатских диссертаций. Ознакомившись с моей работой, он принял её к защите и стал официальным оппонентом.

Защита, состоявшаяся в начале июня 1963 года, прошла успешно. После этого во Львове я защитил дипломный проект по математике в Университете.

В 1965 году по представлению института ВАК присвоил мне учёное звание старшего научного сотрудника.

В это же время в Политехническом институте мне предложили читать лекции студентам стационара и заочникам. Самым трудным было не чтение лекций, а приём экзаменов. Я дал себе слово, что никому не поставлю двойку, если они «дошли» до 4-го курса радиотехнического факультета, значит, я за них никакой ответственности не несу.

Вскоре я был назначен на должность учёного секретаря сектора в моём институте, и это дало мне возможность оказывать помощь многим нашим сотрудникам в подготовке и представлении диссертаций.

Для подготовки к докторской защите мне нужно было опубликовать монографию, которая воспроизвела бы докторскую диссертацию, и «проскочить» через институт – получить его отзыв.

Замечу, что ни с кем я вопросы подготовки к докторской защите не обсуждал, содержание работы никому не показывал. Единственным человеком, с которым обсуждал вопросы защиты, была моя жена, которая как педагог и женщина лучше меня «чувствовала» людей и всегда давала им правильную оценку, что мне помогло во многих случаях.

Монографию я опубликовал. Проблема прохождения через наш институт состояла в том, что я должен был представить работу на учёном совете. Простого решения этой проблемы я не ожидал, но тут вмешались опять два случайных события. Я принял участие в общесоюзной конференции по автоматике, которая проходила на теплоходе «Адмирал Нахимов» в 1967 году.

Мой доклад произвёл впечатление на члена секции прикладных проблем АН СССР, так как работа могла бы быть использована для оборонных целей.

По самой диссертации я не опасался осложнений, т.к. лучше меня эту довольно сложную работу не знал никто. Критика коснулась математических вопросов, однако очень быстро захлебнулась, т.к. никто не знал, что я тоже имею университетское образование математика, а пред-

ложенную мною теорию, естественно, я знал лучше кого бы то ни было...

Один из оппонентов так прокомментировал мою работу: «Беленький – самый лучший математик среди электриков и самый лучший электрик среди математиков».

Защита докторской была назначена на 23 ноября 1969 года в Куйбышеве. И прошла блестяще.

Сразу после защиты я дал краткую телеграмму жене: «Успешно, единогласно, целую Ян».

В дальнейшем моя работа прошла в ВАКе по двум секциям: измерение и радиотехника. Через 1,5 года меня утвердили. Таким образом, я, беспартийный еврей, стал самым молодым в нашем институте доктором, мне было 37 лет.

После утверждения мои «начальники» поняли, что я становлюсь ведущим научным сотрудником сектора и «загнали» меня на десять лет в позорную для доктора наук «яму» – старший научный сотрудник, руководитель, так называемой, «неструктурной лаборатории», грубо говоря, заведующим несуществующей лаборатории.

В 1972 году на всесоюзной конференции я выступил с докладом, в котором показал, как исследовать предельные возможности моих разработок по основным параметрам: точности, быстродействию, числу каналов. Такой подход был предложен впервые.

В дальнейшем я исследовал предельные возможности систем пространственно-временного преобразования информации в общем случае, что позволило мне подойти к построению информационной теории измерительных систем.

После моего доклада ко мне обратилась представительница большого московского закрытого института прикладной физики. Она высоко оценила мой подход и сказала, что для спеццелей, как тогда говорили, им необходим многоканальный, быстродействующий, точный коммутатор, реализующий предельные возможности современных схемных элементов, транзисторов.

Мой шеф сказал, что если всю ответственность по данному договору я беру на себя, то он согласен подписать все договорные документы.

А спеццели были таковы. Этот институт разрабатывал многоканальные системы слежения за тепловыми хвостами ракет. Мы работали, а опытный завод изготовил два экземпляра широко функциональных коммутаторов, которые работали без единой поломки восемь лет на объекте под Ленинградом, пока не были заменены более современными.

Меня пригласили консультантом в этот институт по коммутирую-

щим системам. Наше сотрудничество продолжалось семь лет до момента, когда в 1977 году моя двоюродная сестра выехала в Америку.

После смерти моего шефа директор института согласился на новое направление моей «неструктурной» лаборатории. Мне удалось набрать 15 сотрудников, и директор подписал приказ о новом отделе.

У сотрудников моего отдела был большой интерес к работе, готовились к защите аспиранты, готовились публикации: статьи и монографии, внедрялись разработанные приборы.

В 1982 году об отъезде в Америку моей сестры стало известно. Я был вызван в КГБ. Мне предложили обо всём написать, что я и сделал. Мне порекомендовали не брать закрытые работы, хотя допуска к секретной работе не лишили.

В 1984 году после подачи представления на получения учёного звания профессора я получил подтверждение и аттестат профессора по специальности: «Техническая кибернетика и теория информации».

После окончания сотрудничества с закрытыми организациями интенсивность работы отдела не уменьшилась, появились новые договоры, приносящие весьма ощутимые, как научные, так и финансовые успехи. Однако, по результатам социалистических соревнований мой отдел, как правило, занимал последние и предпоследние места в институте. Самые большие баллы в соревнованиях получали отделы за, так называемую, общественную работу. И «нищий» отдел секретаря партийной организации всегда был впереди.

В 1988 году я и два моих бывших аспиранта, кандидаты технических наук, получили весьма почётную в академии премию за монографию «Управление релаксационными генераторами». Премию вручал Президент Академии Наук Украины, академик Е.О. Патон на общем собрании Академии.

Цель публикации этого эссе, первого в жизни автора, состоит в том, чтобы показать, в каких условиях приходилось работать в высокоинтеллектуальных научных учреждениях, таких, как научно-исследовательские институты академии наук Украины, научным сотрудникам-евреям, если им удавалось стать научными сотрудниками этих институтов.

Это было возможно только потому, что существовал законный, слабо скрываемый, а порой вовсе не скрываемый государственно-партийный антисемитизм. Любое ограничение еврея в правах не было наказуемо, а часто поддерживалось общественным мнением.

Это хорошо знали руководители, особенно те, которые, как учёные, ничего из себя не представляли, и могли безнаказанно эксплуатировать еврейский интеллект, и не только еврейский.

Однако из этого не следует, что среди русских и украинцев не было порядочных людей. Конечно, они были и боролись с несправедливостью, и именно от них всегда хотели избавиться эти эксплуататоры, и избавлялись. И если бы не эти глубоко порядочные люди, которые были, к счастью, и в нашем институте, вряд ли мне удалось бы достичь высоких результатов в науке. Я их буду всегда помнить, был и буду всегда им благодарен.

После всего я стал верить в случайности. Сколько должно было быть случайностей с положительным исходом, чтобы еврею удалось реализовать себя. Без этих случайностей при существующем антисемитизме в стране мне не удалось бы достигнуть таких результатов. Законы СССР при всей болтовне о равенстве национальностей сами по себе не давали такой возможности. Естественно, для реализации этих случайностей нужно было быть подготовленным. Но это уже от внешних факторов не зависело, целиком зависело от человека. Мои работы многократно опубликованы в интернете.

Несколько слов о моём участии в еврейском движении на Украине. В 1988 году разрешили организовывать еврейские культурные общества, и первое общество им. Шолом-Алейхема на Украине было организовано во Львове. Я вошёл в него, и был избран в правление, ответственным за работу с учёными города.

В 1993-ем году мне предложили стать его председателем, однако решение о выезде моей семьи уже было принято, и я отказался. Как память о работе в этом обществе, у меня сохранилась статья из нашей газеты «Шофар», в которой общество поздравило меня с 60-тилетием, а также охарактеризовало мою работу в этом обществе.

После распада Советского Союза на Западной Украине полную силу стало набирать украинское националистическое движение, одним из основных лозунгов которого было, есть и будет: «Геть жиди і москалі». В нашем институте начались сокращения в связи с уменьшением финансирования в науку. Под сокращение попал мой отдел, возглавляемый пенсионером, к тому же евреем. Мне было тогда 62 года. Некоторые сбережения в связи с 10 000 инфляцией превратились в несколько долларов, и мы стали по-настоящему бедствовать. Оставалось срочно эмигрировать.

Мы подали документы, и через шесть месяцев получили приглашение в Берлин.

По приезде, мы с женой вступили в еврейскую общину Берлина, и я стал искать приложение своим знаниям. Первая идея – организация научного общества – была поддержана господином Варди, председателем берлинского отделения ZWST. Я был избран председателем

этого научного общества, которое через 2,5 года я оставил – оно перестало соответствовать моим представлениям.

Будучи председателем общества, я в 1997 году предложил оказывать бесплатную помощь ученикам, детям членов общины. Эта идея привела к созданию Образовательного Центра, который просуществовал 10 лет. В нём я был научным консультантом.

Я стал изучать литературу, связанную с темой: «Евреи-лауреаты Нобелевской премии», которая буквально меня поразила – за 105 лет награждения Нобелевскими премиями было отмечено около 600 лауреатов, среди которых – 130 евреев, что составляет приблизительно 22% при еврейском населении мира около 0,2%.

Удивило меня и то, что до войны число лауреатов-евреев в самой развитой в научном отношении стране – Германии, составило около 40% – почти половина. Евреи до нацистов возглавляли почти все фундаментальные науки: физику, химию, математику, физиологию. Немецкий язык считался международным научным языком, все мировые научные конгрессы, на которых обсуждались генеральные пути развития науки, проходили в Германии.

При нацистском режиме Германия в течение кратчайшего срока, изгнав евреев, потеряла свое мировое первенство в науке. Немногие послевоенные Нобелевские премии Германии получены в содружестве с учёными других стран. Естественно, среди них нет ни одного еврея Германии.

В то же время – в окружённом со всех сторон врагами Израиле их 11, причём 6 получили премии за достижения в науке. В Германии сегодня нет ни одной всемирно признанной научной школы по фундаментальным наукам и в ближайшее время, с моей точки зрения, не намечается их возникновение. Виной этому в значительной мере является система образования в Германии и «закрытость» науки для иностранных учёных, в том числе и для приехавших евреев и их детей.

Поэтому я стал заниматься лекционной работой, с целью показать вклад евреев в мировую цивилизацию.

В заключение моего краткого эссе хотелось бы выразить надежду, что недалеко то время, когда вклад иммигрантов из Советского Союза в науку будет замечен и унаследован нашими детьми и внуками.

Олег Никогосян

БЕРЛИНСКИЕ СОБАКИ

*«Что ж, камин затоплю, буду пить.
Хорошо бы собаку купить...»*

Иван Бунин

Сколько лет живу в Германии, однако ни разу не видел собаки без хозяина. И дело, наверное, не только в совокупности действующих правил, но и просто в немецком менталитете.

В Германии собак любят, и 80% жителей относятся к ним с симпатией. Собаки здесь, как правило, очень мирные и добродушные, готовые к приятному знакомству с незнакомыми людьми и собаками. Простые граждане давно уже не используют их для охраны, не тренируют «на злобу», а современные мягкие методы содержания, основанные на взаимной любви и понимании животных и их хозяев, позволяют животным сохранять добрый нрав.

В основе множества немецких законов и правил, регламентирующих взаимоотношения собак и людей, лежит простой принцип: никто никому не должен мешать.

В Германии взимается налог на собак. Годовая сумма его колеблется в зависимости от города от 100 до 150 евро в год на первую собаку, и от 200 до 300 евро – на последующие, независимо от размеров и породы собаки. Исключением являются только, так называемые, «бойцовые собаки», налог на которых повышен до 615 евро в год. Во многих городах малоимущие и получатели социальной помощи могут получить освобождение от налога или существенное его снижение. Налог не взимается со служебных собак, включая пово-

дырей. В больших городах сумма налога больше, чем в маленьких. Если Вы живёте в городе с большим налогом, можно записать собаку на товарища или родственника, живущего в городе с меньшим налогом. Заплатив налог, вы получите медальон с регистрационным номером. Многие считают, что эти деньги от налога идут на уборку города и благоустройство собачьих площадок. К сожалению, это не так: переживший века налог на «роскошь иметь собаку», представляет собой просто дополнительный доход властей. Поэтому защитники животных, стремящиеся сделать содержание животных в городах более привлекательным и доступным даже малоимущим гражданам, добиваются его отмены. В последние несколько лет в ряде городов им удалось добиться такой отмены.

Разрешение на «провоз собак в общественном транспорте» действует по всей стране. В некоторых городах проезд бесплатен, в некоторых надо платить половину или полную стоимость проезда взрослого пассажира. В поездах дальнего следования маленькие собаки, которые помещаются в сумку, провозятся бесплатно, для больших – покупают детский билет. Но и здесь в отдельных случаях предусмотрены скидки. Перевозить собак в такси также разрешается. Некоторые фирмы по аренде такси даже имеют парк машин, специально обустроенных для перевозки животных. Заказывая машину, надо обязательно сообщить, что вы едите с собакой, поскольку несмотря на всеобщую симпатию к лохматым пассажирам, таксисты нередко избегают их брать. Чтобы не оставалось грязи, надо взять с собой небольшую подстилку для собаки или полотенце, чтобы предохранить сидение. В некоторых городах, например в Дюссельдорфе, существуют специальные такси (Tiertaxi).

На медальоне ошейника можно выгравировать номер телефона и имя собаки. Это делают в любой гравировальной мастерской. Есть также бесплатный регистр потерянных животных: «TASSO» – «Haustierzentralregister», куда можно внести своё животное и, в случае его потери, подать прошение на его поиск. Порядок оформления документов очень прост и предусматривает внесение в компьютер фотографии и подробного описания животного.

Как правило, заметив гуляющее без хозяина животное, граждане содействуют его возвращению домой. Если номер телефона неизвестен, то сообщают в приют или полицию. Если и это не помогло – в бесплатный регистр потерянных животных. Ещё несколько лет назад для предотвращения потери делали татуировки на ухе. Сегодня же распространено микрочипирование – уколом в шею животному вводят чип размером с рисовое зерно. Номер чипа считывается специ-

альными приборами, которые есть во всех приютах и у ветеринаров по всему миру. Стоимость чипа 25-30 Евро.

В Германии действует «Закон о защите животных». Это первый в мире закон, защищающий животных от издевательств. Такие формы издеательства, как самовольное уничтожение и выбрасывание на улицу ненужных животных (вместо этого их отдают в приюты) караются штрафом до 25 тысяч Евро. Строжайший запрет налагается на содержание собак на цепи и в условиях, не соответствующих их виду, купирование ушей и хвостов, уничтожение здоровых животных, отлов и содержание диких животных и птиц, обучение собак с применением издевательских способов, натравливание их на других животных, дрессировка «на злобу», проведение собачьих боёв. Каждый год немцы тратят на своих собак примерно 5 миллиардов евро. В соответствии с обнародованными данными «Союза немецких собаководов», эта цифра включает расходы на покупку собаки, приобретение кормов и сопутствующих товаров, оплату услуг ветеринара и налоговые расходы.

Сегодня в Германии насчитывается более 5 миллионов собак. И намечается тенденция к тому, что их хозяева всё больше балуют своих питомцев предметами роскоши.

Собачьи аксессуары весьма востребованы: ботики и магазины качественных дорогих вещей для собак процветают. Немцы очень любят дарить своим питомцам лакированную обувь, купальники, свадебные наряды, не говоря уж о различных комбинезончиках и шубках. Украшения – тоже должны быть у хорошей собаки, считают немцы и покупают, к примеру, ошейники со стразами от «Сваровски». Но это, конечно, у богатых хозяев, чьи питомцы – разных шикарных мастей и, естественно, с породистой родословной. Обычно этих элитных собак редко увидишь в общедоступных общественных местах.

Сам, как бывший «собачник» (у меня на родине были разные собаки: охотничьи, королевские пуделя, но в основном – чистопородные немецкие овчарки – самые умные, по-моему), я с интересом наблюдаю в Берлине встречающихся собак и их хозяев. Особенно интересно смотреть на них в вагонах городской электрички. У более или менее породистых – хозяева женщины, в основном молодые, которые заботливо подбадривают и приласкивают питомцев, которые зачастую неуютно себя чувствуют среди большого количества незнакомых людей.

Но интересней всего наблюдать собак (в основном помеси), хозяева которых – пьяницы или бомжи. Хозяин развалится, а верная псина преданно и с философским спокойствием лежит у ног. А если

удаётся заглянуть в её глаза, то видишь не тоску – лишь смирение и покорность: «...Да, может мне и не повезло, но что делать... Это – мой хозяин, моя судьба...»

Очень часто такие сценки из нескольких бомжей, одетых в кожу и металл, потягивающих нескончаемое дешёвое пиво из бутылок, равнодушно взирающих на своих собак, лежащих рядом, можно наблюдать у входа на станции метро или электричек: «Friedrichstrasse», «Hackescher Markt», «Alexanderplatz», «Warschauer Strasse» и др.

На земном шаре установлено немало памятников собакам – верным, преданным животным, которые оказывали неоценимую помощь людям. В ряде стран существуют даже кладбища для домашних животных. В Берлине на кладбище для домашних животных установлен памятник собаке-проводнику слепых. Он изображает сидящую собаку с поводковой дужкой, за которую держится во время движения незрячий человек.

Всё-таки, в чём причина, что в наш техно-модернизированный век люди испытывают такую тягу к домашним животным, особенно к собакам? Что это, попытка почувствовать естество природы? Будучи одиноким (может в душе), иметь рядом с собой живое общение? Или просто дело в нас самих, надломленных жизнью и безразличием близких, когда радостно ощущаешь живое взаимопонимание, когда чувствуешь, что тебе всегда рады и преданны не за какие-то твои достоинства или привычки, а просто потому, что ты есть рядом, даже такой вот...

Может, так это и есть...

Леонид Немировский

ВСПОМИНАЯ ТЕАТР

В 70-е годы «Театр Киноактера» покорял Москву уникальным зрелищем. Это был искромётный мюзикл Кола Портера на сюжет самого Шекспира. И звучал он броско - вызывающе: «Целуй меня, Кэт!»

Затем спектакль неожиданно сошел: умер Евгений Синицын, талантливый дирижер, сумевший сплотить и «укротить» звездный состав спектакля. А ведь там блистали: Людмила Гурченко, Сергей Мартинсон, Зинаида Кириенко ...

К моему появлению в Театре в начале 80-х годов спектакля уже не было. Но страстные разговоры о нём не умолкали. С маниакальным постоянством обсуждались все успехи и неудачи, все перипетии актёрской игры. В кулуарах разыгрывались мизансцены, звучали арии и куплеты, дробил «стэп» красавчик Ахметов... «Кэт», лишённая своего курса и капитана, гудя и пульсируя, продолжала плаванье по огромному зданию театра!

Шло время. Всполохами былого озарялись вечера, когда в Театре давали «Дурочку» по пьесе Лопе де Вега. Наталия Гурзо умно и изящно вела главную партию. Саша Белявский, наш секс-символ, (еще термин не было, но «Секс» уже появился) пленял женщин прямо со сцены! Татьяну Конюхову оглушали аплодисментами...

Но веселое действие с добротной «музычкой» мало устраивало артистов: оно не тянуло даже на оперетту. В театре назревал бунт. Никто не хотел работать! Инфицированные «мюзиклом» актеры требовали каскада музыки на сцене, желая петь и двигаться, тянулись не к словесно-серому, а к музыкально-пластическому самовыражению!

Дирекция негодовала: «Бунт? В театре?! Вот вам, держите: исконный, родной «Бабий бунт»... Что? Да то ж наша, советская Оперетта! Не

нравится? «Музиклы» вам подавай, мать вашу... До вас сам Шолохов сошел, и Птичкин, композитор, до Шолохова взлетел (хоть яврей, а тот – антисемит). – И Мотю из Одессы позвали ставить... – Ну шо, делаем спектакль? А то – бунт! Ишь, «бундовци»! За работу, бл., товарищи!»

И закипела работа!..

Тогда я уже числился в штате Театра. Легко распроцавшись с Музыкальной школой, с её нудной педагогикой, премудрости которой так и не освоил, я ринулся в Театр со страстью грибоедовского героя, припав к ногам Мельпомены. Наконец я понял своё назначение: учить актёров и учиться у них. О, это было неизъяснимое наслаждение!

Сидя в классе, куда входили зримые и осязаемые, ступающие с Олимпа богини Кино – Фатеева, Ладынина, Кириенко – я, как Данило-мастер, очарованный Каменным цветком, молил Бога, глядя на своих Хозяек, не оставлять меня в моей работе! Бог милостив был ко мне, Богини – тоже.

С огромным тщанием мы изучали партитуру «Бабьего бунта». Перелопатили горы музыки: хоры и арии, ансамбли и куплеты – словом, всё, что полагается советской оперетте с острой тематикой личных и гражданских отношений.

Посчастливилось мне войти в богатый музыкальный мир композитора Евгения Птичкина. Лихо освоивший псевдорусский стиль и оросив его сентиментальной семитской слезой, композитор создал довольно милую оперетту.

Познакомился я также с «великой» певицей, Зинаидой Кириенко, с её «незаурядной» Личностью. До сих пор сию под впечатлением!..

И низкий поклон художественному руководителю одесского Театра музыкальной комедии, уважаемому Матвеем Абрамовичу Ошеровскому! Талантливому режиссеру удалось из нашего посредственного либретто извлечь нечто суразное и выстроить вполне зримое и очень яркое действие. Правда, порой на сцене бывало тесно и шумно, как на Привозе. Ну, а что – Привоз – это ведь тоже произведение искусства!

Василий Левин

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ

Параллельные миры, существуют ли они?

Я воспринимал это выражение, как литературный приём, но случайно пришло понимание, что параллельный мир – отражение реального. Произошло это благодаря дню рождения хорошего знакомого. Он предложил мне прочитать его стихи из нового сборника. Интуитивно почувствовал – должно произойти что-то необычное и, наугад, открыл сборник. Первое же попавшееся стихотворение было о вокзалах, о расставаниях и неизвестности будущих событий. Прочитав, я не мог освободиться от лёгкой меланхолии и, распрощавшись с именинником, ушёл.

Золотые купола полуразрушенного здания Новой Берлинской Синагоги, мимо которой я прошёл, всегда наполнены тайной грустью и величием. Они трагически возвышаются над Берлином, и все жители столицы относятся к ним с чувством сопричастности к произошедшим здесь событиям геноцида евреев во время Второй Мировой Войны. Проходя мимо, они стараются говорить тихо и никогда не смеются. Это – дань памяти всем невинным жертвам. Энергетика этого здания, наполненная трагедией безвинно погибших, передавалась и мне. Захотелось немного пройтись по Берлину, чтобы избавиться от подавленного настроения.

Зимний вечер этого дня только начинал тихо опускаться на город. Окна домов, уличные фонари золотистыми огнями празднично освещали город. Прохожие никуда не спешили, и столица Германии в вечерней таинственности наполнила меня романтическим настроением.

Мне надо было в сторону Александершлатц, но я передумал и поехал к Центральному Вокзалу. Захотелось окупнуться в его удивитель-

ную атмосферу, снимающую стресс. Герой одного из моих рассказов расстался со своей возлюбленной и, мечтая снова встретиться с нею, приходит на перрон этого вокзала. Мне захотелось какой-то отрезок времени прожить его жизнью, окунувшись в сутолоку вокзальной суеты.

Выйдя на платформу, я погрузился в вереницу движения поездов и пассажиров. Архитектурный замысел этого суперсовременного вокзала позволяет ему быть лёгким, парящим над возрождающейся столицей нового тысячелетия, в которой сошлись воедино – с их противоречиями и устремлениями – Запад и Восток. Я присел на одну из скамеек. Проходящие мимо люди, обрывки их разговоров несколько меня не раздражали. Я любовался прозрачной конструкцией этого гиганта, как вдруг – купол вокзала ожил. По стеклянному своду мчались поезда, сотни ног шагали по нему. Они двигались по потолку вниз головой, не падая. Я подумал, вот он – удивительный параллельный мир – зеркальное отражение того, что происходит на нижних уровнях этого монстра. Верхние и нижние уровни вокзала, со всем своим содержимым, поездами и пассажирами, оказывали влияние друг на друга, отражаясь в стеклянном куполе. И я тоже, находясь на верхней платформе, одновременно был там, в вышине, в параллельном мире иллюзий. Фантастика.

Вдоволь насладившись эффектом параллельности, я сел в вагон, идущий в моём направлении. Вспомнил недавно прочитанное стихотворение о поездах и вокзалах и понял, что всё это не случайно. Параллельность миров существует. Я смотрел на пассажиров, на их отражение в окнах вагона и ловил оттуда, из-за окна, их взгляды и улыбки. Возможно, что и там, в бесконечной вселенной, наша Земля тоже отражается в чём-то, и иные миры улыбаются нам.

Ася Вайсберг-Процко

ВСТРЕЧИ С «МЫСЛИТЕЛЕМ»

Три дня в Париже!

Из Берлина в Париж, ради экономии времени и денег, ехали только ночью... Встреча с экскурсоводом назначена в обусловленном месте, в центре столицы Франции... Едем по Парижу!!

Стандартные призывы нашей гидши: – «Посмотрите НАПРАВО... А теперь взгляните НАЛЕВО»... Хрустят шейные позвонки... Отовсюду видна кружевная «Башня Эйфеля»... Вот и роскошный мост – подарок Российского Императора французскому народу... Пантеон Наполеона... Дух захватывает... Действительно, «увидеть Париж и....» Нет и НЕТ! Тем более не хочется умирать от эдакой красоты...

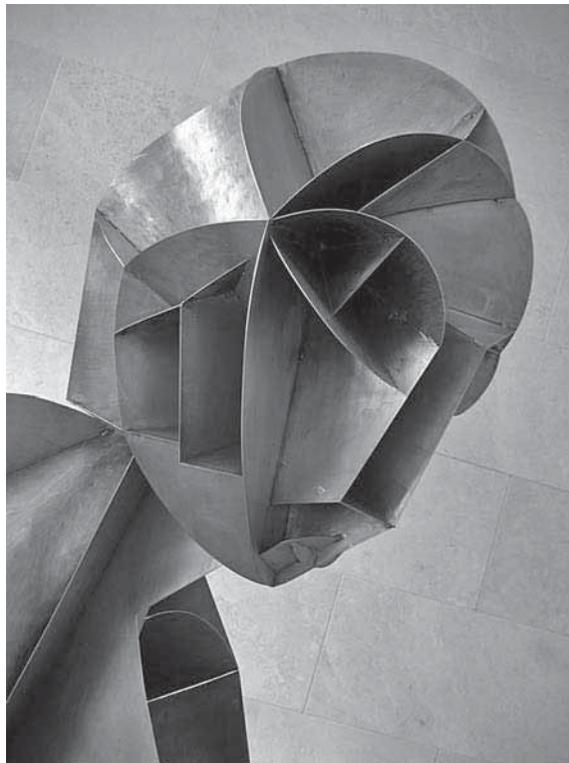
Запомнить её на всю оставшуюся жизнь... Вот и площадь театров... Экскурсовод фонтанирует эрудицией: – «Гранд-Опера... Театр Сары Бернар....» Вспомнили и беднягу Айседору Дункан, Сергея Есенина... Вот и песня в исполнении Александра Малинина: «О, Айседора, вернись назад; О, Айседора, в Париже афиши висят...» И её скульптурный портрет в музее «Орсе» с алым шарфом... Прекрасная жизнь и трагическая гибель ... И опять – только вперёд! «Посмотрите направо! Налево! А теперь все дружно выходим и не опаздываем к автобусу...»

...Часа через полтора попадают уже увиденные сегодня городские кварталы. И глухой забор уже в третий раз. Всё ясно до деталей: возвышается нечто, давно знакомое... Тот же могучий торс с рельефно вылепленной полусогнутой спиной... Ну конечно! Это он – роденовский «Мыслитель», присевший на века, в несколько пикантной позе... Забор всё же не помешал узнать шедевр великого Мастера. Но почему же спиной к нам, то есть, к народу?! Но гидессу не смутить: « Да, да! Это он! Великое творение! А несколько странная для

экспозиции обстановка объясняется, по-французски, прагматично! Нужно было Парижской Мэрии выпрямить улицу и ради этого лишить мастерскую Родена одного из его эскизов. В итоге этой «экспроприации» – миллионы туристов лицезреют, а парижане, надеюсь – стыдятся смотреть изо дня в день, на одну и ту же согбенную спинку... Бывшие советские, а ныне – полностью освобождённые туристы, добродушно посмеиваясь, вспоминали недавнее время полной свободы столичных архитекторов и сегодняшних миллионеров, прикупивших и вволю поглумившихся над национальной гордостью перестраиваемых городов... Но едем дальше. Опять «позадь забора». Спина та же... Только унитаза, на который, всем очевидно, уж давно взгромоздился «Долгомыслитель», так и не видно...

Пафос от первой встречи с Чудом искусства исчез. Кто виноват? Ну, конечно, виновны все, кто пообещал о нас позаботиться: накормить, напоить, спать уложить. Увы, в будущем нашем отеле что-то не состыковалось, почему и пришлось нашему автобусу делать по Парижу лишние витки...

И всё-таки не будем брюзжать на реалии... Эта простенькая историчка вспомнилась ещё раз, гораздо позже, в третьем году нового столетия февральским утром на Парижской площади в Берлине, у Бранденбургских ворот. Осеняемая репатрированным из Франции бронзовым Аполлоном, на гигантском унитазе (!), согласно ли замыслу Родена, или вопреки, по-прежнему (или пока ещё нет), молча сидел сам «Мыслитель» в первозданном виде. А не была ли эта, якобы художественная акция ответом (и явно не без иронии) на «зазаборное» существование гениальной скульптуры у себя на родине, в славном городе Париже?



Новые переводы

Давид Яновский

С немецкого

ЭЛЬЗА Р. БЕРЕНД – РОЗЕНФЕЛЬД

*Перевод сделан по книге Elise R. Behrend-Rosenfeld: «Ich stand nicht lleine»,
Europäische verlaganstalt - Dritte Auflage 1979 Köln, Frankfurt am Main.*

БЕГСТВО ИЗ АДА

Предисловие

Эльза Бернд - Розенфельд родилась в 1891 году в еврейской семье в Берлине. Изучала историю и философию. Во время Первой мировой добровольно работала на фабрике военного обмундирования.

Стала доктором философии. Работала психологом и социологом в женской тюрьме в Берлине. В 1920 году вышла замуж за адвоката Зигфрида Розенфельда, который во время Веймарской республики был членом ландтага от социал-демократов и министром юстиции Пруссии. С приходом нацистов к власти оба лишились работы и переехали с двумя детьми в Баварию. В апреле 1939 года им удалось отправить детей в Англию. За пять дней до начала Второй мировой удалось получить визу на выезд в Англию, но только для Зигфрида. Он не хотел ехать один, но Эльза его уговорила, т.к. ему, как еврею и видному социал-демократу угрожала неминуемая гибель. После отъезда мужа Эльза попала в Мюнхенское гетто.

Когда угроза депортации стала неотвратимой, она бежала и жила нелегально в Берлине, а потом во Фрайбурге. Когда во время пребывания во Фрайбурге возникла реальная угроза разоблачения, она

решилась на отчаянный шаг: бежать в Швейцарию. Эльза очень тяжело переживала разлуку с мужем и с первых же дней стала регулярно писать ему письма, которые отправить, конечно же, не могла. Эти письма составили своеобразный дневник, изданный в Швейцарии в ноябре 1945-го года. Эту книгу Эльза Беренд - Розенфельд озаглавила: «Я была не одна», т.к. она спаслась только благодаря тому, что всё время находились люди, которые помогали ей выжить.

Отрывки из последнего письма этой книги приводится ниже.

Шафхаузен, Швейцария, 24 апреля 1944г.

Да, для меня настал конец рабства, но для меня это, как сон, и я боюсь проснуться. Но я хочу рассказать тебе обо всём подробно. Мне пришлось выдержать ещё одно тяжёлое испытание. (За 14 дней до написания этого письма стало известно, что в полицию поступил донос от соседки, которая сообщала, будто Эльза говорила, что война проиграна. Прим. перев.)

Следующие дни были ужасны. При каждом неожиданном звонке меня бросало в дрожь. Мы решили, что при каждом подозрительном шуме я должна прятаться в туалете на лестничной площадке, т.к. второго выхода у нас нет. То, что при тщательном обыске это не будет надёжным убежищем, мне было ясно. Я могла только надеяться, что до этого дело не дойдёт.

18-го апреля пришла телеграмма от Геллы. (Подруга, которая организовала побег. Прим. перев.) Она приедет 19-го и я должна быть готова. Моё напряжение стало невыносимым. Я встретила Геллу на вокзале. Отъезд назначен на 20-е. Итак, я должна перейти границу как раз в день рождения Гитлера. Дата выбрана явно намеренно. Я хотела узнать, сколько это будет стоить.

«С большим трудом я добилась, чтобы они вообще взяли немецкие деньги, – сказала она. – Ты, наверное, последняя, для кого они это сделают, и они требуют кроме того набор постельного белья и золотое кольцо. Но главное, это то, что мы всё это можем дать, и у нас всё должно получиться».

«Куда я должна поехать, и как это всё произойдёт?» – спросила я. «Я тебе всё подробно расскажу. Завтра мы едем в Зинген. Ты не должна брать никакого чемодана, самое большее – рюкзак и большая сумка. Ты не должна одевать шапку, только повязать платок. И как опознавательный знак, только не смейся, ты должна держать в руках веник».

Рюкзак я упаковала быстро. Сложнее было решить вопрос, что надеть на себя. Но у меня уже был опыт многократных переездов. Я

надела три пары нижнего белья, два летних платья, юбку и блузу, а сверху зимнее пальто. Я выглядела несколько толстоватой, но ничего бросающегося в глаза во мне не было.

Я не могу тебе передать, как я благодарна Гелле за то, что она меня проводила! Мы вовремя прибыли в Зинген и сдали пакет с бельём в камеру хранения. Гелла осталась ждать меня в близлежащем трактуре, а я пошла. Медленно, напряжённо всматриваясь, шла я предписанным мне путём. И вот там, на той стороне, я увидела маленького мужчину, который курил сигарету и равнодушно поглядывал на прохожих. Мне показалось, что, увидев меня, он едва заметно кивнул головой и подмигнул мне. Он спокойно повернулся и пошёл по поперечной улице. Я пошла за ним. Моё сердце билось так сильно, что я боялась, что оно разорвётся. Но что это? Мужчина, которого я не упустила из виду, опять повернулся и прошёл мимо меня. Неужели я ошиблась? Но я не могла теперь пойти за ним, это слишком бы бросалось в глаза, и я продолжала медленно идти по улице в первоначальном направлении. И вот – сердце моё вздрогнуло – этот мужчина опять прошёл мимо меня и пошёл чуть быстрее передо мной. Это был он! Теперь я была уверена! Постепенно людей на улице становилось всё меньше, дома уже не стояли рядом друг с другом, между ними вклинивались сады и поля, и скоро мы оставили за собой последнее жильё. Тут мужчина остановился и дал мне подойти к нему. «Я пришла от Ксавера» – назвала я пароль. Он кивнул: «Вы действовали правильно. С Вами можно иметь дело», – сказал он одобрительно. Должна тебе сказать, что человек – странное создание. От этих слов чужого, совершенно безразличного мне человека, я почувствовала себя польщённой. Потом он сказал: «У Вас есть багажная квитанция? – Я отдала её ему. – А остальное? – Конверт с деньгами и золотое кольцо перекочевали в его руку. – Хорошо, – продолжил он. – Сегодня вечером, без четверти девять, Вы придёте на вокзал, станете возле контроля и подождёте меня. Вы пойдёте сразу за мной, у меня будет Ваш билет, и я его закомпостирую с моим. Потом Вы пойдёте на первый путь, направо вниз, там в конце стоит маленький местный поезд. Вы сядете в него и будете ждать меня. Поезд отправляется в 9-05». – Он кивнул мне и исчез.

Я ещё немного подождала и пошла обратно. Внезапно мне стало жарко. Правильно ли сделала я, что отдала всё этому мужчине? Но всё уже сделано, надо успокоиться и ждать – успокаивала я себя. Как хорошо, что меня ждала Гелла, человек, ко мне расположенный и у которого я могла найти понимание и сочувствие. Я села рядом и рассказала ей всё. Когда я высказала ей мои соображения, она сказала:

«Твои тревоги излишни. Ты сделала всё так, как договорились. Будем надеяться, что всё будет хорошо».

Было уже совсем темно, когда мы с Геллой пришли на вокзал. Она купила перронный билет и стала напротив меня возле контроля. И вот появился тот маленький мужчина. Он медленно пошёл к контролю, я пошла за ним. Я вышла на платформу и пошла направо. Я почти ничего не видела, мои глаза были ещё ослеплены светом вокзала. Гелла шла за мной. Мы дошли до поезда, состоявшего из нескольких вагонов. Маленький мужчина был уже там. «Садитесь, – сказал он тихо. – Вот Ваш билет. Я сяду в поезд через две остановки. Мне эта толпа опасна. Я поеду велосипедом». – С этими словами он исчез. Гелла подошла ко мне и мы быстро попрощались. Я не могла говорить, у меня ком стоял в горле. Она ушла – последний человек, который связывал меня с моим прошлым, со всей моей предыдущей жизнью. Я вошла в обозначенный вагон, который был ещё почти пуст, и села возле двери. Вагон между тем наполнился, и поезд тронулся. Поезд ехал, не спеша, в вагоне было темно. Пришёл проводник, я предъявила билет. Проводник спросил меня: «Где Вы выходите?» Я испугалась, потому что не имела никакого представления, и сказала наоборот: «На третьей остановке». Он ушёл, оставив меня в большом беспокойстве. Мы проехали одну остановку, потом вторую. Тут дверь открылась, кто-то вошёл и сел напротив меня. «Это я, – сказал маленький мужчина. Я облегчённо вздохнула и рассказала ему о разговоре с проводником. – Это ничего, – успокоил он меня, – мы едем до конечной. Я это улажу». На третьей остановке пришёл проводник и спросил меня: «Вы выходите?» Маленький мужчина ответил вместо меня: «Фрау ошиблась. Она думала, что Бойрон – третья остановка».

Проводник ушёл. Не знаю, сколько остановок мы ещё проехали. Перед последней остановкой мужчина сказал: «Мы приехали». Я вышла за ним. Мне показалось, что стало ещё темнее. Маленький мужчина сказал мне, чтобы я подождала, пока он возьмёт из багажного отделения свой велосипед. И сейчас он мог меня покинуть, я была в его руках. Следующие минуты показались мне вечностью. Но в это время я услышала его голос: «Идёмте! – Мы прошли несколько шагов. – Здесь мы должны встретиться с мужчиной, который поведёт Вас дальше», – сказал он тихо. Мы подождали. Тут к нам кто-то подошёл, я могла рассмотреть только, что этот второй в противоположность первому был большим.

Маленький что-то передал ему: «Вот деньги, – услышала я его голос. – Как дела?» – продолжил он. «Плохо, – ответил второй коротко. Я испугалась. – Но мы всё-таки попробуем», – прозвучал опять голос

большого из темноты. «Хорошо, тогда я пойду», – ответил маленький, и темнота поглотила его.

Большой обратился ко мне: «Идите за мной примерно на расстоянии двадцати шагов», – закурил сигарету, сделал несколько затяжек и пошёл. Я пошла за ним. Время от времени я видела в темноте горящую точку сигареты идущего впереди мужчины. Я чувствовала, что мы идём по просёлочной дороге, сначала, наверное, через деревню, на что указывал лай собак и мычание коров. Потом эти звуки прекратились, и на нас навалилась ужасная тишина. Я слышала лишь глухие шаги мужчины перед собой. Мне казалось, что мы идём бесконечно долго, я потеряла чувство времени. Потом мне показалось, что мы опять приблизились к деревне, человеческие голоса зазвучали глухо и исчезли. Мы шли дальше. Внезапно меня пронзил ужасный страх. Я потеряла мужчину, я его не видела и не слышала. Что делать?

Моё сердце билось, как молот, и его стук заглушал все другие звуки. Я остановилась. Как долго я стояла? Я не знаю, я знаю только, что передо мной прошла вся моя предыдущая жизнь: далёкие счастливые годы, прожитые вместе, и близкое время разлуки со всеми бедами, с необъятным морем страданий и в нём, как острова – человеческая красота и благородство.

Но что это, блуждающий огонёк, призрак или в самом деле ко мне приближается горящая точка сигареты? Да, это он! Он подошёл и шёпотом сказал: «Третий не пришёл. Возьмите меня за руку. Мы должны сойти с дороги». Молча, я взяла его за руку. Я чувствовала, что мы идём по луку. Мы остановились. «Здесь колючая проволока, – прошептал он. – Вы чувствуете её?» – Он осторожно подвёл к ней мою руку. «Да!» – ответила я. «Переступите через неё. Я поддерживаю Вас, – последовал его приказ. Я повиновалась. Теперь мы оба стояли по ту сторону колючей проволоки. – Слышите Вы ручей внизу?» – спросил он. Я ответила утвердительно. – Мы находимся на склоне, который идёт параллельно ручью. Идите по возможности на одной и той же высоте дальше. Шум ручья укажет Вам направление. – Он поднял руку с горячей сигаретой. – По эту сторону ручья граница и швейцарская таможня. До неё Вы должны добраться. Дайте Ваше почтовое удостоверение и карточку на одежду». Я передала и то и другое. Было договорено, что это будет знаком того, что я перешла границу. Но до этого ведь было ещё далеко!

«Проводите меня немного дальше, – сказала я. – Я ничего не вижу!» «Нет, – возразил он. – Это слишком опасно для меня. Дальше Вы должны идти одна». И он исчез как призрак. Внизу шумел ручей, я пошла, медленно ставя ноги. Я чувствовала, что иду по луговому отко-

су, который довольно круто спускался к ручью. И так, надо было идти осторожно! Было тихо, и шум ручья только усиливал тишину. Мне казалось, что я бреду вне обитаемого мира, в каком-то потустороннем царстве, в котором кроме меня нет никого. Я почувствовала, что потеряла своё прошлое, а между мной и будущим образовалась глубокая пропасть. Я её преодолею или это конец? Но тут меня наполнила глубокая вера в божественную силу судьбы. Я с удивлением поняла, что чувство одиночества внезапно покинуло меня. Я пошла вперёд, сосредоточившись только на том, чтобы осторожно ставить ноги.

И вдруг, бах, и я уже лежу! На пути оказалась глубокая канава, в которую я упала. Я быстро поднялась, всё было в порядке. Но где моя сумка? Я её держала в левой руке, у которой из-за повреждения понижена чувствительность. В сумке были единственные уцелевшие фото, твои и детей, сокровище, которое я не хотела терять. А ещё золотой браслет и много нужных мелочей. Я ошупала правой рукой всё вокруг. Ничего! Но я не могу тут долго оставаться, это очень опасно. Мне надо идти и не терять направления. Надо оставить сумку и не жалеть ни о чём материальном. И так, дальше. Откуда-то издалека донёсся церковный звон. Я не считала удары, время меня не интересовало. Я шла ещё медленней, ставила ноги ещё осторожней. И вдруг земля ушла из-под ног, я упала, тысячи пылающих звёзд плясали у меня перед глазами. Какое-то время я лежала совсем неподвижно. Я чувствовала под собой каменные плиты. Я попробовала встать, но ужасная боль в левой ноге заставила меня опуститься.

Очевидно, я сломала ногу. Если бы я хоть знала, где нахожусь! Тут я услышала шаги и увидела свет фонаря. Наверное, в доме, который прилегал к каменным плитам или цементу, на который я упала, слышали шум, и кто-то вышел посмотреть. Я закричала, скрываться было бесполезно, ведь я без посторонней помощи не могла подняться.

Свет фонаря приблизился. «Скажите, пожалуйста, где я?» – спросила я, и в моём голосе, видимо, прозвучал такой страх, что мужской голос тут же ответил успокаивающе: «Не бойтесь, Вы на земле Швейцарии!»

Я упала прямо во дворе швейцарской таможни. Его голос прозвучал для меня, как голос небесного посланника. Несмотря на боль в ноге, я почувствовала радость и облегчение. Ко мне подошли двое мужчин. «Кажется я сломала ногу?» – сказала я после короткого приветствия. Они подняли меня, осторожно занесли в дом и уложили на скамью. Я рассказала таможенникам, что я из Зингена. «Я вызову скорую помощь и сообщу по телефону в полицию», – сказал один из них.

Скоро приехали врач и полицейский. Оба приветствовали меня

очень дружелюбно. Врач осторожно обследовал мою левую ногу. «Надо разрезать сапог, иначе Вам будет очень больно, – сказал он. Я попросила не резать. Врач подумал немного и сказал: – Хорошо, я сделаю Вам укол морфия, тогда будет не так больно». Пока не подействовал укол, я ответила на вопросы полицейского. Я коротко описала дорогу, но об организации перехода я ничего не знала, а лица моих спутников из-за волнения я не запомнила. «Это чудо, что Вы сломали только ногу. Вы упали с высоты 2,5 метра». Между тем укол подействовал, и врач начал осторожно снимать сапог. Было довольно больно, но что мне теперь была эта боль! Наконец, врач снял сапог, наложил шину и перевязал ногу. Затем он вызвал по телефону машину.

Я видно задремала, и только наполовину проснулась, когда врач и один из таможенников уложили меня в машину.

Я проснулась, когда машина остановилась перед ярко освещённым домом, и меня занесли в помещение. Две женщины, одна из которых была диаконисой, начали меня раздевать. Издалека я слышала их тихий смех, когда они снимали с меня очередную оболочку. Но мне было всё равно. Я достигла желанной цели: моя такая ужасная, опасная и всё же часто такая удивительная жизнь в царстве беззакония и бесправия окончилась.

С украинского

ЛИНА КОСТЕНКО (род. 1930)

* * *

Во мне есть кто-то. Спрашиваю: «Кто ты?»
«Не знаю, – говорит. – Быть может, кто в роду».
Меня водил под руку Аристотель
в каком-то удивительном саду.

Под вечер солнце закатилось в лузу.
И в Риме правил Тит или Нерон.
А я жила в то время в Сиракузах,
стихи писала золотым пером.

Повсюду я своя, и мне нигде нет места.
Душа летит в сиянии эпох.
Где этот путь начался – неизвестно.
Где кончится он, – знает только Бог.

* * *

Вчера в грозу ко мне явился Блок.
Мокроволосый, на щеках розинки.
От мыслей тихий, бледный от тревог,
почти в слезах, реальный до ворсинки.

Слегка помедлил, слов не говорил,
поулыбался дивными очами.
И ночь в изломах врубелевских крыл
стояла долго за его плечами.

* * *

Легко пусть будет. Кончиком пера.
Пусть будет вечно. Памяти сильней.
Весь белый свет – он лишь берёз кора,
побеленная после чёрных дней.

Сегодня снег пытался пасть не раз.
Сегодня дымом захлестнулась осень.
Пусть будет горько. Памятью о Вас.
Светло пусть будет. Память в рай уносит.

Печаль пусть не разбудит телефон.
Не тронет грусть почтовыми листами.
Легко пусть будет. Это только сон,
что чуть коснулся памяти устами.

* * *

Моя печальная, ты вновь явилась, муза.
Не бойся, я тружусь. Твой не напрасен дар.
Плывёт над миром осень, как медуза,
и листья мокрые укрыли тротуар.
А на тебе лишь лёгкие сандалии,
твой плащик на плечах промок насквозь.
О, как ты шла сквозь дождь из дальней дали!
Как тяжело тебе в пути пришлось!

Ты где скиталась, в Космосе иль в Спарте?
Каким векам светила ты во мгле?
И по какой непостижимой карте
поэтов ты находишь на земле?
Ты им судьбу диктуешь, не сонеты.
Твой лоб высок, во взгляде блеск огня.
Счастливее и лучше есть поэты.
Спасибо, что ты выбрала меня.

* * *

Всё изменилось: люди, времена.
Двадцатый век уже пропал из виду.
Сегодня миру колбаса нужна,
хоть в ней холестерин и нуклеиды.

Упала тень на отчие гробы.
Скупать противно чёрту наши души.
В лесах дрожат испуганно грибы.
С деревьев прыгают сомнительные грибы.

Эпоху захлестнуло, как Дункан.
Постойте, пожалейте век недужный.
Поэзия нужна лишь чудакам.
Поэты никому уже не нужны.

* * *

Темп бешеный. Остановить не в силах.
Фантастика – не думал и Жюль Верн.
Клокочет современность в наших жилах.
Нас из металла выковал модерн.

Наш дух перед вселенною распахнут.
Так почему ж его так потрясли
простые яблоки, что так печально пахнут,
и руки матери, что яблоки внесли?!

* * *

Под Киевом, в посёлке Корчеватый.
Сорок второй, война. Военный склад.
Пятнистый пёсик бегаёт лохматый.

От скуки немец поднял автомат.
И целится. Ведь холодно и скучно
стоять ему, арийцу, на посту.
А всё вокруг безлюдно и бездушно,
ведь все обходят немца за версту.
Миг оставляет в памяти эстампы.
Ворона небо сбросила на дно.
Как много льда растаяло за рампой,
там, после той зимы, давно!
Уже давно повырастали внуки,
Уже там трассу вывели в дугу.
... А всё тот немец целится от скуки
... А всё скулит тот пёсик на снегу.

* * *

Нежданно и негаданно
я в глухомань зашла.
Сосна там пахнет ладаном
в кадьнице дупла.

Там вечер пахнет мятою,
аж холодно шмелю.
А я тебя, а я тебя,
а я тебя люблю.

Ловлю твоё свечение
сквозь музыку берёз.
Люблю до помрачения,
до немоты, до слёз.
Не выпила стакана я.
Без водки, без вина,
я пьяная, я пьяная,
навекы я пьяна.

* * *

Парадно осень вышивает клёны
багряным, жёлтым, бурым, золотым.
А листья просят: «Вышей нас зелёным!
Мы проживём ещё, не облетим.
Дай хоть немного солнечной утехи!
Сады прекрасны, росы, как вино».

Вороны пьют разбитые орехи.
А что им, чёрным? Чёрным всё равно.

[249]

* * *

Ещё осенний сад нам яблочки растит.
На ветке два листка хранят друг друга.
И ночью что-то тихо шелестит.
И окна чёрные застыли от испуга.
В глазах рассветов светится огонь.
А меж стволами тень мелькнула где-то...
То белый конь,
то белый - белый конь.
В сухой листве он ищет лето.

* * *

С трудом шиповник отдаёт плоды.
Он человека за рукав хватает.
Ему кричит: «Постой, послушай ты!
Не жадничай! – его он умоляет. –
Не все, не все! Прошу не для себя.
Меня давно одна синичка просит!
Я тут для всех, не только для тебя.
И просто, чтоб была красива осень».

Феликс Фельдман

С немецкого

ТЕОДОР ШТОРМ (1817 – 1888)

ВОЗВЫШЕННАЯ ПЕСНЬ

Весь рынок опустел, пуста палатка,
В рядах по ветру вьются тучи хлама,
А меж рядов, в пыли, средь беспорядка
Сидит дитя еврея Абрахама.
Лежит спокойно на руке чело,
И грудь вздымается под лёгкой блузой;
В глазах горячих солнечно светло,
И зреют губы алые для музыки.
Молчат уста, и локон вьётся чёрный
Вкруг лба, как мыслей след минорный.
Она в священный текст погружена
И арфой короля поражена,
Который златострунных звуков мёд,
Как песнь любви, сионской деве шлёт.

В СЛОВАХ ПРИЗНАТЬСЯ, ТЫ НЕ ХОЧЕШЬ

В словах признаться, ты не хочешь;
Но пылко жгут твои уста,
А ритмы пульса сердце точат,
И тайна сердца понята.

Голубкой прочь летишь, но снова
Ты на груди и вновь резва;

Ты у любви давно в оковах,
Но сознаёшь её едва.

Ты, отстраняя стан свой стройный,
Меня целуешь всё равно;
Держаться хочешь ты достойно,
Себя ж утратила давно.
Ты знаешь: нам назад нет ходу;
Но отчего ж ты так скудна?
Вернуть свой долг любви в угоду
Должна ты. Верно, ты должна.
Желанья страхи исключали,
В итоге сброжено вино;
Стыду же, бывшему вначале,
В любви исчезнуть суждено.

РАЙНЕР МАРИА РИЛЬКЕ (1875 – 1926)

ОСЕНЬ

Кружится, падая, листва из зыбкой дали,
Из вянущих садов небесных, горних,
Как в жестах отрицательно-покорных.

И в одиночество мячом игорным
Земля ночами падает в печали.

Всё в мире смертно. Ты взгляни вокруг,
Мы все в паденьи, в отрицаньи вечном.

И ты, и я. Но есть Один. Предвечный,
Что размыкает бесконечный круг.

ГЕРМАН ГЕССЕ (1877 – 1952)

СТУПЕНИ

Цветенье чахнет каждое. А юность
Старенью уступает путь. И жизни,
И благонравия расцветы, мудрость,
Не могут продолжаться бесконечно.

А сердце, одарённое харизмой,
Должно и к расставанью, и к началу
Других начал и связей быстротечных
Готовым быть, бестрепетно и смело.
Ведь в новом – волшебство первоначала,
Что, всех храня, питает дух и тело.

Нас учит дух осваивать пространства,
Страну любить, а не героев власти,
Шагать, круша оковы разной масти,
Ступенями «per aspera ad astra».
Едва мы предаём себя уюту,
Как нам грозит паралич усыпанья.
Лишь, кто готов к прорыву и маршруту,
Преодолеть способен привыканье.

Мой дух – вперёд, у смерти ты не пленник,
У вечности ведь не бывает тризны,
И нет конца, предела зову жизни:
Умри и возродись, как птица Феникс!

ВЕЧЕРНЕЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ

В каких ты гредишь облачных мирах?
Ты держишь сердце в девичьих руках.
Ликует сердце, счастьем полно,
Твоя ж улыбка – неприступная стена.

Выходит, что тебе-то всё равно?
И боль молчит, кротка и холодна.

НОКТЮРН

Шопен. Ноктюрн Es-dur и светом
Заполнен весь оконный свод.
И Глорией весельных нот
Лицо твоё теплом согрето.
Да, никогда во мне чудесней
Под лунным серебром, в тиши,

Затронув трепетность души,
Так не звучала «Песнь Песней».

ПЕТЕР МАЙВАЛЬД (1946 – 2008)

ХАННА

Как рыжим пологом накрыла нас
в ночи её густая прядь волос.
Юна, была безмолвна в этот час,
приняв мои сомненья за курьёз.

Возьми меня, шептала, и согрей,
тебя на краткий срок я получу.
А поутру покинь меня быстрее.
Сейчас же нежности твоей хочу.

Пойми: здесь ночь и наше визави,
и страха власть мне душу извели.
Ты мне не люб, не требуй же любви.

Достаточно, что я тебе мила.
Мне нужно лишь дыхание второе.
И доказательство, что я чего-то стою.

Нора Гайдукова

С немецкого

ОЙГЕН ГЕМИНГЕР (род. 1925)

это – вечно опять удаётся это

весна

вечно опять удается это
вечно опять торопит это
вечно опять подгоняет это
вечно опять манит это
вечно опять соблазняет это
вечно опять опищут это

лето

вечно опять поражает это
вечно опять видится это
вечно опять доверяет это
вечно опять захватывает это
вечно опять наполняет это

осень

вечно опять созревает это
вечно опять укрывает это
вечно опять богатеет это

зима

вечно опять похоже это
весна
вечно опять удается это

ПАУЛЬ ЦЕЛАН (1920 – 1970)

ДНЕВНОЙ СВЕТ

[255]

Монахи с волосатыми пальцами открывают книгу:

Сентябрь.

Ясон бросает снега на поднявшиеся посевы.

Шейный платок из рук даёт тебе лес, так, как будто

Ты мёртвым бредёшь по канату.

Тёмно-синее задевает твои волосы, и я говорю о любви;

О ракушках говорю я и легком облаке, и одинокая лодка

скрипит от дождя.

Маленький жеребёнок гоняется за мелькающим пальцем.

Чёрным возникают ворота, я пою:

«Как жили мы здесь?»

БЕРТОЛЬД БРЕХТ (1898 – 1956)

* * *

Каждый год в сентябре, когда начинается школьное время,

Стоят в пригородах мамы в писчебумажных лавках.

Покупают школьные учебники и тетради для их детишек.

Отчаянно ловят они последние пфенниги в опустевших мешочках,

Жалуясь, что знания так дорожают. К тому же, ведь им не известно,

Как, собственно, знания плохи, что детки заранее знают.

Леонид Бердичевский

С французского

АНРИ ДЕ РЕНЬЕ (1864 – 1936)

* * *

Лежишь на берегу. Горсть тёплого песка
в кулак зажата, кажется, надёжно,
но в нём находит щель, и осторожно
назад, в песок течёт – свободна и легка.

Ты слышишь перебранку волн между собой,
под музыку ласкающего ветра.
Кулак твой пуст. Ты ощущаешь где-то,
всю тщетность суеты, навязанной судьбой.

Так жизнь течёт, не чувствуя преграды,
как тот песок – без шума и бравады.

РОБЕР ДЕСНОС (1900 – 1945)

* * *

О тебе я мечтал каждый день.
О тебе я шептал и кричал.
Я люблю тебя всю,
даже тень,
но теперь я тебя потерял.

Я хочу стать твоею тенью,
узнаваемой, чёткой, ясной.
Хоть я буду другим мишенью

для улыбок.
Но всё напрасно.

[257]

С немецкого

ЭЛЬЗЕ ЛАСКЕР-ШУЛЕР (1869 – 1945)

СТАРЫЙ ХРАМ В ПРАГЕ

Уже стоит тысячелетье в Праге храм,
Спокоен он и сер от пыли, по векам.
Решётки старцы опускают в ночь плотнее.

Их сыновья вступают в битву, и тогда
проснётся вмиг синагогальная звезда,
благословив на подвиг воинов-евреев.

И над столицей Богемии горят
Все звёзды неба, освещая стольный град.
Под звёздами звучат молитвы матерей их.

РИКАРДА ГУХ (1864 – 1947)

ПЕЧАЛЬ

Внезапно на душе поселится печаль,
и станет во главе всего на свете –
вершиной бытия – тебя потащит вдаль,
как оглашённый, ветер.

И не заметишь ты, что жизнь кипит вокруг,
а это бы заметить не мешало,
увы, печаль с тобой, она твой лучший друг,
но этого ей мало.

И если вдруг к тебе пожалует весна,
печаль ей станет поперёк дороги,
и, кажется, её ты удалил из сна,
но встретишь на пороге.

ГЕРМАН ГЕССЕ (1877 – 1962)

РАВЕННА

Я приехал к тебе, Равенна.
Показалось мне: город мёртвый.
Но красоты твои нетленны,
и веками они не стёрты.

Я слышал на улицах тихих,
твоё трепетное дыханье,
и толпы торопливой лихость,
развалин твоих скрежетанье.

Щемящих мелодий, Равенна.
Звук насмешек шумных и вздорных
Сложился во мне, постепенно,
твой образ живой, беспорно.

Сидши

РЕЙЗЛ ЦИХЛИНСКИ (1910 – 2001)

МОЛИТВА

Земля!
Позволь мне ощутить
твою траву,
деревья и кусты
в твоих лесах.
Оставь мне
плаванье по берегам
и дружбу
окружающих ко мне,
и серых будней
горькие сраженья,
когда в кровавом
задыхаешься тумане,
оставь мне листьев шум,
и солнца ровный свет.

Земля!
Позволь мне ощутить
твою траву.

[259]

ДОРОГИЕ СОСЕДИ

Дорогие соседи! Купите,
купите этот клочок земли,
по дешёвке, за полцены.
Вы сможете дом
на нём построить,
а также фонтан возвести,
и сад посадить фруктовый,
из газовой камеры нет пути,
И призраки
вас не станут пугать.
Мама моя
никогда не вернётся, –

И внук её там остался навеки...
Я принесу свои слёзы,
приду, чтобы взять
единственный камень,
по которому
мамины ноги ступали.
На чужбине,
в холодные ночи,
он станет подушкой тёплой
под моей головой.

Елена Зельгер

С немецкого

РАЙНЕР МАРИА РИЛЬКЕ

ОСЕНЬ

С небесных падает, и падает, садов
Увядающая листва в прощальном жесте.
Испуганное сердце не на месте.

Ночами, в одиночестве паря,
Сквозь звёзды падает тяжёлая Земля.

Мы падаем...
И падает рука...
Смотри, в других такое же
паденье.

Но, есть Один, чьё Вечное Терпенье
С бездонной нежностью нас держит
на руках.

ВЛЮБЛЁННЫЕ

Врастая друг в друга
И духом, и плотью,
Сплочённые жаркой
Пронзающей осью.
Горя и желая взорваться.

О, Жажда!
Её утоляют
Не раз и не дважды.

[261]

Не тронь их, не тронь их!
Позволь им сразиться.
В огне утопая,
Друг другом напиться.

Д и П 17 / 2013

Валерий Матэ́тский

С немецкого

РАЙНЕР МАРИА РИЛЬКЕ**НАЧАЛО**

Кто б ни был ты: уйди из этих душевных комнат
и вечер опрокинь за стоптанность черты;
тебе уже давно чужд этот гиблый омут:
кто б ни был ты.

И дерево найди, черней зрачков неспавших,
и медленно тянись ветвями до небес.

Смотри, как строен ствол: мучительно отважен
и хрупко-одинок его звенящий вес.

Ты создал мир и он, по-своему, великий
молчит ещё, как звук, прилипший к языку,
но стоит лишь понять – на чьём он берегу,
и ты отводишь взгляд и нежно гасишь блики...

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ЧАС

Каждый, кто заплачет в мире,
без причины плачет в мире:
плачет обо мне.

Каждый, кто смеётся ночью,
без причин смеётся ночью:
шутит надо мной.

Каждый, кто шагает в мире,
без причин шагает в мире:

тот идёт ко мне.
Каждый, если гибнет в мире,
без причины гибнет в мире:
смотрит на меня.

[263]

МОЁ СВЯТОЕ ОДИНОЧЕСТВО

О, моё одиночество – свято,
так невинно, светло, необъятно,
как садов предрассветные сны.
Но, ведь я, одиночество, знаю:
ты – закрытой калиткою рая,
для желаний моей весны.

Д и П 17 / 2013

Новые переводы

Олег Никогосян

С армянского

ПАРУЙР СЕВАК (1924 – 1971)

НАЗВАНИЕ В КОНЦЕ

Вдруг стены отходят назад,
бесконечно удаляясь,
превращаясь в горизонт.
То ли горизонт
настолько приближен,
что при желании,
как новый чародей,
смогу месить руками
словно тесто,
его голубизну.

Меня полощут шум и гам,
не прикасаясь ко мне,
как к рыбам – океанская вода.

– Это ... молчанье моё...

Не дают мне покоя
ни днём, ни ночью
мои оставленные заботы
в душе о вас...

Обуреваемые желаньем прачки,
хотят весь мир очистить...

Никак с себя мне не согнать их,
Разъярённых, как пчёлы,
почувствовавших запах мёда...

Они одновременно
мои и ваши,
и сторожи, и воры,
и слуги, и хозяйева.

– **Это ...раздумья мои...**

Он переводчик вашего (чего?),
что не успело даже мыслью стать,
а просто, движением души,
игрою мышц
или бурленьем крови...

Он тот же,
кто плачет
невинными глазами ребёнка,
просящего игрушку;
и превращается в улыбку
новорождённого...

Не знает дороги к вашему дому,
ведь не был никогда он там,
но с вами он сродни, настолько,
что даже ваш бдительный пёс
не лает на него.

И вместо вас
он видит ваши сны...

– **Это... я и есть...**

Белла Якубова

С немецкого

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ (1797 – 1856)

СТАРЫЙ КАМИН

В тьму ночную проникая
Хлопья белые летят.
Там – метель всё завывает,
Здесь – тепло, дрова горят.

Тишина вокруг и сухо.
Жар и треск несёт камин.
И доносится до слуха
Долгий, чайника «дзинь-дзинь».

Мой котёнок дремлет рядом,
Лапки греет у огня.
Пламя кружится – нет сладу,
Чудом душу мне дразня.

ТЕОДОР ШТОРМ (1817 – 1888)

ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯ

Вышла на небо луна,
К звёздам держит путь она –
Гладь обманна.
Бессловесен чёрный лес,
Он вознёсся до небес –
Мрак тумана.

Мир таинственно затих,
В платье сумерек своих –
Лежебока.
Словно в комнате ночной,
Распростёрся шар земной –
В сне глубоком.

[267]

Д и П 17 / 2013

Новые переводы

Нинель Левандовская

С немецкого

ЭРИХ КЕСТНЕР (1899 – 1974)

ПРАВДИВЫЙ РОМАНС

Они уже знали друг друга семь лет,
и знали неплохо, вроде.
Вдруг стала любовь, будто старый жилет,
ветшать. Так бывает: уходит.

Сначала обманно глазами сиять,
встречаясь, пытались дружно.
Ещё целовались: не привыкать,
но ясно вдруг стало: не нужно...

Молчали. Пытались что-то понять,
«Пойдём, кофе выпьем. Как странно...» –
сказал он. За стенкой пытались сыграть
песку для фортепиано.

Долго сидели в кафе, себя,
новых, принять не смея,
Пытались понять, как жить, не любя,
так жить пока не умея.

МАЙ

В нарядном платье, в мотовстве весёлом,
цветочный скипетр в худенькой руке,

плывёт в карете по стране, просёлкам, сёлам
май-месяц, Моцарт наш в календаре.

В расцвете полном, всем приветливо кивая,
май едет сквозь оживший пёстрый лес.
Лазоревки и зяблики, порхая,
то вслед несутся, то наперерез.

А за забором яблоня краснеет
и груша в книксене присела, зелена.
На флейтах маленьких дрозды запели
нам скерцо из симфонии «Весна».

Карета катит сквозь дышащие пастели,
снимайте шляпы, вот она – видна.
Плывут к нам волны душевные сирени.
О, если б целый год – май и весна!

Но меланхолия и радость – сёстры.
Цвет снегом осыпается с ветвей.
Моё «сегодня» завтра станет прошлым,
и это больно будет, ей-же-ей.

А май кричит: «Я снова же прибуду!»
(А в небе синь уже сменил закат).
Карета катится. Сегодня май повсюду!
Он улыбается, он встрече рад.

МАЛЕНЬКОЕ СОЛО

Один. Ты душой одинок, конечно.
Ходики тикают ни о чём...
Глядишь за окно, ну почти беспечно.
Любовь была. Оказалась не вечной.
Я жизнь познавал, ею грубо влеком.
Один. Ты всегда одинок, конечно,
но плохо, когда одинок вдвоём.

Но где ж оно, чёрт побери, то место
(выйти, обшарить весь окоём),
где счастье прячется? А неизвестно!

Подходишь близко. Оно?! Чудесно! –
Ушло... Счастье вечно не здесь, за углом.
Да, дрянь – одиночество, если честно.
Но хуже, когда одинок вдвоём.

Ты отдавал себя: с кожей, даром.
Ты перестал быть самим собой.
Любовь всех на свете сгоняет по парам.
Твоя любовь обернулась паром.
Пар разошёлся. Осталась боль.

Ты хочешь в свой дом лишь любви и лада.
Ходики тикают ни о чём...
Грусть и тоска за окном и рядом.
Ты ждёшь, ты жаждешь родного взгляда,
того, что солнцем осветит дом.
Один – одинок, возражать не надо.
Но страшно, когда одинок вдвоём.

ОДНА ОСЕННЯЯ НОЧЬ

Как пусто на улицах ночью!
Лишь фара мелькнёт внизу,
да листья летят по обочинам,
как будто бы почту срочную
кому-то они везут.

Листва на асфальте, на крыше.
Чуть светятся фонари.
И можно шаги услышать,
то громче они, то тише.
Твои они? Не твои?

На улицах ночью пусто.
Там, кажется, за углом
просыпался снег негусто.
Холодно, зябко, грустно.
Шуршит и листва о том.

Стоишь ты и в небо глядишь,
и кружится голова.

Ширь необъятная. Тишь.
Прислушайся и услышь,
как спит на земле трава.

[271]

Как пусто ночью на улицах!
Где нет фонарей, там тьма.
Кто улыбнулся, кто хмурится
во сне в тех домах. А на улице
завтра опять кутерьма.

Д и П 17 / 2013

Новые переводы

Памяти Любы Рейнгач

(24 мая 1946 – 31 августа 2012)

Глубока и непреходяща горечь утраты у тех, кто хоть сколько-нибудь знал и общался с этим прекрасным Человеком. Доброта и благожелательность всегда были её спутниками, состоянием её души. Человек образованный, музыкант, литератор самой высокой пробы, живо интересующийся искусством, знающий в нём толк, она всегда подходила ко всему со своей, только ей присущей, меркой. Её суждения были точны, лаконичны, не вызывающими возражений. Люба сочиняла стихи много лет. Они отображали её мысли, желания, восприятие окружающего мира. Она ни словом не обмолвилась о ком-либо плохо, если ей не нравились их произведения – предпочитала молчание. Её ненавязчивые советы принимались с уважением. По профессии она была пианисткой. Подготовила к поступлению в консерваторию нескольких одарённых учеников. Много лет её стихи публиковались в нашем альманахе. Люба Рейнгач была номинирована и получила первую премию на поэтическом конкурсе в Гамбурге.

В Берлине вышли две книги её стихов: «Бежало полотно» и «С чистого листа». Сейчас готовится к печати большая книга её стихов.

Её поэзия всегда пользовалась большим успехом у читателей. Мы глубоко скорбим по поводу этой невосполнимой утраты.

Дорогая Любочка! Мы всегда будем Вас помнить.

Коллектив Клуба литературы и искусства

ИЗ ПОЭЗИИ ЛЮБЫ РЕЙНГАЧ

Пока огонь желаний не угас,
Мне б сутки увеличить хоть на час.
И не потом, не позже, а сейчас.
Я б их наполнила от края и до края.
Мне б в ритм стихов войти – я жить не успеваю.

* * *

Бежало полотно – без рельсов, без путей.
Жила как суждено – неслышно, без идей.
Бежало полотно – без рельсов, без путей
Жила как суждено, то – вправо, то – левой.
Бежало полотно – без рельсов, без путей.
Жила как суждено – не замечая дней.
Бежало полотно – без рельсов, без путей.
Жила как суждено – боготворя друзей.
Бежало полотно – без рельсов, без путей.
Жила как суждено – не ведая потерь.
Бежало полотно – без рельсов, без путей...
Аукалось давно – откликнулось теперь.

* * *

Уйти туда, где нет повиновенья,
Где тишина – начало всех начал.
И пусть она продлится лишь мгновенье,
Но только бы никто не докучал.

* * *

Я б хотела выпасть белым снегом,
Я б хотела выйти солнцем алым,
Я б хотела с губ сорваться смехом,
Чтоб улыбка лица озаряла.
Вместо «кто» я б «что» хотела стать,
Только б думы думать перестать.

Из книги «Бежало полотно»

**Памяти
Регины Лихтман**
(06.05.1939 – 13.03.2013)

Коллектив Клуба:
Литературы и искусства,
все авторы Альманаха «До
и После» глубоко скорбят
по поводу кончины
нашего автора: РЕГИНЫ
ЛИХТМАН.



**Памяти
Екатерины Гескиной**
(03.01.1930 – 08.03. 2013)

Умерла Катя Гескина,
дорогой нам человек,
постоянный член
нашего Клуба, и его
общественного совета.

*Мы выражаем сердечное
соболезнование родным и
близким покойных.*

Содержание

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

[275]

Михаил Верник	6
Генриетта Ляховицкая	10
Станислав Львович	15
Леонид Бердичевский	27
Константин Кербель	34
Елена Зельгер	43
Анжелла Подольская	48
Бронислава Фурманова	58
Марина Авербух	60
Татьяна Устинская	74
Феликс Фельдман	78
Олег Никогосян	83
Валерий Матэтский	87
Елена Ямова	92
Галина Фирсова	95
Игорь Коган	100
Нора Гайдукова	111
Яков Раскин	117
Леонид Немировский	124
Сергей Пышный	126
Семён Златин (Гольдберг)	128
Белла Якубова	131
Марк Тверской	133
Вениамин Палагашвили	137
Мина Полянская	143
Марк Фукс	151
Инна Йохвидович	153

ПУБЛИЦИСТИКА. МЕМУАРЫ. ЭССЕ.

Регина Лихтман	158
Карл Абрагам	173
Бронислава Фурманова	182
Борис Э. Альтшулер	190
Леонид Бердичевский	207
Давид Яновский	212
Светлана Сокольская	214
Ян Беленький	220
Олег Никогосян	228
Леонид Немировский	232

Василий Левин	234
Ася Вайсберг-Процко	236

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Давид Яновский	239
Феликс Фельдман	250
Нора Гайдукова	254
Леонид Бердичевский	256
Елена Зельгер	260
Валерий Матэтский	262
Олег Никогосян	264
Белла Якубова	266
Нинель Левандовская	268

IN MEMORIAM	272
-------------	-----

